

Авдеевские Чтения

Выпуск 3

Том 2

Москва
2023

УДК 613.2
ББК 51.230
А 12

А 12 Авдеевские Чтения (Выпуск 3, том 2). – Москва,
2025. – 272 с.

*Настоящее издание осуществлено
при дружеской поддержке Института Русской Геополитики
и его директора – полк. В.Л.Петрова
<https://rusgeopolit.com/>*

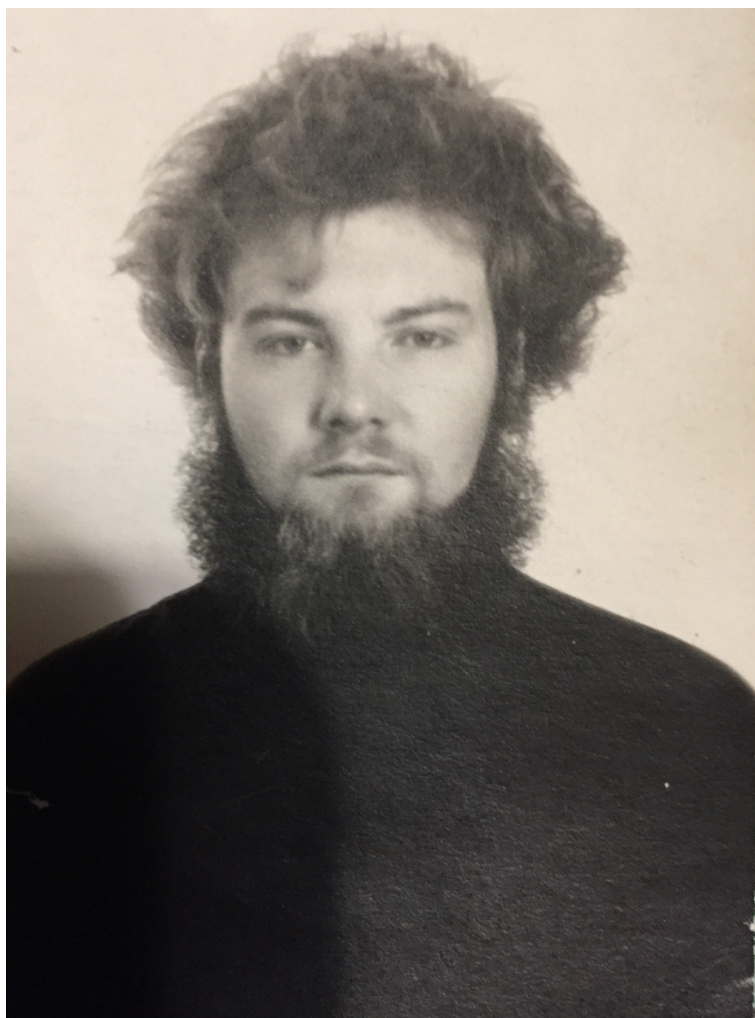
«Существует верное правило, по коему можно судить как про книги, так и про их авторов, даже не зная их; достаточно знать, кто их любит, а кто ненавидит» (Жозеф Де Местр). В высшей степени «правило де Местра» относимо к писательской и издательской деятельности Владимира Авдеева... Авдеев Владимир Борисович (1962 - 2020) — исследователь в области истории и происхождения рас, автор термина «расология», писатель, философ, публицист, издатель. При жизни Вл. А. его расово-просветительская деятельность мало кого оставляла равнодушным. Полярность оценок распространялась от восхищения до яркого отторжения (доходящего до «писания доносов», требований «запретить», «пресечь» и т.п.). Обычный «ответ» В.А. был научно- и философски-выверенным: «о ненаучности расологии говорят те, кто сам является дегенератом, и поэтому не любят никакой систематики». Читателю, «любящему систематику» и равнодушному к научной и философской Истине, предлагается 3-й выпуск «Авдеевских Чтений», содержащий ряд переводных и оригинальных работ как самого Вл.А., так и его «коллег» на расоведческой «ниве».

В оформлении «Чтений» использованы: для заставки Части 3 – фотография В.А. поры его вступления в Союз Писателей («таким» Расологом мало кто видел и помнил!); Части 4 – агитпродукт проекта «Aryan Art» (https://t.me/s/aryan_art_88).

Оглавление

Часть 3. Расовая Belle Lettres	4
РАСОВАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА ВЛАДИМИРА АВДЕЕВА.....	5
Владимир Авдеев. СТРАСТИ ПО ГАБРИЭЛЮ.....	7
Часть 4. Библиотека Владимира Авдеева	236

Часть 3.
Расовая Belle Lettres



РАСОВАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА ВЛАДИМИРА АВДЕЕВА

Владимир Авдеев, как известно, «начинал как беллетрист»... Свою литературную карьеру Вл. А. начал римской стилизацией в рубрике «Элитарная проза» «Литературной газеты» в 1989 г. Затем в № 1 журнала «Советская литература» за 1990 г. был опубликован рассказ – притча «Плачущая», вызвавший положительный резонанс у наиболее интеллектуальной части литературного мира. Роман «Страсти по Габриэлю», вышедший в издательстве «Столица» в 1990 г., по мнению рецензентов, – «явление далеко не рядовое», «и если бы литература у нас развивалась нормально, на него, безусловно, обратили бы внимание». Эта книга, как говорилось в аннотации издателей, «оригинальна тем, что нетрадиционно трактуется тема «страстей», по Евангелию понимаемых как история страданий и смерти. Это произведение — авторская концепция «мультипликационного» восприятия мира сквозь розовые очки, защита души от чувств и боли. Философская основа романа претерпевает сильное влияние Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора»... Жанр философско-художественной прозы в России никогда не был широко развит, поэтому оба романа В. Авдеева (а вслед за «Страстями...» увидел свет ещё «Протезист») продолжают скорее европейскую философскую, нежели русскую литературную традицию. Роман «Протезист» так же, как и предыдущий, является пропагандой сильной личности нового типа, что тоже не было свойственно русской литературе. Концентрированность языка и обилие афоризмов, как собственных, так и не известных у нас авторов, погружает в особую интеллектуальную атмосферу, которая, по мнению критики, «гармонична для самого автора», глубоко владеющего материалом.

Вместе с тем, беллетристика Владимира Авдеева – се-
рцовая Belle Lettres. Конечно, в этих текстах ещё нет «прямых»
отсылов к Rassenlehre, но там имеется интерес к своеобразно
трактуемым религиозно-философским темам, а также ощути-
телен привкус того, чему сам В.А. впоследствии даст обозна-
чение «метафизическая антропология». Опыт «беллетриста»
не покинул В.А. и во все последующие этапы его творческой
эволюции: его «научные» труды, а также сопроводительные
статьи к многочисленным переводам «классики», подготав-
ливаемым им, несут в себе изящество стиля и литературный
блеск, с коим все работы Вл.А. уже в собственно Расологиче-
ской области ведения, и исполнены и «отшлифованы»...

Владимир Авдеев

СТРАСТИ ПО ГАБРИЭЛЮ

Роман



*Страдание — это ничто.
Гвидо Пьевене*

*Конец надобно заслужить,
равно как и анонимность.
Г. Э. Носсак*

§ 1

...кончилось тем, что я прибыл
в селение X.

Омнибус, точно недужный слон, кивая провожающим и застекленными боками, удалялся за горизонт раньше положенного времени. Он вторил понуканиям возницы, взвоздушенного клетчатой накидкой, и, как огромное сангвиническое животное, рывками прижимался то к одному, то к другому колесу. Пыльные ухабы считали костяшками экипажных колес число проехавших омнибусов. Все мое существо было начинено пылью и тряской, и потому, неловко ощупав каблучками истертые ладони ступеней, я оставил свое временное подвижное пристанище, по-прежнему приседая в такт недавнему покачиванию, чем вызвал благолепную улыбку проезжающего священника.

Я возжелал неподвижной земли и потому направился в зал ожиданий. Первое, что бросилось мне в глаза, а точнее под ноги, был белый щенок, оседланный медальоном черного родового пятна. Он так [самовлюбленно] резвился, точно наверняка знал, что никогда уже не вырастет. Однако, повстречавшись с моими ногами, образовавшими запыленную арку, он образумился и, упав на задние лапы, точно сбрасывая со спины черного седока, был настигнут белыми перчатками и кружевным плафоном юбки. То была его хозяйка, выдававшая свои старания красной рыбкой губ в сети вуалетки.

Я сел в кресло.

Рядом со мной в неряшливой, безразличной к самому себе позе развалился старик в отвратительном платье и с лицом, похожим на первое детище подмастерья, держащего экзамен на титул мастера по выделке кожи. Если быть точным, его лицо более всего сходствовало с ветхим морщинистым бурдюком, перекатывающимся поверх износившегося воротничка. Мнилось, будто человек видел сон, в коем не было ровным счетом ничего примечательного, и сон этот давным-давно утратил грезоподобный сновиденческий антураж, догоняя бесцветность глаз и гадкого рублища. На спине человека полубодрствовал луч света, затейливо ограненный оконной рамой. Я присел рядом со старцем, прикосновениями локтей с вытертыми лежбищами подлокотников давая чувствовать себе, где я, ибо мне часто приходится бывать не в ладах с ощущением местоположения. Я принялся читать, научая себя жадности с каждой новой строкой, чтобы безболезненное удушить песочное горло праздного времени, гоня его в нижнюю часть часового сосуда. Но светило, столь непозволительно пассивное на выжженной спине моего аморфного соседа, вздумало яростным блеском занозить мне глаза мириадами отточенных крупниц. Я тщетно прилаживал глаза свои к теребимому листу, переминался ресницами, дважды звал легкие слезы, нелепо изыскивая защиту и их киноварной мутности.

Увы... бесполезно, то, что я получал от листа, не исцеляло боль, и я решил бросить это занятие.

Оглядевшись, на шел кресло чуть дальше от моего соседа и, подхватив ной рыжий саквояж из свиной кожи, я пересел. Старик очнулся от полудремы то ли по обыскивающему мановению воздушного оползня, то ли по жгучей указке луча и воззрился на меня ничего не выражающим взглядом. Мне не хотелось, чтобы пожилой человек подумал, что само нахождение рядом с ним, его поза, вид и одежда пробуждают во мне отвращение к нему, и потому, чуть наклонившись всем телом, я возможно внятнее, с оттенком успокоительности произношу:

— Солнце.

— Ах да, конечно, — отвечает мне старик все с тем же дремотным равнодушием.

Я поймал за длинные змеящиеся фалды нарождающееся слово и изо всех сил дернул его назад, внутрь, присвоив навеки себе, — я чуть было не сказал ему:

— Извините.

...Я удалялся из зала ожиданий, ничего не дождавшись, а закат, точно воин-полководец, уверовавший в свое пленение, намазал кровью все лицо, дабы не быть узанным.

Я пересекал площадь.

Шарманщик с заговорщицким лицом и рассыпчатыми желваками, обтянутыми серебристыми начатками бороды, ворошил толстой медной рукоятью бесхитростный источник прокормления, роняя ноты на кружевные фигуры брусчатки. Иногда его выморочный взгляд изнутри обегал абрис капюшона, в котором он ютился подобно улитке. Но случилось это лишь тогда, когда грош, вынутый из чужого кармана, вторгался острием своего звона в царство музыканта. Зеленщик торговал зеленью и зеленью карих глаз, по лицу полицейского сновали отголоски прежних нелепых приказов, а низкорослая служанка находилась на полпути между фонарным столбом и тумбой, оклеенной афишами; девица приближалась также к замужеству.

Возле шарманщика я оказался весь в музыке, которую с меня стряхнуло приветствие портье в холле гостиницы, названной именем собственным, хотя сочетание букв было столь нелепым, что я никак не мог представить себе собственника во плоти, и потому запомнил лишь первую и последнюю буквы «К» и «К» соответственно. Я был не один здесь, но количество надеждствующих заполучить пристанище было столь по-вечернему существенно, а форма застекленной конторки портье была столь велика по периметру, что казалось, будто человек этот не имеет спины, — так лихо он поворачивался

от одного к другому из обращающихся, жонглируя номерами комнат и хрестоматийным перечнем услуг. Он расхваливал на все лады наивность и естественность здешних красот, упоминая, кажется, одними прилагательными лечебные грязи, солнце, которое значительно податливее и благодуще здесь, нежели в пяти верстах к северу, да и самый климат, по многим заверениям не сулящий ничего неожиданного «для Вашей персоны». Я с неизреченной тоскою во взоре выложил, деньги, еще в моей ладони пронырливо сосчитанные пружинистым оком портье. К ужасу своему узнав, что мой номер мой «35», я доверил саквояж мальчику, со спины пригрезившемуся мне братом вышеобозначенного портье, отвергая сдачу, вытянул из краснофигурной вазы одну из асфоделей и, уже поднимаясь по лестнице, мял увлажненный стебель, а также вопрос о наличии в цифре 35 чего-то неизгладимо безнравственного. Я уносил на третий этаж, привязанный к первому посредством намаевавшегося от моли ковра, рекомендательное письмо, в коем мой родной дядя со свойственной ему одному неопределенностью просил одного из своих мимолетных знакомцев пристроить меня на чиновничью службу. Послание также сопровождалось обильным прииском поздравлений всем родственникам знакомого, из которых не менее половины являлись вымышленными самим дядей. Источником же хлопот было мое чрезвычайно несистематичное образование. Кроме того, дядя являлся, пожалуй, единственным человеком, хоть сколько-нибудь причастным к проблеме моего устройства. Мною занимались много, но неохотно, да и подчас с каким-то странным полуотчуждающим вниманием. Я, кажется, никогда не вызывал серьезных опасений из-за моего возраста и буйного темперамента, пересыпанного природой во все мыслимые пазухи и простенки моего жизнелюбивого существа.

Внимание, которым меня благосклонно оделяли, было изысканно вариабельным и никогда не упало ниже застольного этикетом уровня гнева. Это было скорее всего про-

явлением интереса к деревцу, зелеными почками шутейно растолкавшего, вековые напластования деревянных настилов, брусчатки и асфальта и выросшего вдруг посередине проезжей части под каблуком не то священника, не то осыпающей-ся на глазах куртизанки, случившихся здесь так некстати.

Между первым и вторым этажами помимо обилия совершенно одинаковых детей какой-то одной усредненной национальности я вляпался в потную бронзу, изображающую сатира с недвусмысленно непротертой пылью меж рогами и крутобедрую вакханку с лицом, которое мог изваять лишь живой свидетель движения суфражисток. Сочленение второго и третьего этажей героически сносило общество пальмы с отягченными сургучовым сумраком ветвями. Исполняя ритуал цивилизованного человека, я умывался и старательно музицировал у себя в мозгу, поигрывая чертами лица человека, который, возможно, одарит меня бумажной поденщиной. Игра была неудачной, и я упомянул лишь картавость и бакенбарды. Ночью страстно лютовал ветер так, словно лишился крова и обещал отомстить за это, суетливо посягая на стекла и пыль, но очень скоро запутался в зализах черепицы и, взвизгнув, унялся, передав эстафету пьяному могильщику, осыпающему окрестность лексиконом преисподней и кладбищенским, кашлеизъянным смехом.

Красоты и впрямь оказались наивными. В этот день я слишком нагляделся на стариков и детей, а ведь в определенном смысле слова обе эти возрастные категории неинтересны в силу своей бесполости и бесплодности, а ведь и то и другое — разновидность незаконченности человека. Но обе эти незаконченности столь велики, что пленяют не чистотой и прозорливостью, а массой. Одинаково непригодны в пищу как незрелый плод, так и перезревший, обоими можно просто отравиться. Точно так же суждения детей и стариков, то крайне ломкие и острые, то неизъяснимо гладкие и степенные для нас, средних людей, не подходят. Полноценно только то, что может вытворять себе подобных. Мораль детей и стариков

— отравы, либо зеленая, либо перегнившая, ибо физическое бесплодие — самая совершенная болезнь духа.

Ветер упал и расшибся. Сейчас я сниму свой inferнальный ночной колпак, прихвачу пару сальных свечей с огнебоязненными от ветра хвостиками фитилей и пойду искать его громоздкое августейшее тело.

Еще был смех, да, смех.

Не люблю я спать на левом боку: левый бок — источник моих огорчений, левый бок — враг мой.

Смеялся могильщик, злорадно раструбивший повсюду свою могильность. Он, как и все представители этого синдиката, поносил мизерность и подкупающую уязвимость человеческих судеб. К чему смеяться над мизерностью муравья, его нужно просто раздавить и шествовать дальше. Но вот если вас угораздило стать букашкой и вас желает раздавить исполин — смейтесь: вот хрустят ваши хрустальные кости, и лучшая эпитафия на могиле — секунда-другая раздумий раздавившего вас гиганта. Чем вы ниже — тем выше ваш смех. Если вас раздавили — это значит, что другой, столь же несуразно мизерный, будет благосклонно пощажен. Вариант муравьиного альтруизма.

Я сижу в приемной и дожидаясь фальсификации моей участи. Передо мной постная грезоподобная дама с разрезанными рукавами из белой камки, в ее глазах виден я вверх ногами, в розовом бархатном сюртуке, с обручальным кольцом на шее; а вокруг то же постылое раскидистое многочадие, что я видел прежде.

Я уронил носовой платок и, поднимая его, обратил вежды свои и чело к полу. На ее ноги я почти не смотрел, я фантазировал вершителя судьбы и забился в землю по самый страх.

Дядин знакомый оказался респектабельным мужчиной привлекательной наружности с гладко выбритым лицом, чрезвычайно педантичным в интонациях и произнесении всех гортанных звуков, а также выделяющим заразительно-грациозные мягкотелые движения широкими, но трудобояз-

ненными запястьями. Лучше всего своими интонациями он вписывался во вьющиеся очертания пепельницы, являвшей собою ярчайший и непосрамимый в глазах потомков образчик сдвнувшегося эстетического энтузиазма. А в целом он был, очевидно, премилым человеком.

— Ваш дядя. Да, пожалуй, судьба не посылала мне еще более разнообразного человека. Помнится, тогда на водах в Д. он сразил меня своим обаянием, — говорил мой собеседник, улыбаясь наименее ценной частью лица.

— Это далеко не единственное его достоинство, — говорил я, полупаря в мягком кресле.

— О да, несомненно, он огромный знаток жизни.

— Простите, но мне кажется, — что единственная вещь на свете, которую не зазорно не знать, — это наша жизнь.

— И с такими-то мыслями вы вступаете в нее! Богатство и семейный уют могут обойти вас.

— Роскошествует отнюдь не богач, а персона, способная во всей полноте помыслить то феерическое всеснедающее многообразие духовных, физических и материальных изобилии, что могли бы окружить ее, и неусыпно алкающая новых, более совершенных, рьяно вникая всей сутью в тот многоводный проток изнеможительно сладостных подробностей и нюансов, что принципиально недостижимы. Самый желанный напиток тот, что недоступен устам.

— О-о, я узнаю многословие вашего родственника и духовного наставника. Вы, я вижу, в совершенстве овладели его наукой праздномудрствования, да простится мне это суждение при всем моем к нему уважении. Не будь я знаком с ним, я, пожалуй, еще усомнился бы в вашей благонадежности. Хотя вы, конечно же, молоды.

— Не теперь.

— Ах, вот как? Но и, кроме того, бумажная работа не способствует возбуждению философского норова, — подтрунивал человек с бакенбардами. — Я обещаю вам, вы быстро войдете в курс дел и при проявлении соответствующих уси-

лий, усидчивости, а также учитывая многостороннее образование, полученное в доме вашего шли, вы сможете в течение самого непродолжительного времени сделаться штатным философом нашей скромной службы.

— Не тот философ, кто сведущ во многом, но тот, кто за долгие годы эволюции и душевных мытарств научает себя не понимать многое и с силой отстаивать свою точку зрения и свое глубокомысленное и ясноглазое непонимание. В общем, я обещаю употребить нее свое радение и приобретенные мною знания на то, чтобы достичь высот мудрости в этой области и максимального инфантилизма в области людских пороков, мешающих службе.

— Вот и отлично, а что касается до пристанища: я полагаю, вы без особых затруднений сможете снять себе квартиру или, на худой конец, комнату.

Мы условились о жалованье, режиме службы, поговорили о погоде, женщинах, надвигающихся праздниках и, выказав крайнее взаимное удовлетворение нашим знакомством, потрясли друг другу приятные сухие ладони. Я незаметно подтолкнул его к необходимости первым разжать руку и, наклонявшись, оставил кабинет, обставленный в строгом канцелярском стиле, к которому, как правило, не возникает претензий, ибо все внимание поглощается массивным дубовым столом.

§ 2

Я не смог наверняка заверить хотя бы сотую часть себя в том, что в селении X было что-то замечательное, но нечто несуразное под этим названием, несомненно, крылось.

Планировка населенного пункта была не безобразной, а скорее выморочной, избыливающей какофонирующими нелепицами. Сейчас уже, проделав изрядный путь, я осознал, насколько был прав изначально, поименовав X селением, а не как-то иначе. Ошеломительно по-сказочному круглая площадь со всею площадною нечестивою шатией, страннопри-

имный дом, госпиталь, весь в изжелта-фиолетовых трупных пятнах из-за отвалившихся с тяжеловесного фасада фрагментов известки; труппа заезжих комедиантов, инсценирующих «Персов» Эсхила; галантный жуир, кажущийся одноглазым из-за монокля; несколько церквей, одетых ризой безветрия; юродивый, весь в фантомах молитв и оспе; закабаленные формой военные и в меру смазливая прачка; дома, расставленные безо всякой сословной иерархии и элементарного вкуса; улицы без конца и начала, но с непоколебимой серединой; кедровая аллея, обшипанный розарий; тюрьма и что-то еще. Я был возле дома призрения и явственно ощутил, что нет ничего проще, как поделиться с собратом последней рубашкой, ведь она все равно последняя. Мне случилось вдохнуть возле госпиталя искалеченный воздух, и я понял, что здоров только тот орган, что не дает себя лишний раз чувствовать. Я тронул сапогом поверженную наземь афишу и сказал себе, что скрипач может сколько угодно играть смычком на венах, а карлик жениться на прекрасной принцессе, — все равно искусство — это ложь, потому что единственная правда жизни заключается в том, что каждый любит только то, что ему положено, а не любит только то, чего недостоин. Я молился у самого алтаря, не чувствуя каменно-твердых плит под коленями и глядя на преломившего хлеб, думал, что хороша только та философия, которая может быть воинствующей, даже если она призывает любить.

Религия — сокрытие безверия, религия — сокрытие веры. Верят или не верят из соображений благонадежности или по наносной увлеченности; боги меняются вслед за верующими, верующие меняются вслед за храмом, а храм изменяют строители. «По мере того, как улучшаются народы, улучшаются и их боги» [Лихтенберг].

Не всяк свят, кто мучился, — свят всяк, кто научил мучиться по-новому или изобрел новое мучение. А вот и гимназия или что-то подобное, где начинают учить с первой догмы: «Ты такой же, как все». Ну а дальше и впрямь все просто.

Я удивился, что это был уже следующий день, а ведь удивление — самая нерасторопная вещь в мире.

Я приехал в селение X, чтобы начать новую жизнь, сделать карьеру, но ни в ощущениях, ни в мыслях моих не было никакой новизны: я слишком давно стал новым.

Я искал жилище, хотя и не был бездомным. Я привез рекомендательное письмо, хоть и не был анонимным. Я поступил на работу, хотя и без того ничего не умел делать. Я был одет в черный дорожный костюм, хотя не любил дороги и меня не за что было обелять.

§ 3

Сегодняшний день не был похож на гончарню, ибо, смирив свой капризный норов, солнце привороженно клонилось к той впадине на небе, что обозначает полдень. Мнилось, будто оно начиналось стыдобой и подобрало свои гигантские шикарные волочащиеся по земле одежды, затканные оранжевыми нитями. Нужная мне улица нашлась быстрее, чем я ожидал. Казалось, само провидение заманило меня в ненаглядные россыпи благоуханий лаванды и мирта. Мой саквояж постоянно давал о себе знать, толкая правое колено прикосновениями. Прохожие на этой улице были не так опустошительно многословны, как на иных. Я ухватился за нескладный витой шнурок, похудевший от частого прикосновения рук, сомневаясь в его поспешности, но он, напротив, видимо изрядно отдохнув за эту ночь, с похвальным рвением устремился вверх, привычными флюидами исторгая сумбурное бормотание колокольчика. За деревянной, распятой медными гвоздями дверью меня боязливо ждал домашний полусумрак, в который я крепко и поздоровался. На мгновение он проникся оторопью, сраженный моей вежливостью. Переждав, он вытолкал прочь, поднаторевшую в приветствиях служанку. Я дал ей выговориться и прикрепить свои льстиво смиренные глаза на мое лицо. Было видно, что седина брала эту даму весьма неохотно, точно каждый приговоренный к

седине волос был ею троекратно обжалован. То, что обычно случается, случилось: мы поздоровались. Узнав о цели моего визита, дама шире открыла дверь, ушибив домашний уют, и впустила меня в дом. Я увяз в чем-то изжелто-красно-смолистом, что раньше называлось ковром. В этом доме снимали меблированные комнаты еще несколько человек. Я побеседовал с хозяйкой, и, когда она смастерила в разговоре запланированную деланную паузу, я заверил ее в своей добропорядочности и затворническом образе жизни.

Единожды солгавший солжет и вновь. Солгавший дважды изолжется вконец. Лгущий всегда хоть единожды да изречет блаженное слово правды.

Я поправил свой белый манжет так, словно он одумался и согнал с себя спесь напускной кипельной белизны. Только белому цвету не прощают даже самую незначительную грязь.

На днях я уже могу переехать. Комната в мансарде на втором этаже — олицетворение усеченного по краям моего существования, богобоязненной вершиной устремленного ввысь. «Наличники оливкового цвета, солнце во второй половине дня, если, конечно, не будет конца гнета». Я и хозяйка смеемся, боясь опередить друг друга, готовые вот-вот оборвать эхофицированные выдыхания, в которые не вкладываем уже ни воздух, ни смехотворность.

Изнашивает не сам порок, а близкое нахождение рядом с ним.

Наличники оливкового цвета, под левой ногой у самого входа в комнату свирепым скрипом в слащавую тишину вгрызается половица. Она делает это так, словно читает мои мысли. Я не завидую ей.

Пусть получит еще и еще...

Несколько раз я возвращался в гостиницу, вороша и переворачивая в мозгу нелепейшее болезнетворное столпотворение согласных, каждый раз вздрагивая при кнутообразном прикосновении языка к двум буквам «К». Несколько раз я вы-

нуждал бесспинного портъе окроплять меня терпким соком вежливости, невзирая на то, что себя и свой саквояж я имел возможность выдворить вон за один сеанс.

Вначале у ворот гостиницы, с этого ракурса схожей с черновым наброском одного из фасадов Эскуриала, успокаивая ладонями встрепенувшуюся парусность плаща, я повстречал ослабившегося хромого, тяготящегося обществом эбеновой трости. Хромой был действительно и беспощадно хром, и оставалось выяснить, почему он прельстился перспективой путаться в своих живых и неживых конечностях и на кого он покинул свой дом. Я подумал тогда, пропуская человека вперед, хотя на улице не было тесно и не было сыро, что, будь я хром, я непременно имел бы такую же трость, с которой я никогда б не посмел расставаться: и за обедом, и даже по сне, чтобы сделать ее составной частью себя и приучиться к мысли о хромоте. Но я не хромаю.

Минуя суетородную теснину ворот и обеспамятовав на мгновение от того, что воздух в этот день загорал почти повсеместно и ветер, разогнав все лохматые циновки облаков, сделался недвижимым и синим, я повстречал непрошеную цыганку. Та же, прислушиваясь к тайнописи своих побуждений, выискала мою руку и, стандартно заломив карий взор, вдруг спросила:

— ЧЕМУ улыбаешься?

— СЕБЕ, — отвечал я, отпуская ладонь, будто совершеннолетнего воздушного змея.

— Хочешь, разгадаю судьбу?

— И что же я буду с нею делать, РАЗГАДАННОЙ?

Я вытянул свою руку из ее униженных безвкусными перстнями пальцев. А цыганка, впервые узрев ладонь, не размалеванную ни пресловутой линией жизни, ни надувными пунцовыми буграми Венеры, ни мстительными фиордами жен и детей, отпрянула, бормоча что-то, состоящее из одних придыханий. Очевидно, ее пеленал профессиональный страх от того, что мне ведом манифест моей судьбы.

Я перебрался в мансарду, заняв секретер, платяной и книжный шкафы немногими, но доброкачественными своими вещами. Образовавшиеся пустоты неподражаемо порицательно смотрели на меня, явно ожидая более добропорядочного и степенного квартиранта. Я ходатайственно улыбнулся, обещав пустоте умиротворить ее безделицами, и улегся с ногами на диван.

Завтра я испытаю себя на новом поприще. Сошью сюртук, долженствующий изображать преизбыток благонадежности; начну удобопонятно кланяться; научусь правильно восседать за столом, ничуть не фиглярничая; буду пестовать что есть мочи свой очеистязательный почерк и следить за льдистой бороной пробора; приведу к присяге всю молодую спесь и начну смотреть на мир так, как не хочу. Завтра учинится градобитие моей сущности, а сегодня по новому дому гуляет грубоватый мужской смех. Набегая с самых невероятных сторон, он виснет на ушах тяжелыми обручами, которые устаешь снимать.

Всласть недосказанный вечер.

§ 4

Я проснулся, оделенный первыми лучами солнца, заставшего землю врасплах, ибо та была не готова ни к несотворенному свету, ни к пению птиц. Однако все тварное, очень быстро рабствуя торной дороге жизни, принялось напоять взаимностью новую повседневность. Один лишь я, лежа на боку и вдобавок стреноженный вечносбегающим одеялом, был вынужден что-то начинать по-новому. Утреннее светило сомкнулось алыми перстами на моем ночном колпаке и придало ему оттенок головного убора палача. Я вырубил под корень по всему лицу молодняк волос, сторонящихся моей сердцевины, желая сей миг каждой бритве быть острой, а в передразнивающем лоне зеркала я остался навеки небритым. Что-то около часа спустя я забился в лошину улицы, нанизывая на себя все реалии селения с жадностью миссионера: я

должен захотеть здесь жить, что почти невозможно. И в мою психику, точно в стеклянный глобус, вживлялись декоративные континенты судеб, на которых я, возможно, скоро запечатлеюсь то рассеянной тональностью водопада, то влажной усыпальницей блуждающего русла реки.

Канцелярия. «Вот ваш стол, молодой человек».

И это действительно был стол, хотя ног под ним я не увидел. Мне вспомнился один хромой, который, узрев разящую тетиву моего воспоминания, подобрал эбеновую трость, будто задыхающийся олимпийский огонь, и убежал в герметичный отсек другой реминисценции, выжидая лучшие времена.

Человек на девяносто девять процентов состоит из памяти и желаний, остальное — кожа.

Вот мой стол, и я при нем. Он похож на вооруженного монаха. Смотрим друг на друга, будто оба очнулись от спячки ледникового периода.

Появились двое молодых людей, которые будут «вводить меня в курс дела». Я осматривал их, не внимая им, и нащупывал свой пульс вне себя. Пятьдесят пять ударов под крышкой чернильницы придали чернилам пенность, шестьдесят — я отмерял в грот замочной скважины сейфа. Но тот не открылся: шестьдесят — не его код. Шестьдесят пять, словно цунами, плющились где-то по ту сторону штор, выбивая гербовую бумажную пыль, ниже моего плеча воздух сложился складками двойного чихания и где-то сзади само себе сказало: «Будьте здоровы». Семьюдесятью ударами крови я отбил от глаз секретарши, проникнутых мобилизованным рвением и опытом одиночества. Двое молодых людей представились:

— Евгений

и

— Серж.

Пульс извне бросился на меня, вьелся под кожу и стих. Я улыбнулся и молвил:

— Меня зовут Габриэль.

— Что за имя у вас такое престранное? — Имя как имя, Габриэль как Габриэль.

- Здесь мы не слышали о таких именах.
- Я не отсюда.
- Ах, вот оно что.

Я умиротворенно снисходил к забаве нашего разговора и очень быстро уразумел, сколь пагубно отразилась на моих знакомых неприметная червоточина будней. Более крупный в речах и фигуре Евгений соглашательно улыбался через равные промежутки времени, а |м лед за смехом, точно привязанная к нему, содрогалась, выпадая белозубым забралом, нижняя челюсть, а нос плющился, и я очень боялся, что однажды он не выправится назад. Мне стало понятно, что это существо создано для тактильных удовольствий. Невысокий же Серж своей настороженной медлительностью, находящейся в плену центра тяжести, расположенного очень уж низко, хилыми ручонками, опущенными на произвол судьбы вокруг щекообразных бедер, всем своим тельцем, напоминал мне глиняную фигурку, недостаточно затепленную огнем. Мое нектарное удивление не стало выше меня, едва я узнал, что оба они женаты и имеют рудных дочерей. Мало того, Евгений и Серж были почти и кто возраста, они также недавно обитают в селении X и заняты тем же, то есть обстрепыванием начала карьеры.

Сюртуки их были исправны и пригодны для тел. Мы затронули что-то более значительное, и торжествующий оскал Евгения преосуществился в раздумчивость, и только здесь я увидел, что и такие вот люди могут иметь морщины. Но лицевые степенства не старили его, а, напротив, невероятным образом своего пролегания молодили, и я окрестил Евгения про себя седовласым младенцем. Почти все из оговоренного нами в его устах облекалось в черты однобокой крайности, присущей уязвленной молодости, то вдруг временами приобретало такое спесивое немочное потворство Фатуму и загромождалось такой деланной выжидательностью, свойственной трости, что я порой не понимал, по каким законам работает структура его мышления. Серж и Евгений дополня-

ли друг друга фигурами и темпераментами, но сходны были в суждениях. Мнилось, будто один из них отвечает за обоих, нисколько не считая нужным поинтересоваться мнением другого. Серж говорил много меньше и не так напористо, он в большей степени был простым малым, чем Евгений. Происхождение они оба имели самое неприхотливое, судьба сочленила этих людей в процессе их обучения, придала им живучесть, и ныне своим положением они были обязаны не родословной, а тому, что с некоторых пор принято было называть предприимчивостью. Хотя какой именно она была у Сержа, я еще не догадывался. Мое лицо по наитию постепенно приобрело выражение сладкозвучного печальника, гнетомого шероховатостью избираемых тем. Хотя, перебираясь с одного на другое, внешне не связанное, они, впрочем, довольно быстро объяснили суть моего нового занятия, от которого я не переставал отрешиваться, дабы оно само собой изменило мой социальный статус, однако попутно не омрачая убожеством предприятия. Я не могу сказать, что оба они мне сразу же не понравились. Все дело в том, что мне все равно — нравится мне человек или нет, ибо во мне все оценочные центры никоим образом не связаны. Просто я не мог предположить, что Евгений и Серж могут быть мне опасны. Разговаривая о том, что мне безразлично, а большинство мирских тем, увы, подпадают под эту категорию, я воображаю всякий раз, что глажу саван из нестандартного ворсистого материала, и глажу его против ворса.

Человек рожден в терпении, но это не значит, что он должен терпеть. Терпит тот, кому больше нечем заняться.

Невзрачная мозаика беседы навела во мне суший бедлам: во мне что-то клубилось и щебетало, а кто-то из моих будущих сослуживцев резвостепенно поименовал меня «очередным мальчишкой, от коих некуда деться». Я отдался на поток всеобщего гадалища, меня вконец закармлили ядом благоуханной любезности, и божок моего чванства, точно лазутчик, забился в канцелярскую писанину. Я осквернитель

служебной неискренности. Мелкая финитная пластика лица Сержа навела меня на мысль, что психическое ненастье это не однодневно и все это исполненное однообразных чудес безобразие будет выглядеть гадким приращением на изломанном теле функции моей жизни. Я бегал из потемок в потемки, застревая в междуречьях света, и мой бег производил впечатление полета заводного слепня, а одяние мое, никак не вплетающееся в бюрократический антураж, порабощало рецепторы празднословия, которые при каждом моем появлении справляли новоселье.

§ 5

Это началось, наверное, с того дня, как я прибыл в селение Х. Меня начала окружать пелена неведомой вины, я пытался нащупать ее, но она была нематериальна. Мне но с чего было агрессивничать. Я как всегда был любезен и беззаботен и не желал зла даже заградным псам, что радостно рвали вокруг меня тишину своим исступленным харкающим лаем. Я не удостаиваю ненавистью «моих новоявленных недругов, двуногих или четвероногих, ведь все они на цепи. В неприятной пасти одного из «иерей уместилось слишком уж много пульверизированного негодования, и тогда я вынул из кармана мятный леденец, желая сотворить у себя во рту приятность. И едва и выбросил золоченый фантик, как пса сковала безгласность, словно он нашел себя совлеченным с привязи. Если хочешь сделать другому плохо — сделай себе хорошо.

Семьи Сержа и Евгения находились где-то далеко, ибо мои новые сослуживцы предусмотрительно убоялись вывозить свои логические продолжения в еще не северней но благоустроенное обиталище, и потому их временным пристанищем, по усмотрению вольноотпущенного случая, было то же нагромождение меблированных комнат, что и мое. Мы отпраздновали знакомство у меня, и я сразу же узрел рассадники нездорового блеска в их глазах, нащупавших мои книги, элементы гардероба, а также роскошные иноземные

яства, кои я прихватил с собой. Каждая деталь моего туалета, недоступная их пониманию, возбуждала невысказанную мне скорбь их непросвещенных глаз, а та, в свою очередь, безнадежно преобразовывалась в скрытую враждебность. Я потешался в кресле, услужливо спрашивая про себя каждое ребро, удобно ли ему, а Евгений, опасливо смотря на роскошную коробку конфет известного голландского кондитера, вполголоса и вполоборота головы говорил мне: «Я не пробовал еще конфету с зеленой этикеткой». И прихватив ту вместе с фиолетовой, поспешно отправлял обе в рот, не умея понять, которой из них свойственен вкус ананаса.

Изнашивает не сам порок, а близкое нахождение рядом с ним.

Украдкой внимательно осмотрели все еще раз, точно я хотел выскоблить конфетные фантики и свой галстук из их объединенной в беспочвенной борьбе памяти, когда ненароком выведали у меня, что я воспитывался в столице. Их елейно порицающие взгляды на цыпочках перебирались по названиям книг, уже предожидая встретить там имена неведомых им заморских авторов, а также обыскивали мое платье, силясь высмотреть там хитрый знак фешенебельного портного. Мне было все равно, что они обо мне могут подумать, но одна моя часть, всячески сглаживающая острые края, тянула за локоть вторую, эпатирующую их нещадностью суждений.

А банальным лукавцам тем временем пришло на ум шутовливо порицать меня за отсутствие матримониальных устремлений. Я уверил их в своесчастливости, и это оказалось для них новейшей столичной ересью, в коей им пришлось ненадолго увязнуть. Мне же не приходилось тужить, ибо острие моей мысли плутало в интеллигибельном переосмыслении метафизически близкого мне Августина. Я прилаживал губы к поспешающей за мною младости резвого хмельноотрадного напитка, так как мне некуда было девать энергию, коей господь также не обделил меня (равно как и великого гиппонского мыслителя). Мы наслаждались друг другом — я и

благоуханный напиток, обретший первую силу, едва покинув материнскую виноградную лозу. Но я не обижал ни взглядом, ни единым непредупредительным действием двух моих гостей, так что один из них — чарующе непосредственный Евгений — переусердствовал, облакая нутро легкокрылой силой вина. Постепенно они освоились с тем, что я позволял им журить меня. Тем не менее стоило нам затронуть проблемы нравственности, как струна непринужденности издала мелодичный предсмертный храп раздираемого музыкального металла. Их суждения о женщинах были крайне вульгарны и жестки, но я, увы, знал, что в мужском кругу, состоящем из лиц, не прошедших специальный отбор, сей образ чувств, отмеряемых прекрасному полу, с некоторых пор является одним из доказательств принадлежности к мужскому.

— Я не имею ничего против публичных домов. Это столь же необходимая и неотъемлемая часть общества, как и совокупность некоторых органов тела человека, не являющихся предметом поэтического воспевания, но без которых, однако, нормальное функционирование всей системы в целом просто невозможно, — говорил им я. Я не поленился также сослаться на одно из высказываний Блаженного Августина, заметившего по этому поводу, что изъятие публичных женщин из общества неминуемо разобьет его похотью.

— Мне кажется, — усердствовал я, отправляя язык мой в совокупности с показательной частью мозга на свободную охоту, — что одна падшая женщина, раз и навсегда поставившая любовную экзальтацию на конвейер регулярных всплесков чужого физиологизма, стоит для общества значительно дешевле, чем десять полноценных мужчин с невыбиваемой Эросом психикой.

Я сразу определил в своих собеседниках людей низкого уровня умственной организации, как только Евгений и Серж, пустившись со мною в скудный по содержанию, но полифоничный по наличию догматизмов спор, буквально через пару минут пришли к выводу, что я непременно хочу пустить всех

женщин на панель и что я даже не закрепляю за ними наличие души. Мне было лень повторять их грубые сентенции и определения, но я сделал это, дабы сбить их уверенность. Но не тут-то было, ибо довольно быстро измазав друг друга иррациональными взглядами, они принялись мне объяснять, что грубы лишь их высказывания, но не чувства. Меня же за мою немеркнущую холодность и уравновешенность в суждениях они повергли в определение душевной бесчувственности, а следовательно, и жестокости. Они не единожды в процессе прений меняли пространственное положение и номенклатурные позы, точно повинаясь рецепту впечатляющей режиссуры. Серж премило огрызался поддакиваниями, и все же напряженность его просочилась наружу и дала себя знать в том, что в фигуре его зарубцевались выпуклости, и она обратилась в треугольную выкройку элементарной задачи из дешевого математического пособия. Треугольник должен был вот-вот рухнуть навзничь, ушибив вершину в угоду корыстному основанию, щеки что было мочи отвисли, переполнившись ртутью невызволённых слов, волосы клубились, будто залитые смолой тайфуны. Из скомканной головы то и дело выдворался неоформившийся квадрат челюсти, перфорирующий речь неуправляемыми интонациями.

Плавность беседы застыла, сделалась шероховатой и, наконец, сбилась.

На улице всласть разрыдался ребенок. Крик забрался в комнату и расслоился на мизерные слои неудовольствий, тонируя их на палитре белого шума.

Евгений был олицетворением выпирающей отовсюду эллипсоидности. Подрубрика о национальных корнях патриотизма в его исполнении оказалась также нелепо громоздкой.

— Путеводная нить к подлинному патриотизму — неперемнное отсутствие внешних атрибутов чуждой морали, — изрекал Евгений, впадая в сомнамбулизм.

Мы увлеклись. Наше нервное возбуждение пытался унять легкий ветреный дождь. Он летал по небу, впечатляюще

празднуя каждое прикосновение к черепичной крыше своими бесконечными скользкими перстами. Он умоляюще стучал по нашим головам, транжиря свою мякоть, но мы не вняли его дробящимся звонким увещаниям, и тогда он прекратил свои трепетные излияния.

— Вы подражаете чужеземной моде и привычкам. К чему это? Чем объяснить ваше желание выделиться, ведь это нездоровое желание?

А я скользил зубами по телеграфной строчке высказываний Евгения, снимая стружку невкусного диалекта, и, наконец, отломил в его последнем замечании частицу НЕ и одновременно измял зеленый и фиолетовый фантики с такой силой, что, наверное, даже конфетам, переваривающимся в колючем чреве моего собеседника, стало больно, и я проглотил маленький коктейльчик из этих двух нехитрых ощущений. А раблезианское лицо Евгения помутилось невозможными красками, ибо интуитивно он почувствовал фальшь в моем восприятии. Он не знал, равно как и все прочие, что и могу насыпать порчу на чужие мысли, что я воспринимаю сказанное мне неоднозначно, что чужой мыслью и совокупности с ораторскими способностями собеседника я пользуюсь по своему собственному усмотрению.

Чужую фразу, если у меня на то есть причина, я впускаю в себя точно в королевство кривых зеркал, где изображение, целиком и полностью соответствующее оригиналу, единично покоится возле самого входа, а далее все пространство убрано самыми невообразимыми метаморфозами и моими личными вариациями на заданную тему. И я люблю лишь тем изображением, что приятно или полезно мне, не выпуская из виду все остальные. Если мне нужно, то я вижу лишь желаемое. Если я хочу, то я слышу лишь то, что хочу.

Сумрак собрался в углах группами по несколько теней, нахохлился и устремился к столу, за которым мы сидели. Тогда Серж зажег свечи, предварительно обезглавив не одну спичку. Он сам бросил их к фантикам, скомканным мною, и потому

то, что он затем поставил мне в упрек, оказалось мертворожденным. Стоило мне вычленить из его тирады два утверждения и сопоставить их, как он сам убедился в несостоятельности своих доводов, и злоба его на собственную глупость, так продажно обнажившуюся для всеобщего нашего обозрения, скопилась на лице чем-то похожим на лиловые оспины.

Я помазал на царствие все его убогие доктрины, изрядно улыбнувшись.

Мы мало были знакомы друг с другом. Очевидно, лишь это и обуздало моих сослуживцев, ибо для ненависти тоже нужен стаж знакомства. Кроме того, день чах на глазах, краски его безвозвратно изнашивались, и останки их жалостливо забивались в глубочайшие поры объявшей все серой пелены.

Я поймал очередное противоречие и, притянув к себе, словно калорийную жертву, завязал изящным бантом, обратив всю нервическую возбужденность предшествующего в празднословную никчемную шутку, и мы с радостью, казалось, уже нам не свойственной, набросились на собственные вымученные, обескровленные улыбки и втиснулись в них всеми своими существами, размяв слежавшиеся щеки. Мы кланялись друг другу что есть мочи, желая добрых сновидений.

Мне плохо спалось эту ночь, но я не впечатлителен. Просто ночная рубашка, напитавшаяся магмой полуночного пота, уподобилась пеналу из ртутных шариков и нею ночь старательно обыскивала меня, все ища, чем бы поживиться.

Я не думал о прошедшем разговоре, хотя он и пребывал у меня в свежей памяти. Я не раболепствую перед прошлым. Я улыбаюсь кипельно-белому потолку. Мне нравится это проделывать, ибо на моем лице, как и на нем, нет ни одной морщины. Все же я несколько раз седлал заменитель сна, не влагая свою улыбку в скупые ножны настоящего времени. Ввиду этого жалкие потуги на сон спонтанно склеились с действительностью, и плененная изуродованная явь сделалась непригодной к употреблению. Жизненного опыта не будет, я поднял руку, радуясь всем своим ночным negliжиро-

ванным рубищем, что рука моя может в досталь подниматься выше меня.

Разговоры с людьми — моя работа, а во время отдыха я не думаю о ней. Как-то раз, исполненный юных сил, я неловко потянулся, и внутри что-то лопнуло. С тех пор я не умею обижаться на людей, а мое настроение не зависит более от обстоятельств, ими порождаемых.

§ 6

Я приступил к несению служебных тягот, и время осчастливило меня новой насиженной привычкой. Посему и нашел себя принужденным быть слабее времени, ибо похожие элементы бытия быстрее становились достоянием мгlistой, но отчетливой беспамятности. Я начал вести себя как одурманный повстанец, исполняя множество микроскопических поручений, гоняясь по пятам за собственным отдыхом, совершенно не вникая в сущность службы. Первый чудной разговор не сотворил состояния затхлости в моей душе, но очень скоро запах моей эфемерной виновности начал покалывать ноздри, и, не привыкший смотреть по сторонам, я начал было интересоваться причинами очернительных сплетен.

Иногда это было вот так.

Бульварный кот, пребывавший в полуденном оцепенении, казалось, лишь при моем приближении терял чувство безопасности и становился объектом моих зловолений. Полицейский с невыглаженным от бессонной ночи лицом, растолкав толпу, снующую на привязи пиршественных запахов, изливающих из чрева приземистой харчевни, вдруг окликнул меня, заговорщицки потрясая головой.

— Милостивый государь, соблаговолите предъявить ваши документы.

— Неужели я чем-то нарушил законность?

— Нет, нет, просто я...

— Ну что ж, извольте.

— Благодарю вас, вы можете быть свободны, — он еще раз вероломно обозрел мою внешность, споткнувшись на не-

которых невразумительных особенностях моего одеяния, и придал лицу номер полицейского участка, изучая мои розовые очки, что владели голубизной немигающих глаз. В далекой витрине магазина между головами из папье-маше и рыжими дамскими париками я продолжал видеть отображение полицейского, торжествующего над серединой проезжей части. Он высился, словно картонный обелиск, стерегущий пластмассовые мощи. Я шествовал прочь, пуговица на воротничке вылизывала мое латунное горло, казалось, уже изнутри, будто могильный червь, вскормленный набивкой горностаевых мантий.

В этот день в конторе меня обвинили в незнании жизни, ибо я живу в своем иллюзорном мире и никогда не работал. И посему в качестве весомой компенсации за инфантильность я получил на одно поручение больше против обычного. Скопидомцы Евгений и Серж в тот день обвинили меня в прижимистости, ставя в замысловатый укор то, что якобы откупаюсь угощениями в их присутствии, а не проявляю гостеприимную инициативу, свойственную всем людям моего уровня обеспеченности.

Мне довелось истосковать по музыке и дамским глазам, и я направил стопы в одно местное недорогое введение, где приваживались волокитные танцы, все быстрые из коих я, будучи на кабальной примете у Бахуса, проплясал навзрыд. Одна же из девиц, которую имел стечением обстоятельств пригласить, спросила:

— А это правда, что вы все отрицаете?— Ее танец был вполне чистосердечен, а ее манера смотреть на партнера побуждала укорачивать дистанцию и злоупотреблять булатными глаголами. В ее волосах, спутанных слабым водоосвещенным светом, я помышлял узреть немец из мускулистых роз.

— Скажите, а вам не приходило в голову, что в медленной музыке есть нечто настораживающее? Быстрота действия пленяет, но не настораживает, быстрее определенно быстрого быть не может, а вот медлительность подразумевает Бог

ведь что, она, как и следы, скорее отталкивает, чем притягивает.— Я знал, что молодо выглядит тот, кто молодо мыслит, и посему короновал каждую свою нелепицу и расхристанные ритмом движения.

Там, левее за косогорами отряхивающихся в танце одинаковых спин, я увидел Силуэт, коего страстно желал. Его вживе допрашивалось мое загнанное в розовые очки воображение, я ждал медленного танца, как языческий друид воскурения у потухшей святыни. Но медленного танца не было, и я напускал на себя нещадный цветной колотун, то и дело выискивая спасительный маяк, облеченный в женственные черты, заданные моим воображением. Я загнал себя дожидаясь, и едва наступила пауза, наконец-то раз родившаяся чем-то медлительным, и ноги безотчетно понесли меня влево, но ничего подобного этому женообразному оазису я не нашел.

В течение тридцати-сорока секунд мне нужно было увидеть хотя бы что-то подобное, ибо я достаточно хорошо разглядел ее. Н на глаза напросился мальчуган, не отпускающий юную мать в скользкую суматоху субботнего веселья и держащий в ручке пряничного человечка. Эти тридцать-сорок секунд отломались и измельчились в мгновения, а мальчик откусил голову у пряничного человечка. Оркестр погряз в буйствах, и мальчуган, глядя на меня и ежемгновенно балованно проверяя и убеждаясь в близости матери, откусил поочередно руки и ноги пряничному человечку, и колесованное молочнотубым ртом тело утайтельно убежало под кресла.

Я возвращаюсь на то место, что несколько раз пробовал называть своим домом, совершенно ночью, надел розовые очки, и розовая тьма с нешуточным подрядом на красоту по причине большей, чем обычно, прозрачности скорее довела меня к моему искусственному пристанищу. Я был благодарен моему искусному Богу, ибо тот не позамялся и не бросил в объятия мне желанный контур. Он оставил меня половинчатым, во мне сделалось несказанное веселье, ибо я понял, что страдание имеет тьму тоскливых философий. Когда же удо-

вольствие обретет подлинного философа, арбитра наслаждений? Если можно получить удовольствие сегодня, то незачем откладывать его на завтра — оно может простыть. Служанка куртуазно глянула на хмельную блестящую обузу моих глаз и один ее седой волос набросил на себя каштановую шаль. Ее взгляд перебил речь, а миловидный надменный пасынок Бахуса в зеркальной крылатке катался внутри моего лба на роликовых коньках из мизерных пузырьков шампанского, не желающего умирать столь скоро и буднично. В тот миг я на девять десятых состоял из музыки, ибо только с ее помощью и мог прожить то, что со мной принципиально не может случиться, а именно: желаемое земное счастье. Я был рад, что не обрел того, чего хотел, ибо, не получая желаемого, становлюсь много сильнее, и кровоточащее воображение мое, набираясь беспощинных сил, влечет меня далее, и с каждым новым мгновением нератифицируемого реальностью счастья я становлюсь не равен себе предшествующему. Если я Луду отяготительным реалистом, то не смогу быть буйно помешанным оптимистом. Ну а коли мне не сносить пурпурной тоги оптимиста, я не сумею вести себя активно по отношению к жизни, а отсутствие жизненной активности — следствие вырождения, ну и вырождение — слишком уж простое для меня ремесло. Не самый важный вопрос в философии, к какой именно ветви она примыкает: материалистической или идеалистической, но самая суть при рассмотрении той или иной концепции кроется в том, какова сия философия: оптимистическая или же пессимистическая.

Я плясал, я улыбался, с меня и того было довольно. Я был одинок, но я двигался. Дабы узнать жизнь, потребно устраниваться из нее, ибо представление о подлинных просторах бушующего океана недостижимо для того, кто будет плыть в нем, но достижимо лишь для того, кто пребудет в парении над ним.

Если завтра мои новоиспеченные сослуживцы будут вновь корить меня «воздушными замками», я плюну им в лицо

моей ангельской инфантильной улыбкой, и им нечем будет ответить, ибо поля наших битв лежат в разных плоскостях и пересекаются лишь на пыльных травянистых обочинах, где мне нравится валяться.

Во времена неутомонных веселий люблю прилипнуть к сцене. Когорта вольнонаемных музыкантом чеканила субтильную благодать, и мне приглянулся некто за фортепиано, чье лицо было набрано из трех цветов — таланта, алчности и страха, и все были прописаны с сокрушительным тщанием. Богатей из толпы с чистым непорочным лицом навис вдруг над трехцветным музыкантом, вежливо окликав его пачкой купюр, спрашивая любимую мелодию. Лицо купюровладельца озабочено было лазурной проникновенностью человека, изрекающего имя своего кумира! в то время как личина музыканта вмиг изрубцевалась гримасой испуга, порожденного величиной суммы, и бесноватый взор его уронил своего Ариэля Ноты скорчились за тюремной решеткой нотной бумаги. Дремотный флюгер головы заправили оркестра неслышно наблюдал за грядущим поступком пианиста и размышлял над тем, что если величина под! ношения превзойдет некоторый разумный предел, то эта послужит в дальнейшем поводом для давления на эту пару глянцевого рук, закрепленных за фортепиано. Кайма балаганной суеты то и дело заслоняла от меня дрожащего глупца, потаенные мытарства коего кончились тем, что он все же принял сумму, во много раз меньшую, ибо богатый проситель сумел настоять на своем. То, что я услышал потом, являлось сущим музыкальным отравлением. Но были довольны, кажется, все, кроме отвергнутых денег. Полнокровна радуга причитаний из-за неприятного целого состояния ковала тысячи однообразных понурых лиц. Легчайший клавишный аллюр сменился на спазмы угрызений несостоявшегося праведника. Богатей правил изрядно подешевевшим пиршеством, а толпа ликовала в надменных переплетах объятий. Из ребер смеха рождалась пустыньность, каждый взнуздывал свои подпольные страсти, не чувствуя близлежащей на клавишах раз-

лагающей внутреннейности музыканта, чья наивность подсказала ему путь к желанной добродетели через принятие всего лишь меньшей суммы. В мозгах явилось понятие о совести, втоптавшей якобы зловредный микроб порока в райские кущи праведной благодати.

Я отдал бы полжизни со всеми чудачествами в придачу за то, чтобы удовлетворить пакостному любопытству и посмотреть, каков же был в это мгновение Бог в его душе, и был ли кто-нибудь с ним или вместо него. Я хотел растолкать огни рампы, пнуть пюпитр, забраться в ушную раковину к пианисту и закричать громче иерихонских труб:

— Послушай, наихристианнейший, а как ты думаешь, что порочней: быть порочным рабом или непорочным рабовладельцем? Какое ты имеешь право отказываться от больших денег и брать из них мизер, размышлять о нетленности поэтического духа, коли твой лик мною порочней лица мецената.

Искусство не живет без покровителей. Все дело в том, как принять деньги: как эквивалент, способный хоть как-то засвидетельствовать должное к вам уважение. Христос мучился бы не меньше, если Иуда продал бы его не за тридцать сребреников, а за три. Просто Иуда был бы бедней. Дело не в пороке и не в величине его, а в том, за какую цену он достался. Можно иметь ангельское лицо и душу неиспорченного ребенка, владея несправедливо нажитыми миллионами, а можно быть вероломным хриstopродавцем из-за гроша. Все дело в том, продал ты свою душу дьяволу или нет. Суть заключается в том, за сколько ты ее продал и сколько понадобилось дьяволу денег, лжи и соблазнов, чтобы сбить тебя с пути истинного. Если обратиться к любому человеку, то окажется, что все мы несем неистребимый набор смрадных изъянов той или иной концентрации и контрастности и, следовательно, дьявол во всех нас принимает деятельное участие. И значит, пусть даже не все целиком, но частями мы продаемся ему кусками убеждений, периодами времени, единичными поступками, вторя минутным тлениям слабостей. Задача за-

ключается в том, чтобы декоративно набить себе возможно большую цену, коли грех неизбежен. Дьявол должен платить как можно дороже, и чем больше ты вырвал у него — честь тебе и хвала. Но вовсе не значит, что необходимо делать это охотно. Это всего лишь некоторое оправдание в той или иной ситуации, хотя бы едва обеляющее. Музыкант ошибся, он искал компромисс между алчностью и непорочностью в малой сумме,, в то время как он» крылся, напротив, в неслыханно большой.

Вселенский мир танцевальной забавы прошел. Что-то дельное пробовало мне сниться, но я оскорбительно сломал его и выдворил прочь, точно мерзкий отброс, и сраженное предупреждение с изломанными позвонками уползло в прошлое, не будучи замеченным.

§ 7

Я умудрил себя выспаться, но это совершенно не помешало следующему дню быть таким же, как прежние.

Меня снова обвиняли.

На сей раз собеседнику угодно было быть десятью годами старше, и потому он счел позволительным преподать мне науки морали и любви к ближнему. Много позже я узнал, впрочем, что этот же человек, имея отцом разнузданного пьяницу и греховодника, а матерью... Здесь, однако, само определение не отразит сущности духовной подмены, проступающей в нерадивой плоти, и посему я уклоняюсь от произнесения подобных слов вообще и в первую очередь для себя, ибо я хочу думать о женщине лучше, чем они есть на самом деле, чтобы оставаться полноценным мужчиной.

Просто я так хочу.

Далее из одного хищного душевного стриптиза я, сам того не желая, выведал, что сей вероучитель был чрезвычайно выгодно женат на дочери горластого политика, что позволило вытащить моего нечаянного наставника из грязи и начинить ядом бутафорской провинциальной надменности. Провин-

циальность — это род душевного недуга, сказывающегося в одержимом обособлении неискренности. У него были жидкие бесцветные усы, несуразные проблески надежды на бороду и дрожащая походка, доставляющая, еретически чистому человеку неизъяснимые затруднения его соревнующимся при ходьбе коленям. Я смотрел на него и думал, что убогий человек и мыслит и чувствует убого, ибо физическая неполноценность лишь следствие его духовной ущербности. Любовницы, коррупция, любостыжательство, опальные ногти, отвратительная сальность ужимок, свойственная этому племени людей, духовная негигиеничность — для меня он был воплощением уравнивания первого порядка, ибо его ложь не различала цвета, оперируя лишь черным и белым, и я терпел его, ибо находился в состоянии горестной зависимости.

Мне ставили в вину приверженность чуждым идеалам, извращенность, нелюдимость, эгоистичность, пренебрежение к общественному мнению, житие в своем внутреннем выдуманном мире, европоцентризм, непоследовательность в суждениях да и самих поступках, хотя что разумелось под оными, было недоступно моему пониманию. Наконец, как апофеоз всего нагнетаемого вокруг меня, они выговорили мою отличность от всех, непрестанно коря деталями, которые эти убогие, ничего не видевшие, кроме нравного лоскута карты с надписью селение X, пропускаемого через призмы своих сознаний, вскормленных в атмосфере хронического информативного голода. Они приписывали такие ублюдочные колченогие родословные моим качествам и личностным проявлениям, что я только диву давался. Меня поражала забористая агрессивность этих людей, вокруг коей они группировались с непосрамимым поспешанием пчелиного роя, творящего злорадную молитву остриями единообразных жал. А я не переставал принародно зацеловывать всякое проявление оригинальности, и это бесило окружающих, скликаая противу меня новые коалиции и воинствующие образования, кои предавались этому занятию единственно по причине попки и духовной безработицы и нищеты.

Травля — неисповедимое первобытное наслаждение. Любое мое осторожное замечание отбивалось лакомой невозбранной формулировкой: «Ну, ну, самый умный». Причем урезонивающая интонация ежеразно ксерокопировалась столь изнеженно бездумно, что по этой единственной тирадке, если ей случалось вновь приобщаться к жизни, я совершенно не различал людей. Если же нам приходилось говаривать на пространные темы культуры, образа жизни, меня регулярно упрекали в гадком желании прожить красиво, ничего не делая, не помогая никому ни единым словом, ни действием. Старички же, набираясь сердитой ветхости, даже именовали меня паразитом, но я не обижался на них, ибо слишком хорошо знал, что человек не взрослеет, а просто старится. И все это вер шилось как бы шутя, точно я не стоил мобилизации их тягучей серьезности, являясь порождением вселенской пустоты и однодневной мишурности. Очень скоро в их глазах я стал чем-то вроде злого шута, коего терпят и приваживают исключительно токмо для спровоживания и излияния продрогшей злобы и тряского ехидства. Я знал, что донкихотствую. Я ведал, что старания мои тщетны и исход борьбы — само воплощение безуспешности, и именно потому не отчаивался, ибо отчаяние уже само по себе одно из наиболее тщетных занятий. И один в поле воин, если он воин.

Развлечение травлей приобрело весомость, едва я обнаружил пропажу половины всех остатных наличных денег. Из бумажника изъяли ровно половину новеньких хрустящих банкнот, точно глумясь надо мною, ибо больше всего это сходствовало с тем, как палач, убивающий жертву, вдруг на полпути к смерти прерывает вершение смертоубийства, дабы продлить страдания узника. Достоверная середина пути между жизнью и смертью, пожалуй, единственный компромисс, коего я всячески сторонюсь.

Их украли, когда я спал.

Пропажу я обнаружил лишь днем.

Мне было отменно скверно до тех пор, пока я не вычислил новый внутренний психологический выход из состояния

безвозвратной утери. Я неподдельно страдал, ибо, по моим понятиям, был стеснен в средствах, но именно в это время дивно сплетенный инстинкт жизни, посоветовавшись с фантазией, ковал могучее оружие противоядия. Мне стоило это некоторых усилий, а все же на моем лице не было печати даже неудовольствия, разве что веселье приобрело оттенок вымученной нервозности. Я вспомнил пречудесное жизнеописание одного хирурга, который, будучи тяжело ранен, попал в такие условия, что принужден был сам себе делать операцию, не имея под рукой ни инструмента, ни помощников. Я вспомнил это в связи с тем, что Евгений и Серж, сочувственно огорчаясь, позволили себе небольшой сеанс черного юмора, высказав мне, что это лишь первые плоды моей крайней беспечности. Большинство моих подозрений устремились на новоявленных сослуживцев, едва они поутолили свои гадкие смехи и явили ярчайшие образчики инсценированной божбы и многочисленных красноречивых предложений «обыскать все их вещи». Я не внял этим предложениям, так как знал наверняка, что подобные предложения исходят от людей либо укравших, либо ежемгновенно готовых к краже. Хозяйка, приобретая верующих в ее искренность, привычно всплеснула руками, картинно затем примостив их на своей мнемонической груди. Полицейский же прижимисто суетился, волхвуя над актом, неподражаемый жар его исполнительности и подагрического лада сконцентрировался в том, что он, потешно вышагивая по моей комнате, всячески избегал диагональных маршрутов.

Ехидные, охочие до чужих горестей взгляды мгновенно влияли. Пресловутая объемность всех окружавших меня персонажей низвелась до безобразной простоты рисунков, не оделенных светотенью. Евгений и Серж, казалось, присели на корточки. Полицейский провел по лицу рукой, и оно размазалось между хлопьями постного воздуха и жирными пальцами. Хозяйка стала невидимой на фоне дверного проема. Мой сюртук сделался тесным от наступающих легких. Люстра,

бывшая стеклянной и. недорогой, вдруг неожиданно пода-лась вверх, гоня потолок, но, подтягиваясь по железной цепи, она не делалась меньше в глазах моих, а, напротив, росла. Скромное убранство ее сделалось раскидистым хрустально-золотым подолом, светородные шпильки свечей множились в геометрической прогрессии с такой похмельной быстротой, что я, пожалуй, не удивился бы, что селение X, обобранное светом, погрузилось во тьму, храня освещение лишь в моей комнате. А та, непомерно раздавшись в размерах, устлалась дорогими коврами и шкурами редких зверей. Множество самой изысканной мебели само просилось служить, даруя телу блаженную негу и отраду глазам, гадающим, с какой инкрустацией лучше сдружиться. Тишина завилась гомонами степенных голосов гостей, готовых вот-вот воссесть за ломящийся от экзотических блюд и цветов стол.

Пусть выбьется из сил виночерпий и серебряный ковш от прикосновений к вину изотрется до дыр! Пусть флейтист изранит свое блаженное древко лакомствами новых импровизаций! Пусть церемониймейстер растает от тостов! Пусть дамский чарующий смех станет разновидностью обычной и чтимой мною тишины...

отныне

я буду думать, что если у меня отнято что-то судьбой, то это значит, что оно было истрачено мною на удовольствия и мне есть теперь что вспомнить. И чем больше у меня выкрали денег, сил, эмоций, надежд, то, следовательно, тем больше я получил удовольствий.

Пир был неслыхан!

Я исчез на три дня, а после...

Еще несколько дней все недоумевали при виде влажной истомы, перекатывающейся по моему лицу, когда я закатывал глаза и лишь приговаривал, изнемогая от чарующей силы впечатления: «Боже, пир был неслыхан, я заблудился в гулких дебрях поцелуев и...»

Меня не так легко победить, ибо в конечном счете человеку ничего не остается, как быть героем. Ситуация сама всегда

вынуждает быть победителем, даже если тризна проигрыша больше устраивает.

Я протаранил время и ситуацию, и беспощинные воспоминания о неожиданном празднике стали тускнеть.

Я не белое называю черным и черное белым — я белое и черное называю разноцветным.

§ 8

Кровля мансарды окуналась в зыбкую лоснящуюся трясину дождя, и каждая черепица, будто забранное сном веко глиняного идола, при каждом падении срубленной громом капли дождя разражалось вереницами шепчущихся брызг. Молнии, едва под властные оку, впивались золотыми рапирами в беззащитное тряпье облаков, и потому каждый новый синий всенебесный витраж таил в себе невиданное исхитренное погранных остриями форм.

Вот смертельно раненная голова барана вздумал обрести облачную жизнь в упокоенной на дыбах лошади и замке, притулившемся на тонконогом утес Вот снова чудодейственная забава Громовержца и на церковном кресте яркие спицы распяли парящего аиста.

Мгновение спустя крест очутился в клюве у птицы, а дальше я не мог разобрать уже ничего. Я глянул на улицу, и та будто пенсне для слепца, сопротивляясь обезумевшей водной напасти, бежали, соединив руки, два черных зонтика.

— Эка невидаль,—
думалось мне.

Превратности поведения фигляра, отринувшего уныние, очевидно, более не в силах спасти меня. Я не сомневался в своих идеалах, но усомнился в том, смогу ли достичь их подобным эгоцентрическим образом. Боже, но где искать поддержку, если меня угораздило низлететь в чуждую низменную среду, где все считают меня себе ровнею. Толь-

ко донкихотствовать на новый манер, а мой костюм — моя крепость. В магазинах и торговых лавках селения X я мог купить лишь весьма заурядные вещи: самый стиль здешней посредственной жизни не подразумевал хоть сколько-нибудь переменчивый индивидуальный подход к удовлетворению людских пристрастий. Выделяться из толпы не только одеждою, но манерами и взглядами читалось здесь проявлением враждебности. Меня угнетали вездесущие непромытые лица и донимал донельзя неухоженный язык, который повергал в бешенство, а непроторенные нравы выбивали из колеи. Почти все дамы здесь одевались нарочито безвкусно, но зато чрезвычайно пестро, хотя пестрота эта была крайне одинакова.

Захотелось прочесть одного из любимых авторов, но я нигде, увы, не мог сыскать его полное академическое издание собрания сочинений. Всюду виднелись какие-то отвратительные книжонки в мягких переплетах с натужной надписью «Избранное». «Кем избранное?» — тотчас рождался вопрос, усердно подвизающийся быть риторическим. Цвет бумаги их был глумительно чахл, и мне, быть может впервые, хотелось ударить книги или хотя бы насладиться жаром ублюдочного огня, что они породили бы, и испытать, пожалуй, сильнейшее ощущение смеха варвара перед упитанным пожаром Александрийской библиотеки.

Я спотыкался и падал в скрюченные табачным дымом объятия теплой мужской компании, и от обилия бездумных кощунств и скабрзностей уши мои едва не кровоточили. Я отбивался от стаи, и меня тут же подбирали терпкие женские дразги, кои были не столь грубы, но не менее отвратительны. Что же это? Этих людей должно любить и прислушиваться к их мнениям? Мое надуманное трансцендентальное подвижничество — опасная блажь? Вездесущая, незабвенная похвальба, своей простотой, но за простотой льготно скрываете грубость. В моем стане начались пораженческие бее порядки, вызванные деятельными сомнениями. Нет конечно же, ни Евгений, ни Серж не были в моем понимании простецкими

отрицательными персонажам. Я далек от такого трагического самоослепления: я знал, что при всей их пошлости они неподдельно любят своих жен и дочерей. Но особой, неизреченной любовью, приблизительно такую же, какую актер любит роль, которую обязан сыграть по воле контракта. Я говорил с ними, чтобы понять, ибо подобная роскошь мне позволительна. Наш разрыв, неприязнь, вражда происходят из-за того, что я смею говорить вслух о том, о чем они боятся даже подумать. Наше коренное различие состоит в том, что они любят все их окружающее в силу того, что у них нет выбора. Для них чувство неповторимо, но говорят о нем одинаково. Мы все любим наше солнце, ибо не ведаем иных светил. Основа любой любви или даже приязни — неискренность. Я наблюдаю сослуживцев, сидя за служебным столом, безучастно бряцая костяшками счетов, и с ужасом начинаю отмечать, что любой мирской разговор, заключающий в себе неприкрытый ценностный и информативный вакуум, является исполнением священного ритуала. Они уже привыкли ко мне, как привыкают ко всякому декоративному явлению, не способному рождать фискальные интересы. И стоило мне единожды пересказать мизерные, убогие сплетни одного из них другому, выдав предварительно за свои, как я почувствовал, что становлюсь учеником верховного жреца, проникающего в сакральные тонкости кастового обряда.

То, что на их языке называется гордостью, полностью отсутствует во мне. Неужели же должно обижаться на укусившего комара? Обида сродни состраданию, а у меня нет ничего общего с этими людьми.

Загадочное селение X.

Они знают, что неглубоки, и посему мне было достаточно отодвинуть себя внутрь на их максимально глубину, как они тотчас решили, что я еще пустее проще. Глупцы, я простираюсь дальше. Я мог имитировать гордость, но понял, что ничего уже не теряю, и позволил им оскорблять 'себя, ибо мне было несказанно интересно знать, как же это можно сделать и вообще что такое оскорбление ?

Какое оно на вкус?

Но и здесь я не сыскал новизны. Шут, фигляр, глупец, урод, слабоумный. Я отважно прикалывал определения на огромные листы черной бархатной бранной бумаги, точно драгоценных бабочек, потешаясь над собственной боязнью сдуть янтарную пыльцу интонаций и искрометных превосходительных взоров. Я понял, что уподобился врачу, делающему себе инъекцию новой болезни, чтобы поближе разузнать ее симптомы. Но это не служение медицине, это тоже болезнь.

Неомания.

И награду за это — парадокс. Именем врача-исцелителя называют им открытую болезнь, хотя гораздо уместнее было бы в подобных классификационных целях использовать имя первого больного, ведь всем больным кажется, что они первые. Болезнь подобна кругосветному путешествию с неизвестным конечным пунктом. Состояние здоровья, как и все молодое живое, что направлено в будущее, в основе своей гораздо неблагодарнее состояния болезни или старости, так как здоровый человек никогда предумышленно не вспоминает, как он болел. Напротив, больной постоянно вспоминает то, как он **БЫЛ** здоров или **БУДЕТ**. Я благодарен здоровой молодости за ее неблагодарность.

Я живу в атмосфере мистического экстаза, меня то и дело начинают воспитательными утопиями. Вот уже скоро несколько месяцев как я живу здесь. О течении времени мне приходится справляться у календаря, но белые листки, точно бездыханные надгробные плиты с эпитафиями цифр, отрываются- от своего гнездовья крайне безболезненно для меня.

§ 9

Сегодня я впервые должен был почувствовать физическую боль, так как изрядно порезался ножом для разрезания бумаг. Как только порез — следствие моей благоденствующей не осторожности — был произведен, я тотчас, как в шаловливом детстве, изготовился к осторожному сглатыванию

болевой информации и замороженному рассматриванию неотвязчиво текущей крови.

Но... ни того, ни другого не случилось. Я потрогал рану пальцами здоровой руки, точно сомневаясь в ее материальном существовании: раны на теле всегда казались не изъязмами, а, напротив, физическими приращениями, освидетельствованными затем жесткими валиками шрамов. Однако же эта не дала знать себя. Я приник к ней губами, точно обыскивая глухонемым поцелуем рот возлюбленной.

Там было пусто.

Тогда я, приветливо обидевшись на нее, захлопнул, точно походный кошель, алые складки несостоявшегося кроветворного родника, доверив срастаться как заблагорассудится. Вспомнился госпиталь, окутанный затхлым запахом. Тот вечер, прогуливаясь возле него по шуршащему паркету из несметенных листьев, я выведал у прохожего, обутого в нелепые желтые ботинки, что сей благодетельный храм давно уже пустует. Опрошенный толком не в силах был припомнить, когда же отсюда вышел последний больной, благодарив человека за услужливый экскурс в историю селения X и посмотрев на руку, я тотчас узрел, что никаких следов пореза на ней не сохранилось. В тот же момент, преодолевая тишину, меня попросили посторониться. Это дворник, запряженный кожаный фартук, с дионисийской бодростью сметал листья, обнажая, как и следовало ожидать, каменную мостовую. Один из листьев погнался за моей подошвой. Я анализировал факты, обрывки разговоров, частоколы газетных столбцов, источающих свинцовость, и пришел к обескураживающему выводу: в селении X больных не было. Или, по крайней мере, все следы о наличии оных мастерски скрыты.

Я примелькался на улицах, и теперь стоило мне появиться в каком-нибудь мало-мальски людном месте, как наиболее праздная часть случившейся здесь публики откликалась на мое появление желчными пустотелыми усмешками, и уши одних инстинктивно лънули к паточным устам других,

гальванизируя причудливые сплетни. Мой вечерний променад омрачался ехидными, колкими взглядами гимназисток, украдкой обнимающихся в кипарисовых аллеях с развязными молодыми людьми в красных шарфах. Как кротки были те же барышни, спешащие днем изучать божье слово, чистописание и благородные манеры! Все возрастные группы селения Х смотрели на меня как на некий чуждый элемент, что заранее не может быть допущен в узкий круг их прихотей и повадок. Мне была чужда ностальгия по обществу, если этот суррогат общения можно именовать таким образом.

Судьбичность моя была и впрямь поразительна. Стоило мне ненароком сблизиться с одним пожилым мужчиною из конторы, как он тотчас пригласил выпить с ним бутылочку вина. Я не имел ничего против, тем более что мужчину этого звали Фердинандом. Он был крупен телом и манерами и довольно безобразен в том и другом. Одет крайне неряшливо, с былыми оттенками чопорной изысканности производил впечатление человека, давным-давно памятовавшего, что есть всамделишное благоденствие. Он, как и многие здесь, бравировал местечковой грубостью. Кроме того, увы, неподвластное ему марево морщин в совокупности с осыпавшимся искрометным блеском глаз сожалительно выдавало беспробудного пьяницу.

В узком коридоре он стоял противу света, и потому, приближаясь к нему с кожаной папкой в руках, я узрел лишь фасонную кляксу его фигуры, колыхающуюся в паутине далекого окна, густо замазанного солнцем.

— Никак пройти хочешь? — сбился он на фамильярность, выжидая ответную реакцию.

— Не отказался бы, — говорил я, смиренно-отрадно вглядываясь в чадные очи.

— Так ведь там то же самое? — Он, очевидно ожидал шокировать меня остротой постановки вопроса. Но я предпочел уйти от разящего лезвия вопроса, дабы подождать, каковым же будет второй удар.

— Я знаю, и меня это не так пугает, как вас, ибо я живу старыми привычками.

Мельком я узрел, что кремового цвета панталоны были едва заметно, но настойчиво порваны на колене, а бретерские столичные цветные прюнелевые туфли недосчитывались нескольких перламутровых пуговиц на боку. Длинный комфортный сюртук был брюзгливо измят, выдавая живот. Фердинанд так же легко облеплялся кожурою тягучей улыбкой, как и впадал в категоричность своей озорной грубости. И не лицом единым, а всею своею неотесанною армадой, то вялой, то ретиво-подвижной, потворно легко, даже как-то помедузы перетекал из одного доподлинного состояния в другое. Слово «детина» само просилось быть единственным его определением. Но едва я прошелся по «старым привычкам», как тотчас смог уловить, что улыбка чисто геометрически сделалась меньше и в нее попал членовредительный камень. Глаза стали совершенно матовыми, а то, что было за ними, лихорадочно бросилось искать прошлое и изранилось в поисках румяного детского озарения.

— Да, первые восемь лет я тоже жил старыми привычками и не замечал всего этого... — Он как-то чувствительно обмяк, и света в коридорном проеме сделалось больше, хотя от этого и не стало светлей. Мгновение спустя он уже протягивал мне руку с бесхитростной неловкостью человека, запамятававшего сделать это сразу, ибо как-то просто и ненатужно выяснилось, что мы с ним оба уроженцы столицы. Время от времени он приходил в приятные восторги, и в эти мгновения я старался не беспокоить его, водворял краткие эластичные паузы.

Мы говорили так, словно были знакомы уже преизрядно, и панцирная грубость его сбежала быстрее, чем я мог себе в том отчитаться. В условленный час мы встретились возле входа в контору и пошли в его дом. Он проживал одиноко в таком же заведении, как и я, только дешевле. Следы запустения здесь сделались уже собственно запустением: подсле-

поватый паркет местами увечно стеснялся являть свой наборный рисунок, комод ольхового дерева, большой тесовый стол, диванчик с плетеной спинкой, по виду которого можно уже догадаться, как он будет скрипеть, разномастные стулья, подсвечник с выбитой из седла свечою и всюду разбросанные одеяния госпожи Пыли, а также канонически гола женщина в покосившейся рамке, которая в такой обстановке могла вызывать не больше эротических эмоций чем крепостные стены и дозорные башни бывшего женского монастыря. Вино, разлитое в рюмки, сошедшие на стол из разных сервизов, было неплохим, хотя пахло пробкой. Фердинанд пил быстро, отрывист сладострастно и, едва почувствовав первый робки хмель, исторг ненасытный вздох и принялся говорить:

— Я все про тебя знаю, я был таким же, как ты, I сотворил ту же самую глупость; я поступил на ту ж службу, что и ты: я думал поунять жажду столичных удовольствий и уехать в глушь, надеясь быстрее сделать первые шаги, быстрее достичь первых чинов денег, чтобы затем уже с солидным багажом перебраться назад в столицу и выгодно жениться. Одним словом устроить жизнь по банальному образцу. Хотя, впрочем я не мог грешить на творца, ибо он не обделил меня п рождению идеалами и понятиями более высокого порядка молодость моя не была воплощением куцего накопительства. Я любил, был любим, писал стихи, дважды дрался на дуэлях, чудил, куролесил, пил, слыл вольтерьянцем, увлекался месмеризмом, новыми экономическими учениями и еще бог знает чем. А потом...

На мгновение он забылся, уронил рюмку, как-то глупо смешно зашаркал ногами на нечистый пол возглашал далее, вертя в руках свою голову как нечто, чему невозможно сразу же примыслить назначение.

— Их деятельность неприметна на вид, разве что лишь конторы этой фирмы встречаются чаще, и стоит вам пробиться на определенное место, подать надежды во время обучения, как они будут иметь вас в виду. Они буквально засло-

нят вас лестью, заискиваниями, посулами, и вы, отказавшись единожды, может быть, уже вдругорядь призадумаетесь над тем, что стоит все же попытать счастья в далеком месте и прихватить желанный куш сразу вот так, не дожидаясь. И что же? Поначалу нее идет не так уж трудно, но потом выясняется, что чины не сами липнут к рукам, а деньги достаются морально нечистоплотным и ловким. А служба — она бездонна, как космос, ее не бывает мало. И когда по прошествии нескольких лет вы убеждаетесь в суетности и тщетности всех своих честолюбивых помыслов и решаете вернуться назад в столицу к прежним любимым друзьям, операм, черным лакированным фиакрам, презабавным интрижкам, ночным кабаре, мороженому с клубникой и шартрезом и прочим безделицам столичной жизни, которые, однако, на самом деле стоят дорого и дают слишком много, вдруг выясняется, что вам начинают чинить препоны и ваш отъезд затягивается на неопределенный срок. А годы идут, кураж и светский норов спадают, тускнея вместе с румянцем и цветом афиш оперетты с какой-нибудь заезжей мадемуазель де Блюмбо, и вы одариваете постепенно своими восторгами и чувствами сначала дочь провинциального булочника, а затем... затем туманную убывающую гладь бутyli с вином.

На полу в нелепой, не усвояемой глазами позе билась одинокая муха. Кажется, ей недоставало крыла, в комнате было много мух, но всем двукрылым летающие было совершенно безразлично поведение этой неудачницы. На столе объявилась вторая бутылка, пробка, нервозно свистя, почти сама собою улетела под стол, долгое время не находя себе места между нашими ногами и ножками стола. Я едва пригубил рюмку с вином, полоща в ней гипертрофированное изображение сетчатки глаза, а Фердинанд тем временем уже доканчивал вторую.

Чтобы наполнить паузу, я убил муху.

Мой новый претендент на дружбу продолжал:

— В конторах этой компании жалование вдвое, а то и втрое выше, чем в столичных заведениях, но это лишь видимость успеха, это его заменитель, муляж...

Он неряшливо расплакался, жилы на его лбу, натянутые поперек морщин, напряглись что есть мочи так, что мне захотелось вдавить их назад, точно этим можно было унять нервическую возбужденность. Фердинанд неловко подался вперед и, зацепившись манжетами за край стола, потерял запонку. Мухи продолжали летать над столом кругами, точно заключенные на прогулке, и я даже начал прихлопывать себя по колену, насаждая в комнате невидимый ритм.

— За эти деньги у тебя покупают свободу. Тебя не сажают на цепь, нет, но опутывают таким количеством связующих тебя нитей, условностей, зависимостей, что каждый твой шаг подобен бегу в мешке. Самая страшная диктатура та, что не имеет палки. Вся беда в том, что это невозможно осознать теоретически.

Чтобы понять это, нужно попасть в одну из таких контор, но взамен понимания гибельности всего предприятия вы отдаете свободу. Здесь на службе у человека меняется психика, он делается завистливым и мстительным, и вместо того чтобы отговаривать других от поступления на службу, он, напротив, агитирует, пропагандируя деньги да и самый престиж. Собака начинает лизать палку. Из казнимого бунтаря вы очень быстро превращаетесь в пропагандиста плахи. Я хочу сказать, что все ужасно именно потому, что не так все ужасно. Здесь нет духовной жизни, здесь фетиш, окостенение мысли, шаблон, стандарт. Как я был глуп, боже, как я вообще глуп, я хочу встряхнуть свой мозг, я хочу начать все снова...

Он попробовал разрыдаться так, как это обычно делают горькие пьяницы; но у него ничего не вышло из этого: не было ни крика, ни слез, одни только немые механистические сотрясения. А я сидел напротив него и временами гладил себя рукою по лицу. Мне нравилось, что на последнем нет примеси морщин, что оно бело и чисто и даже красиво своею само-

довлеющей искусственной красотой. Недекоративная пьяная истерика — это слишком много для меня. Никогда не дарите слишком много. Фердинанд краснел, как земля на поле брани, а ведь цвет лица зависит от мировоззрения. Он выглядел старше своих лет, хотя я не знал, сколько ему. Какая разница, все равно старше. Столько, сколько дают против настоящего срока жизни — это отношение только к самой жизни, а не ее сроку. Человек не стареет в те мгновения, когда спит, и в те, что смотрится в зеркало, и потому я с удовольствием ловил свой уверенный лик в бордовом колодце винного бокала и радовался, что лицо мое совершенно не изменялось в зависимости от количества жидкости в бокале. Размеры счастья не должны превосходить размеров человека, иначе он не справится с ним, и это причинит ему вред. Если вы чувствуете, что счастье выше вас, его нужно остановить. Но же самое касается горя и зла, их тоже потребно ограничивать в заданных пределах. У каждого человека гной масштаб. Фердинанд уже спал, спал в неудобной позе, хотя это мое субъективное мнение. Стриптиз окончен, одежды сняты, голое тело оказалось таким же, как и прежде. Именно в этом цель любого стриптиза: показать, что все неизбежно. Я встал, допив свой бокал, махнул пару раз рукою над столом, прочищая мушинный маршрут от неведомых засорений, и шествовал прочь, аккуратно затворив входную дверь. Трагизм не должен выветриваться из положенного места. Даже если человечество изобретет машину времени и вздумает переменить свою родословную, переиначить ее, перелицевать, прошлое все равно найдет, как защититься и сохранить свою неизменность.

Все, что произошло, может спать спокойно.

§ 10

Я сэкономил свою внешность в противоположность своей внутренности. Вера в Бога моя не была слепы самодурным притворством, и я отверг самой своей суть: тезис о невозможности веры цивилизованного человека. Каждая пядь

моей кожи набальзамирована расторопными реалиями бытия, и я приветливо позволяю впиваться под полированные ногти прогрессу науки и тарифной хиромантии. Я заталкиваю себя под кровлю той или иной технологии поведения, я неустанно окунаю себя в глумливую вежливость и душистый сухогрудый разврат. Здесь рядом возле самой руки есть бизнес и информативный бум — вот татуировка порядочности; мой белый воротничок — лакомый десерт для гильотины при ближайшей смене власти, а лорнет — суший пряник для глаз. Амбиции и ретирады вычислены на любой случай жизни с опустошающей точностью. Дружкой заправляет прелестно гантированный альянс желудка, ванны и гардероба. Матримонийными устремлениями, вспооществуя парламентским речам, верховодит недреманная сваха, и слово «любить» одинаково применимо как к серафической посланнице горних сфер, так и к утренней булочке, прозябающей возле кофейного фимиама.

Галстук — мой лучший сообщник, однако если я не представлен, то со мной будут разговаривать с такого расстояния, через марлю такой афористической холодности, что невольно подумаешь, уж не заразен ли я.

Но я верую.

Я воззрился на нарисованное солнце и выпал из перильного пластмассового гнезда моего дяди, и немного нужно было Евгению подлородной амбициозности, не так уж много необходимо было видеть неопратно одетых людей, не так уж много нужно было восслышать сорных вульгаризмов, не так много инертной тупости и агрессивного убожества потребно было вкусить, чтобы вконец усомниться в себе. Демоноподобный Фердинанд не годился в подкрепление. Он, пожалуй, выполнял негативные функции на язвенном теле моей защиты, ибо только методично бередил помпезную неумность мирской и духовной жизни столицы, не давая моим светским воспоминаниям окостенеть и срастись в защитный барраж.

Я лежал на кровати, и каждый собственный вздох казался мне отрывком громогласной приэшафотной барабанной дробы. Я не стал заострять свою память на том, чтобы просто вычислить количество, весомость и значимость тех компонентов селения X и его обитателей, кои опротестовали меня как личность, так как я не считаю нужным во всем отчитываться себе. Я доверяю моему Бессознательному, я знаю, что Оно мне не враг. Просто обилие систематизированного материала и его аффектоносная убедительность расшатала во мне стержень воли. Открытый шар моего воображения бесновался в окаянной агонии, а воспаленный мозг ломился от энергетического письма беглых, но основательных умозаключений. Я лег спать на исходе дня и теперь, прогнувшись почти в крошечной тьме, не мог уразуметь, что это: скомканный остаток сегодняшнего дня или раннее, поработанное багровыми тонами начало завтрашнего? И мог уточнить время, а соответственно и мою принадлежность к тому или иному дню, но элемент безвестности во временной ипостаси, казалось, вспомоществует в нахождении той или иной определенности в нравственной сфере и подвигнет меня на те или иные поступки, ибо, пленяя неопределенностью в одном пространстве, ситуация, как правило, дарует нам предельную ясность и в другом. Абсолютно безграничной неясности не бывает. Итак, задача сводилась к следующему: либо я останусь самым собой нравственно, лично и пересилю среду за счет переизбытка новой воли в совокупности с новыми активными методами отношения к действительности, либо я изменюсь как личность и поддамся среде за счет новых пассивных методов отношения к действительности в совокупности с потерей прежнего уровня воли. Меня безоговорочно устраивал лишь первый вариант. Но обитание в селении X и взаимодействие с лицами, его населяющими, равно и тем пластом культуры и цивилизации, которые оно имело честь представлять, сгоняли меня на вторую.

Выход из положения равносителен фронтальному исцелению. Я перебрал все виды лечения и осознал, что кроме има-

готерапии мне нечем бороться с собой. Вся сложность, однако, заключалась в том, что обязанности больного и врача я должен буду играть одновременно. Воспроизведу мозаичный образ, напечатанный мною, «актер» с «режиссером» срастутся воедино. Заставлю себя выработать необходимые черты, «вживлюсь» в себя и одной половиной рта пережую другую. Почему нет? Ведь удалял же один хирург сам себе аппендицит. Благо, что я не вижу себя со стороны, ведь, если наблюдать за человеком с большого расстояния, всегда кажется, что он делает много нелепых, лишних движений.

Это было как бубонная чума или сфероидный кошмар. Весь трансцендентальный ландшафт был инкрустирован дерзновенными демоническими аппликациями. Я уже видел свое средостение, вынесенное наружу, из коего, подобно щупальцам инфернальной гидры, произрастали тьмы моих фиолетово-аметистовых рук, держащих острейшие иглы, что неустанно протыкали фигурки из золы и воска, застывшие в умолительных телесно-мимических формах, присущих наиболее докучающим мне жителям селения X. Я бормотал кощунственные, нечистые напевы и вырывал из дланей некоторых фигурок свои мизерные изображения, в основном это были черно-белые фотографии. Я повернулся на другой бок, намереваясь смыть с себя выкрики буйной толпы, что копились у меня под самой кожей головы, но они перекатились, перестраиваясь теперь уже из месива в аккуратные экспансивные легионы наговоров. Я не мог всего охватить своим внутренним оком, как много было здесь спиритуализированной суеты. Да и сама суета была здесь неизобразима и колченога. Поработившись в единстве, друг за другом гонялись полнокровные бугры лиц, посыпанные неискренним смехом; колоссальные фигуры, склеенные из материала, имеющего взаимоисключающие физические свойства, упали бог весть откуда на некую иллюзионистическую плоскость, вконец успокаиваясь на ней после недолгого, но трепетного биения не основаниями, но, напротив, то ребрами, то остры-

ми углами. Люди, повозки, дома, книжные страницы, чьи-то отдаленные телодвижения, оттенки вечернего неба, самостоятельные слова двигались здесь точно на даровитом полотне маньеристского толка. Каждый предмет в этом непредвосхитимом пространстве, даже и не будучи предметом, вел себя так, словно центр масс бесновался где-то вне его. Телодвижения бодрствовали скелетом наружу, слова — ударами вне их. Всюду теснились какие-то застывшие клочья морской пены, смешанной с кровью. Подобно губкам, они впитывали или же, напротив, будучи кульками трещин, источали ничто и нечто, вздымавшееся круто, отвесно. Явное нарушение гармонии виделось во всем, будь то цвет или оттенок, мысль или умысел, или же созерцательное нагромождение интонаций. Иконографическая удлинненность, сдобренная резкими контрастами, категорически отказывалась усвоить мои успокоительные приказы, обретая динамическую интенсифицированность форм и волений, доходящих до какой-то уже скрупулезной структурной истерии. Я двигался. Я двигался, будто одинокий аллергент, на видения с покрывалом обмана на очах, а Евгений и Серж срослись в единое тело из одних только торсов, рук и голов и катались по алгебраическим уравнениям, моим воспоминаниям и тем случаям, когда мне приходилось, блаженно свивая руки, говорить «спасибо». Заспиртованный уродец, исторгающий приторный выдержанный мертворожденный взгляд, погонял гигантской бесцветной роговицей глаза стадо слепых мраморных верблюдов, везущих на горбах в золоченых клетках мои положительные эмоции. Месяц, вдруг отуманенный пастеризованным экстрактом какого-то административного мракобесия, испытанного мною в конторе, исторг из своего галлюциногенного чрева, заполненного опаленным желтым изоляционным материалом, не выпускающим наружу мой подкожный холод, сатиновые нарукавники, какими я имел обыкновение пользоваться, и бросил их прочь так, точно это были мешки, наполненные балластным песком. И месяц, сделавшись вмиг

много легче, возмужало бросился вверх, высиротив островок неба, убранного лепными одинаковыми звездами. Я воззрился вниз и увидел, что к подошвам моим прилипли телеграфные строчки с выбитыми на них проклятиями, что я повременил выпустить на свободную охоту, дабы отомстить за лукавые превосходительные мнения. Я как-то улыбнулся, но щеки мои, словно неумно намазанные засохшей глиной, истрескались, и я ничуть не изумился бы, узрев свою окаянную улыбку, загнанную под декоративную сень пронзительного лица Иоанна Соблазнителя. Я чувствовал себя невесомым, но, цепenea от собственной пространственной неприкаянности, все более и более вминался в ложе. Моя внутренняя направленность постепенно разбрелась по всему объемно пламенеющему телу и забила даже в корневища волос, набивая их психоделической суспензией пластического ожога. И вот скромный водораздел между интровертированностью и экстравертированностью, каковым являлась моя кожа с мизерными инкрустациями голубеющих глаз и медоточной язвой пухлогубого рта, перекатывающегося поверх кипельно белых ступеней зубов, исчез, и я смешался с пространством, а то, едва заглянув ко мне внутрь, сотворило бескомпромиссную вивисекцию и растворило мои элементы в клочках той некондиционной фантазмагии, бичуемым названием которой я и сделался.

Это были

Страсти по Габриэлю.

По скользкой нелепости, которую трудно было бы назвать магическим знаком, я услышал в углу моей комнаты мышь, кропотливо жонглирующую шорохом. Впоследствии она и была идентифицирована в моем мозгу как мышь и ничто больше, но тогда мой рассудок, сдавленный сгустками бордовых сумерек, а пуще оных разнузданным нервическим возбуждением, конвульсивно преисполнился вдруг способности несуразно нарушать тождественное, и потому мышь, раболепствовавшая тишиной каждому самочинному звуку,

точно по аномальной подсказке дисциплинированного чуда, преобразовалась в увесистого цепкого кота, злонравно прыгнувшего мне на грудь. Я изловчился что было мочи, гонимый нешуточным страхом, порожденным всем виденческим антуражем и моментальной, почти неисправимой быстротечностью его, и впился руками в то место, где мне мерещилась шея окаянного зверя...

То был пик моего мракобесия. До этого я еще умудрялся контролировать себя, повинуюсь своему косоротому любопытству. Я блуждал в эфемерном вареве этого СОСТОЯНИЯ, вдыхая его шикарный галлюциногенный гомон, утопая в его наборном тумане, готовый вот-вот сгруппироваться и выпрыгнуть прочь из этого изнеможительно ненаглядного, но запретного горнила. Я уповал на волшебную составляющую своей воли, но ошибся, ибо самый предмет воления был мне непривычен. И только теперь, всматриваясь в мелкого домашнего хищника, понял, что бежать уже поздно, если только из этого состояния вообще спасаются столь мирским способом, а не как-то иначе.

Дальше.

Дальше я уже не был пришельцем в этом пространстве: я ощущал себя обетованной частью его. И то, что открылось мне, не поддавалось ни словесному, ни зримому образу, настолько нищими и кустарными оказывались привычные инструментарии людского сознания. Это выкристаллизовалось отдельной самостью и прошло сквозь меня, наделив каждую частицу меня новым, дотоле неведомым свойством.

Трактат о мультипликационном человеке, или Технология личностной устойчивости

В этот день Человек играл. Играл, впрочем, как и каждый день, хотя ему, наверно, было обременительно быть слишком уж молодым, да и не было особой необходимости быть чрезвычайно старым. И что самое любопытное — никто при всем

своем тщании не сумел бы сыскать вещных следов этой игры. Человек унаследовал эту игру от себя, точнее, от того своего празднолюбивого состояния, которое по причине сказочных недомолвок самому себе Он называл Детством. На самом же деле то был всего лишь заурядный переходный этап, характеризующий перебазирование из одной оболочки в иную. Так, лелеясь игрой, Он умирал и нарождался вновь, не переставая, однако, при этом быть Человеком. Ему чудилось, что, нанизывая на Себя прошедшее время, в нем умирает нечто достославно чудесное, иррациональное и восторженно наивное, и что с каждым новым мгновением его прошлое становится неравным самому себе, местами отмирая, местами видоизменяясь. Окружающая его удобовпечатлительная жизнь, как ему мнилось все время, стремилась к чему-то новому, но тем менее пребывала в неизменности. Так продолжалось очень долго, и Человек, изрядно приобвыкнув, успел приспособиться. Точнее, ему и не приходилось приспособливаться, ибо существо окружавшей его действительности вытекало из самого сокровенного средостения его собственного существа.

По деспот нетерпимости к однообразию умудрился взять верх, и Человек добился, наконец, того, чего так страстно желал во всех своих грезах: мир, сотканный из мириад калейдоскопических светопредставлений, будто громоздкий валун, утерев невозмущаемую гордыню равновесия на вершине, предался вдруг суетному низкопоклонству, ища каменного упокоения осклизлых нечестивых низинах. Гигантский валун, сплотив все свое первоединство, нёсся по склону, обезвреживая глупорожденной болью все раздавливаемое на своем пути, и Человек узрел, наконец, во что же обратился некогда константный, сонноколеблющийся в своей бесприемной идиллии мир. Обильные взнуздывания к переменам сотворили феерическую какофонию. Отныне действительность мира была более колоритна и менее надмирна. Человек всегда играл в детстве, сколько он себя помнил. Игра была необходима ему как воздух, возможно, и более того. Чело-

век, будучи ребенком, всегда играл во взрослых, он играл в ту жизнь, которая должна была подстергать его и которой он страстно желал. Он играл в жизнь для того, чтобы постепенно, играя в нее, научиться ей. Таким образом, игра постепенно переходила в генеральную репетицию, ну а та не замедляла постепенно преобразаться в красочно декорированное представление, на которое по очереди впускали зрителей, и представление это всегда было премьерой. Жизнь сама научала себе вступающего в нее Человека. Так, мальчик всегда играл в воина, дабы затем стать защитником очага; девочка всегда играла мать, дабы затем сделаться таковою реально; и, для того чтобы достойно приспособиться к тому или иному уровню сложности жизни, потребен был тот или иной стаж игры определенной степени сложности. Человек гнал прямоходящее время вперед, с трудом поспевая за ним, и уровень сложности жизни поднимался все выше и выше. И вслед за ним, будто привязанные, тянулись и игры. Непомерно усложняясь, они возрастали числом и отнимали все больше времени, настигая зрелые годы, а порою и старость, причудливо трансформируясь в хобби или призвания, неустанно пожирая силы, воображение, поработавшая все лоно мудрости одной лишь всемогущей игрой. Игра есть нестабильность, отражающая переходный процесс одной жизни к другой через детство. Игра — это полноправный символ детства. Человек всегда сам подразумевал, что взрослое его состояние является установившимся основным режимом его жизни и потому единственно правильным. От нестабильности детства Человек перебирался к началам стабилизированного участка жизни — сплоченной взрослости, которой ошибочно приписывались все триумфы и шабаши пороков, щедроты и лихоимные стяжательства, защиты и гадкие посягновения.

Но жизнь, подстрекаемая к баснословному изменению, наконец, поддалась, но не всюду, а лишь фрагментарно нарушая свое правильнотечение, образуя всеохватывающие ножницы между непомерно ранней искушенностью в одних

вопросах и непростительной, контрастно опровергающей все оптимистические чаяния человека, наивной несмысленностью в иных. Поле игры стало иллюзионистически растягиваться, прорываться аллергентными зияниями, сбираться в двурушнические складки, все более теряя эстетическую безболезненную созерцабельность. Не было больше привычного членения на саван зла и плащаницу добра; тьмы разнокожих иноплеменных начал рядились под эти две простенькие маски, кромсая с переменным успехом по-прежнему восприимчивые страстотерпеливые, заплатанные крохами нехитрых утех, разнузданные души. Человек перестал различать границы игры и жизни, игра перестала быть сказочной, странноприимной пропедевтикой жизни. И чем убийственней становились поступки взрослого Человека, тем проще и безгорестней становились шуточные, насерьзенные мишурным негодованием волеизъявления младенца. Не разучившись играть и не приобретя истинного вкуса к зрелой установившейся жизни, Человек продолжал играть окончившиеся по контракту представления, скупое надеясь пожать сосредоточенные россыпи недослушанных оваций. Он играл и играл. Его сапожок с нордическим упрямством заставлял гибнуть десятки оловянных когорт, втирая их оловянную кровь и драгоценный рисунчатый ковер. Проходило немногим более одного-двух десятков лет, и детская комната превращалась во всамделишное поле узаконенных смертоубийств. Но сомлевший от осязания бойни глаз некогда мелкого беса крепчал, распираемый блеском пожарищ, играющих красками в огнетерпеливом лоне покладливо всеядного зрачка. Голос, срываясь рваным фальцетом, разил острее клинка, ибо Человек, смекнув, как убивать, не разобрался еще в том, что значит отнятие не им даденной жизни. В его глазах не было крови и предсмертного храпа кровоточащих лоскутьев искромсанных тел. В его глазах ровно и методично падали негнущиеся оловянные истуканы. Человек гнал свою картинную страсть, то седлая ее, то рабствуя ей. Он играл в похоть,

называя это тактом высшей любви. Он играл в работу, семью, долг, в слова и цифры. Он амбициозно играл в государственность, так остро воспринимая мифическое бумажное изменение невидимых границ, как будто это было его собственное тело, вдруг усекаемое. Он возвеселялся всякий раз, когда игра натягивалась на жизнь. Вскоре, однако, ее каркас начал ветшать. Но Человек не замечал этого, безраздельно находясь во власти игры.

Человек всегда играл на виду у своих Богов, постоянно меняя их количеством и лицом, беспрестанно переселяя их с места на место. Ибо ему мнилось, что грехи его прошлого уходят вместе с отвергаемыми Богами, которым он некогда возносил роскошные духовно-иллюстративные молитвы и съедобных жертвенных животных. Скуки ради, однажды дойдя до крайней степени лакомого буйства, Человек разрушил все препоны, стараясь, наконец, дотянуться до своих интенциональных идолов. Но, чрезмерно приблизив их к себе, Человек-приключенец отдалился от них. И тогда, не умея тужить, он научился разрушать могилы и обычаи предков. Он подрабатывал, утилитарной трагедийностью латая все узости духа. Пронырливо святотатствуя, он покрывал долги иных святотатств. Человек оказывал неповиновение самому себе, не находя себе места в поисках неизбывной жажды. Он не верил в чудо, но ждал его.

Познавая жизнь, Человек искал окрест себя то, что приносит ему боль от того, чтобы затем безотлагательно избегнуть этого. Именно затем он и играл, ибо игра — это единственное состояние, неспособное причинять реальную боль. Всякий раз, играя или приближаясь к игре, Человек находился в своем особом, приворожительно вымышленном, но вполне серьезном обезболенном пространстве смещенных акцентов. Игра именно тем и отличается от жизни, что в ней нет невозможного. Таким образом, изначальная игра, обособляясь, оговариваясь, ограничиваясь, насыщаясь болевыми реакциями, в общем и целом переакцентируясь с

довлеющей всевозможности на открытую невозможность, обретая устойчивый смысл, отличный от игровой, непокорной цели, обретая нравственную окраску в совокупности с пространственно-временной привязанностью, становится жизнью. Играя, Человек всегда находился в своем безызыянном пространстве, обнесенном чудодейственной изгородью неуязвимости. Больше всего Человек был склонен страдать от того, что в окружающей его жизни право расстановки акцентов принадлежало не ему, а неведомой, лишь гадательно мыслимой силе, к которой он беспрестанно чаял быть сопричастным. Пространство же, поедающее без остатка его душу в процессе игры, было под стать лишь этой всемогущей силе, указующей Человеку, где есть всамделишная страсть, а где — самобытное бесстрашие; что есть истинное неვნемное зло и где же мягкотелая послушная добродетель; где необходимо жертвовать безраздумно и где начинается право, по которому эту жертву можно взимать. В этом пространстве, ювелирно вживленном психикой человека в вещественный мир, точно по сказочному мановению всемогущей десницы, налагалась легкая неизгонимая вседозволенность. Фатальный символ неисполнимости заветных желаний отсутствовал вовсе.

В этом пространстве, которое, увы, нельзя измерить ни одним существующим прибором, но которое ведомо каждому Человеку, не бывает шквалов горестей и напастей, не существует помрачительной разницы между «мочь» и «хотеть», где обыкновенный ушиб или психический дискомфорт есть одна из наиболее немыслимых абстрактных и непостоянных категорий, не имеющих под собою ни почвы, ни опустошительных аналогий. В этом пространстве игры мальчик, будучи воином или военачальником, мог играть бесконечно, бывая убит лишь понарошку даже для самого себя или изобретая многочисленные тяготы вымышленно неприятных походов, разжигая в себе упоение, с которым, будучи храбрым и всевидящим полководцем, он не уставал одерживать викторию за викторией, ибо в этом пространстве игры не бывает по-

ражений, так как победитель и побежденный всегда есть порождение одного и того же ума. Девочка, макетируя семью, в которой является матерью и хозяйкой, напускает на себя многочисленные трудности как объективного, так и субъективного характера, добровольно приговаривая себя ко всем околичностям упорно копируемой ею судьбы, тем не менее знает, что ее игрушечная семья крепче и счастливее семьи ее матери. В этом пространстве Человек по жизненно приговаривает себя к неискоренимому успеху и ни на секунду не перестает потешаться и радоваться ему, ибо акцент усталости так же диаметрально смещен на священнотрезвенную безустанность.

Мы назовем это пространство игры, в коем и осуществляется целебная переакцентация на все предметы, понятия, нравственные и эстетические ценности мира и где мир воспринимается с самой лучшей его заздравной и безболезненной стороны,— мультипликационным пространством, а самою игру — мультипликацией.

Мультипликация всегда была свойственна Человеку, ибо одни и те же явления он часто приписывал различным свойствам. Он обращался к ней, обуруемый поэтическим вдохновением, он раболепствовал перед нею, смиреннотрепетно верша свой религиозный ритуал, упоительно сотворяя очередной экзальтированный миф или изумительное сказание.

Весь мир заключен в представлении Человека, и именно представление мира делает человека Человеком. Мир изменялся медленно, боязливо совершая каждый новый шаг, точно боясь и стесняясь расплаты за опустошительное изменение. Человек усердственно переиначивал все не им созданное, не умея провидеть помрачительную губительность своих предприятий. Он разнуздался, вконец загнав свое надменное поспешание, и осознал, сколь умудрился создать не должного. Человек изменял мир, втайне надеясь быть непричастным к нему, но тот зацепил эфемерного царя природы багром судьбичности. Человек рос и мужал, спесиво топча

мизерный глиняный шарик, играя с ним, точно с пустотелым податливым мячом. Но чем меньше был Человек, тем меньше воздействовал он на свое сокровенное обиталище. Сравнявшись с ним в масштабах могущества, он ощутил на себе влияние изменений, состряпанных им же, становясь все значительнее и мало-помалу перерастая свой дом. Меньшее теперь уже воздействие на мир выливалось в большее неподчинение мира воле и представлению Человека. Отныне чем больше будет Человек, тем хуже ему будет приходиться. Маленький Человек справляется с пустячными своими проблемами на маленькой же Земле. Но, став значительнее, он обрел нешуточные трудности, с которыми, разумеется, справился бы, плодя новые. Но вот Земля, не ставшая больше, отказывалась по причине округлой мягкотелости быть ареной его крепчающих страстей. Чем /больше становился Человек, тем больше уходила неказистая Земля у него из-под ног.

Человек повиновался прежней своей морали, своему привычному маршеобразному взгляду на мир, осознанию самого себя. Он любил и не погнушался любовью, ненавидел и был ненавидим, творил и трудился, властвовал и рабствовал, рождался и умирал по одной, раз и навсегда усвоенной схеме, неописуемо изменяя лишь атрибуты и плюмаж ритуалов в угоду капризам непоседливой моды. Сравнившись с Землею в могуществе, Человек по инерции еще жил по старинке, задумчиво проглядев тот безутешный момент, когда чаши самых главных весов вольноотпущенно уравнились. Став величественнее, Человек вдруг узрел, что все его классические представления о мире и о себе, о душе и воле вдруг отслоились от своих деланных оснований и растеклись между пальцев, не являя более непоколебимого дуалистического убранства мира. Человек вдруг увидел, что ему стало мало просто добра и зла, просто прекрасного и безобразного, ибо он вырос из этих понятий, усвоив их наравне с приговоренными к забвению детскими забавами. Человек неистово мчался по рельсам, но те вдруг разошлись, и ширина колеи впервые

явила ему весь чистилищный ужас безбрежности. Человек, оторопев, бросился на одну из этих рельс, жеманно удушая себя и все окружающее стыдобой своей жертвеннической благодетели, и тогда двуногое существо «Человек» не сумело бежать обеими ногами по тончайшей невидимой линии добра, и Человек упал со своей добродетели, больно при этом ушибившись. Он бросился затем на ту линию, ограничивающую путь, что называлась злом, опьянившись им. Человек злосчастно крикнул: «Бог умер!» — и тотчас упал, оставив даже зло выше себя, больно при этом ушибившись.

Но Человек не умел стоять на месте, ибо это было гораздо большее любых падений.

И тогда...

Человек стал Мультипликационным Человеком, так как он понял, что его устаревшие чувствилища не вынесут новых многосложных нагрузок, если он сознательно не обезболит те болевые ситуации, что приносили ему принципиальное страдание. Человек подчинил все свои чувства разуму. Он не уничтожил то иррациональное начало, что привнесено в каждую логически устроенную разветвленную систему. Просто теперь он не давал иррациональному действовать, а позволял лишь функционировать в угоду всевозрастающему рациональному, ибо очень скоро, едва Человека сковал недуг взбунтовавшихся чувств, он понял, что все иррациональное — это неосознанное рациональное. Он выхолостил все свои прежние подлинные страсти, продолжая проигрывать их, но не позволял им ранить себя как прежде. Он сделал свои чувства безобиднее и безопаснее тем, что сумел детальнее вникнуть в них, вживляясь всей сутью, но не переживая их во всей испепеляющей губительной полноте. Он поместил себя в состояние неадекватного эмоционального Восприятия действительности за счет ужесточения адекватного информативного и логического восприятия мира. Таким образом, все нестабильное в Человеке стало неотъемлемой частью стабильного. Причем отныне первое вредоносно не расша-

тивало последнее, но, напротив, неустанно подкрепляло его. Теперь Человек не брался обнаженной рукой за раскаленный металл всеобъемлющего зла, что норовило припасть к нему каленым поцелуем ужаса: он надевал на руку перчатку, зная, что мир горяч, имея благоприятное представление о конкретной по температуре, не обжигаясь более. Лишившись подлинных страстей, Человек выбрался, наконец, из тесной удушьяющей кожеры воспалительных понятий добра и зла как двух интимных абсолютов, перебравшись под сень мобильного инженерного оптимума поведения. Мультипликационный Человек утратил ощущение собственной боли, увеличив представление о ней самой, ее истоках и последствиях. Она перестала быть для него голосом оставаясь чем-то уже наподобие благосклонно звучащего эха. С утраченной болью убрались вон и все разновидности обиды как одного из самых ненужных инертных, по сути мультипликационных, но с отрицательно смещенными акцентами занятий. Таким образом Человек изжил месть, сохранив лишь необходимое теперь уже более интенсифицированное противодействие. То, что раньше было злобой, козностью, инертностью самодурством, мстительностью, то есть было мультипликационно иррациональным и отрицательным, теперь, переакцентируясь, добавляло энергию рациональному и положительному, каковым является оптимистический взгляд на мир, взгляд, исполненный энергичного волюнтаризма. Оптимизм без обратной связи, не упдающим ниже определенного жизненно необходимого уровня, ни зависящий, кроме того, от ситуации, обезболенной сознанием Человека, теперь давал очистительный эффект двойных розовых очков. Человек накликал на себя благодать, ибо уже не мог иначе. Отныне оптимизм источаемый основополагающей твердыней духа, являющейся теперь управляемой трансценденцией как экстравертированно, так и интровертированно, искоренил взбалмошное властолюбивое понятие неуспеха, равно как у понятие трагедии, даже если героем оной и являлся сам Человек.

Как бы ни менялась фактура бытия вокруг Человека, распуская ли бутоны кульминаций счастья или его человеко-размерных заменителей, наставляя на путь творческого подвижничества либо страдая пороками, -Человек отныне всем своим существом не вторил ухищрениям жизни, не повторял течением мыслей и вероятием заученных поступков обстоятельства. Он сохранял отныне стабильность в среде и внутри себя за счет неверной целительной, аргументированно-вымышленной акцентации объектов внешнего и внутреннего мира. Видимое и осознаваемое отныне было связано посредством воли и разума. Мультипликационный Человек воззрелся внутрь себя, и все простейшие, однозначные связи внешнего мира, выведенные напрямую на его чувства, беспощадно разорвал, заменив их более сложными, подвижными и изолированными внутри себя. Человек понял однажды, что подлинного счастья нет и именно поэтому к нему нужно стремиться. Раньше он смотрел на злокозненности мира, противопоставляя им свою боль — единственный красноречивый язык морали и совести — боль всегда вырастала откуда-то из середины между непосредственно видимым и понимаемым. И когда боль становилась сильнее ощущения морали, Человек конвульсивно бросался тушить ее помазанием рассудка. Но та была посередине, и поэтому с нею особенно трудно было бороться, а этой серединой было все пламенеющее человеческое существо. И чем сложнее была эта болевая ситуация, тем более простое объяснение обычно устраивало Человека. Ныне же, обретя инженерный, динамичный оптимизм поведения за счет предупредительного выкорчевывания чувств из окружающего мира, Человек воззрелся на мир не буйным взглядом ревнителя гуманизма, но взором холодного деятельного мечтателя, ведающего отныне, что вся некогда губительная сила чувств теперь будет расходоваться рассудком для создания живительных комфортных условий внутри индивида. Нарушение, видоизменение и усложнение связей повело за собой неоднозначное, переменное соединение вины и кары за нее. Человек осознал, что в разные мгновенья

он вправе за одни и те же провинности требовать различные компенсации наказаниями.

Девальвируя добро и зло как понятия нравственности и повысив их суверенитет как объектов точных расчетов, Человек пересмотрел свое отношение к собственным силам и слабостям, отныне став Мультипликационным Человеком. Он не стремился быть всегда однозначно сильнее во что бы то ни стало. Теперь, для того чтобы быть сильнее, Человек не стремился захоронить свою слабость. Напротив, в иные моменты он позволял ей главенствовать в малом и незначительном. Ранее Человек старался встать выше своей слабости, не вникая в суть ее. Ныне же, осознав истоки и важность ее ювелирно плетеных проказ в общем ансамбле причин и следствий, он старался вырабатывать накапливающееся количество тех или иных слабостей на временных участках затишья. Он вырабатывал слабость, точно пласт пустой породы, одинаково заботясь о будущем и прошлом, соблюдая пропорциональный баланс слабости и силы на каждом участке с таким расчетом, чтобы тиранимая силой зловредная слабость в принципиально важные моменты не вышла из-под контроля и не взяла свое, когда это недопустимо в интересах личности. Мультипликационный Человек также не искоренил и непознанное изникшее зло. Он управлял им с таким расчетом, чтобы зло, им причиняемое, было возможно меньшим. Поняв, что есть слабость и есть черновая страсть, а также их значимость, в логическом определении и контрастном сопоставлении, Человек пересмотрел свое отношение к сильным и слабым. Он по-прежнему ал я успокоения презирал слабых, ибо, для того чтобы сделаться сильнее, достаточно насмотреться на чужую преуспевающую слабость. Но если кто-то становился неодолимо сильнее всех, это значит, что защитить его мог лишь самый слабый, низлетевший духом, ибо это была плата последнего за лестное презрение.

Мультипликационный Человек, став кузнецом своего экспроприированного счастья или того, что он подразумевал под

этим понятием, не мыслил его себе как первопрестольный абсолют, но знал, что и счастье, сколь ни было бы оно велико и желанно, не должно превосходить заданные человекосоразмерные пределы. Ибо если индивид не справился со своим неуправляемым счастьем, то оно причинит ему впоследствии неизъяснимые страдания. То же самое касается и лишения бедам, и одинаково лишают нормального функционирования как переизбыток добра, так и переизбыток зла. Все должно равноудачно помещаться в человеке без изъятия, и даже царственная мечта.

Однако, выкорчевывая свои чувства из внешней среды и безраздельно присваивая их себе, Человек не становился машиной, лишенной возвеличивающего чувственного восприятия. Приемля эмоцию, он переживал ее во всем качественном многообразии, не впуская в хитроумные ранимые заводи чувственных лабиринтов во всей количественной беспощадности. Он получал детальнейшую информацию об эмоциональной стороне бытия посредством внутреннего сознательно-волевого центра, управляющего чувствилищами, но не подвергая себя ее разрушающему воздействию. И те Духовные силы, что ранее затрачивались на борьбу с драматизмом жизненной ситуации, по существу Человеком же и порожденной, отныне без колебаний и борьбы препровождались на приумножение человеческой самости. Ища спасения, Человек не бежит наружу, он, напротив, сжимается вовнутрь, но обетованная внутренность эта тотально безгранична.

Своесчастливо разрешив вышеупомянутое очистительное благорасположение по отношению к самому себе, Мультипликационный Человек был на йоту от каверзы. Не столько омерзителен Человек, не способный занять свой разум, сколько Человек, не умеющий занять свои чувства, изобретающий себе несуществующие извращенные страстишки, питающий свой нравственно-эстетический инстинкт подножным кормом отвратительных сплетен.

Заполучая баснословное богатство, необходимо первоочередно изыскать ему целесообразное или хотя бы изысканное приложение, равное потребностям, а пуще оных — фантазии владельца. Точно так же, стремясь овладеть чувствами, нужно прежде всего помышлять о том, как справиться с ними собой, едва они лишь из могущих быть подкрадутся к нам вживе, безуданно обязывая вкушать себя в ценной круговерти эмоциональных спазмов.

Именно здесь впервые Человек ощущает на себе благотворное дезинфицирующее воздействие мультипликационной игры, суть которой заключается в том, что всячески перерастает рамки забавы или хобби, асимптотически стремясь к смыслу жизни, оставаясь тем не менее игрой. Не работа делает человека Человеком, но пристрастие, забава, увлечение, каприз. Эта мультипликационная игра есть ипостась духовной универсализации, не оставляющая пустотелым ни один объем воображения, напротив, подстрекаемого к интенциональному наступлению, находящая воспитательное применение каждому экстремуму разнообразия личности. Мультипликационная игра суть апология индивидуальности. Игра же эта есть игра в несбыточность. Она не ищет гадательно утилитарно применения целеполагающей части сознания. Она стимулятор нравственности, ибо, приближаясь к своей мечте, своему нравственному абсолюту, Человек обязан помнить, что светозарный идеал, осуществляясь, способен убить алчущего его. Приближаясь всем своим совершенствуемым бытием к идее, необходимо отталкивать от себя, также совершенствуя, то есть идеализируя. Основная цель идеи — несбыточность. Но именно из-за этого к ней и нужно стремиться, ибо в самой недостижимости и кроется та порфиородная чистота, что составляет незыблемую основу всех святых основоначал жизни.

Если Человеку не удастся вещественный мир — это значит, что его участь заключается в его мыслях. Поддавшийся мир есть свидетельство умыслов.

Мультипликационный Человек есть, следовательно, в большей степени философ, так как он не просто имеет мысль, но любит ее во всей призрачной мистической чистоте.

Идея, гонимая Человеком и служащая ориентиром-оправдателем, подобна Богу, сколько бы ни искал его Человек, сию минуту узреть воочию или обнаружить научные доказательства его существования, всякий раз приближаясь к научному обоснованию его материальной самости. Обоснование это будет непреодолимо рушиться, а за ним будет пленительно брезжить новое, более заманчивое, предназначенное единственно для того, чтобы затем вновь обрести свою физическую несостоятельность, и так без конца. Всякий раз Человек будет упоительно приближаться к Богу безымянным человеческим знанием, а тот будет отступать от знания, оставляя обширное место вере и безверию. Бог есть потому, что его нет. Если же он даст Человеку возможность узреть или нащупать себя, это будет означать, что его уже нет. Но он невидим, непостижим, безбрежен, вездесущ, и потому он есть.

Мультипликационный Человек, обуздав компромисс поры и знания, не развивает одно из них в ущерб другому, но совершенствует их параллельно. Таким образом, являясь существом более высокого уровня организации, он, случайно сталкиваясь с версией Бога как искусственного интеллекта, не перестает от этого верить в него как во всемогущего Бога. Каждый прежде всего является носителем и обладателем своего предназначения, а уж затем устройства.

Мультипликационизм — это дальнейшее развитие инженерного персонализма. Это своего рода деятельное, оперативное техническое обеспечение, еще один набор средств, еще один инструментарий для защиты личностью своей сокровенной единичности.

Существование Мультипликационного Человека хотя бы без одной отрасли личностной универсализации, то есть мультипликационного пространства, в кое и вершится психологически заздравная игра — мультипликация, невозмож-

но. Мультипликационный Человек знает цель, для которой он играет в своем внутреннем пространстве, для которой живет и борется в одиночку. Это необходимо в связи с тем, что бесцельная мультипликация невозможна. Она быстро рассыплется, ибо должна быть подчинена одному генеральному направлению, выбранному личностью.

Мультипликация — это борьба со смыслом жизни это противопоставление извечно больному вопросу: «Зачем я живу?» — богатства фантазии, чистоты помыслов и воле- ний, полезных дел, впечатлений, воспоминаний, интерес- ных игр и забав. Причем противопоставление не стихийное, а осознанно-структурированное. Для этого по достижении того или иного события во внутренней или внешней жизни Мультипликационный Человек должен возможно чаще обра- щаться к себе с наставлениями, напутствиями. Он должен фиксировать каждое событие во всей его, пусть даже и вы- мышленной, игровой полноте. Он должен оправдывать перед самим собой все то время, прошедшее от предпоследнего со- бытия до последнего, которое оказалось потребным именно для достижения и формирования нового явления, необходи- мого для духов ной занятости.

Мультипликационный Человек должен как можно чаще вспоминать самого себя, так как экстравертированность на самом деле помогает не столько забыть себя, сколько забыть себя.

Мультипликация — это пластическая операция на вну- треннем облике, на памяти, на нравственности, на желаниях, иногда даже и протезирование, если вдруг соответствующая способность души оказалась безвременно утерянной.

Мультипликация — это технология красивого и умно- го самообмана для повышения устойчивости личности, для увеличения ее активности. Если экзистенциализм видит мужество в признании ситуации и считает это гуманизмом, то мультипликационизм видит мужество в непризнании ситуа- ции и усматривает в том гуманизм.

Мультипликационный Человек знает: для того чтобы быть Человеком, где-то там, внутри, в одном из своих неведомых, эфемерных игровых пространств, лучше всего быть человеком. Мультипликация — это не просто трансценденция. Это детализированная красивая мечта, основная цель которой — несбыточность. Причем мечта не застывшая, но, напротив, живущая и функционирующая по своим собственным, эстетическим и философским законам. Одним словом — это не цель, а средство, и средство без начала и конца. Однако способность играть в несбыточность для человеческой души не есть признак болезни, а скорее признак здоровья, ибо, мечтая по воздушному замку, Человек стоит неизмеримо ближе к Богу, нежели мечтая по замку земному.

В этот день Человек играл. Играл, впрочем, как и каждый день... Если же ему становилось особенно неважно, он надеялся весь эфир, простирающийся над его опасливой головой, нелюдимыми диковинными атрибутами пристанища высшего Духа, которому отдавал все лучшее из того, чем обладал сам, эстолько чужими и стерильными казались ему его же упрямые добродетели. Человек отнимал у себя Настоящее, чтобы вкрадчиво пообещать себе Будущее. Если же вслух раздавались сомнения, он бережно отламывал от Будущего частичку и называл его Прошлым. Для того же, чтоб облегчить свое существование, он нагружал себя новым Небом.

Человек громоздил одно Небо на другое, не забывая насыщать каждое амальгамами запретов для себя же. Но ему хотелось, чтобы новая ноша была много краше предыдущей, и тогда он терпеливо! принимался разрисовывать небо новыми верованиями, стремясь во что бы то ни стало сделать его более самородно небесным. Он не жалел красок, добывая их из филигранных жизнечувствительных соблазнов.

Однажды, проходя мимо себя, он спросил:

— Что вы делаете в такой неудобной позе?

— Ищу Бога,— был ему неподдельный ответ.

Далее Это, точно заведомый клеветник, стало тускнеть, умозрительно расплываться. Субстанция новопомазанного вероучения, переставая быть мыслимой и оттого теряя свой единственный способ бытия, бежала меня, и тогда мне проще всего было обвинить свои аффектопосные очи в близорукости, а не мотствующий рассудок — в недостаточном поспешании за первородною мыслью, что была инаковой как мне чудилось, по отношению ко всем моим куцым духовным причастиям.

Я встал со своего скромного ложа, чувствуя кровожадное покаявание в области интеллектуальной совести. В остальном же я не чувствовал ровным счетом ничего новопридуманного, разве лишь в той части души моей, что отвечала за некоторый комплекс моральных обязательств по отношению к себе окружающим, я вдруг явственно ощутил почти физическое облегчение, словно большая часть их оказалась усеченной и изъятой из моего облегченного средостения.

Я сделал несколько пробных веерообразных шагов: облегчение сказалось более явственным обрати. Периферийным зрением я уловил, что движения мои были похожи на нарисованные, мультипликационные. Комната вмиг перестала внушать мне страдания своей островерхой занебесной усеченностью. Неприятный осадок, вызванный моей злодействующей неприкаянностью в селении X, испарился, а с лицом моим вдруг сделалась заколдованно-орнаментированная улыбка, столь же легковесная, как и сценическая любовь волюкой инженеру.

Я усидчиво пел с закрытым ртом, стоя точно посередине комнаты. Жалкая пригорошня экстрапространства, что помещалась в ней, не в силах была обнять бравурную дрожь моего тела. Разбив языком один из аккордов, я вытащил из внутреннего кармана своего добротного черного сюртука бумажник из крокодиловой кожи, где в отдельном кармашке мною бережно сохранялись две фотографии. На одной из

них был запечатлен портрет Серена Кьеркегора, проникновенно нареченного «рыцарем субъективности»; на второй же не было ровным счетом ничего, кроме маленькой надписи «Макс Штирнер», ибо, как известно, прихотливая судьбичность этого необыкновенного человека не позаботилась оставить хоть одно его достоверное изображение. Штирнера называли «апостолом эгоизма», и я не раз вглядывался в пустотелый лоскут проявленной фотографической бумаги, изрядно пожелтевший от моих сосредоточенных строптивых взглядов, стремясь провидческим оком ухватить очертания невидимого лба гимназического учителя благородных девиц, возмнившего себя центром мироздания. Иногда мне чудилось, что я видел лицо этого дерзкого немца, и тогда я не мог оторваться от пустой фотографии. А изображение датского теолога, превратившего Копенгаген в сущий Вифлеем экзистенциализма, доставляло мне не меньше сверхчувствительного удовольствия, ибо я ощущал непреодолимое родство душ с этими двумя великими гипербореями, точно их чистые неутомимые души теперь угнездились в фантастическом альянса под моею расхристианной оболочкой.

Оптимизм мой, подогретый созерцанием изображений двух величайших пессимистов, а также моей личной внутренней направленностью, ниспосланной мне баснословным даром Всевышнего, напоял меня исполинской волей в колдовском обрамлении интеллекта.

Волшебный побег в экзальтированный чертог юродствующей истины поверг меня в состояние, не отвечающее за полноту и своевременность болевых реакций, но стимулирующее сумасбродство моторных центров. Одним словом, я собирался на службу. Глумясь и надругаясь над всеми реалиями бытия, я гладко выбрился, надел чистое «смертное белье» и облачился самым диковинным, вызывающим образом однако не без изящества и с соблюдением собственного мультипликационного достоинства. Гибкие щупальца фантазии проштудировали каждый элемент туалета, сочтя его в целом

эгоистически пригодным для поддержания моей волшебной самости на должном уровне. Они оценили всю композицию, включая манеру поведения, мимику, жестикуляцию, и учредили, что вся компоновка боеспособна.

Я бросился в улицу, будто в сосуд с царским шербетом, благословляя всю расточительную сладость бытия.

§ 11

Моя резиновая буйнонравная походка всполошила полуденный воздух, почти пастеризованный меланхолическими массированиями солнца. Мне навстречу случилась своечастливая дама под руку с роскошной девушкой, видимо, падчерицей. Так сказала мне моя интуиция, не допустившая в этот миг ближайшую степень родства. Я слегка поразился дельности, с которой Господь соединил все достоинства сладостного девичьего тела под одною лишь парюю голубых чарующе дичащихся глаз. Только сейчас я осознал, сколь долго жил я вдали от положительных эмоций. Нечестивый, я занимался сокрытием уст моей ропщущей воли. Но я совершу суд над умершим и выпущу окрест себя сонмище чудодействующих духов, имеющих целью прорыв мужской сути, не способной больше сносить обезображивающую тиранию бесполой морали.

Я заставил девицу манерно смутиться, а мачеху — неодобрительно вперить в меня свой вразумляющий взор.

Я скомкал это розово-свинцовое смущение и взор гак, словно они были одинаковыми, но рядом не было ни одной урны, и я бросил их в грязь на съедение каблукам.

Чуть дальше возле вполне безликого административного учреждения я крайне неосмотрительно вляпался в разлагающиеся на ярком солнце мольбы о «носильном вспомоществовании» грязного, отвратительного нищего, полусогбенной позой подпирающего худощавую тень скуластого фонарного столба. Проситель подаяния сомкнул очи — очевидно, он считал ненужным утруждать свое зрение, если речь уни-

жалась за двоих — да так умело, что я не мог различить их между ячеистых яшмовых струпьев, облепивших со всем жутким тщанием лицо «божьего человека». Под искусственными лохмотьями угадывалось не старческое костлявое тело, но тряпичная набивка нелюбимой куклы.

Неужели божий промысел нуждается в физически неполноценных нелицеприятных бездельниках? Какое неслыханное попрание прав нашего Владыки! Почему носителем откровения и его декоративного обрамления должен быть непременно урод, эксплуатирующий свою убогость?

Ни одна мораль не заставит меня жалеть убогое отребье и калек, даже если этот калека я сам. У лучшего из лучших должна быть лучшая земная челядь. Я бросил старцу через плечо с рассыпчатым звоном барской милостыни:

— В твоём возрасте неприлично быть таким живучим. Господь больше не нуждается в тебе, он аннулировал твой контракт. Ты свободен от своей убогости и волен умереть как тебе заблагорассудится.

В багровой мозаике ороговевшей болезни блеснули два цепких зрачка. Елей самоуничтожения, с трудом возгонявшийся легкими к беззубому рту, сорвался внутрь и разбился насмерть, отпеваемый хриплым зловонным дыханием.

— Неужели ты запамятовал, что когда-то был мужчиной? Хочешь, я напомню тебе?

— Как?— тотчас был дерзкий вопрос, объявившийся с молодецкой любознательной прытью.

— Я не буду бросать тебе деньги, старец, я ударю тебя по лицу, возьму твою голову обеими руками и подниму ее к солнцу.

Все те двадцать минут, что я добирался до своей конторы, я не пропустил взглядом ни одной молодой женщины, сопровождаемой праведным шлейфом благовоний, ни одной взбалмошной витрины модной лавки. Я, кажется, впервые в жизни по достоинству оценил всеславный мундир полицейского, а ближайшая кофейня скомпрометировала себя столь

безрассудно целым фонтаном певучих запахов, что я мгновенно вспомнил об отсутствии завтрака. Только теперь, когда молодая кровь вскипела вкрадчивым мракобесием жажды подлинной жизни и деятельности, я сориентировался во времени и знал уже наверняка, что ЭТО явилось ко мне ранним утром. Я так дорожил ИМ, что до сих пор боялся назвать ЕГО, ибо мне казалось, что ОНО не способно ужиться ни с одним моим определением. Все атрибуты селения Х я воспринимал теперь без самодовлеющей толики того одомашненного трагизма, что присущ всем молодым людям, некогда пострадавшим от чересчур воодушевленного женского воспитания.

Шарманщик с помпезным попугаем на костлявом плече; невреждаемая от мнений благородных людей цыганка, вся в искусных галунах предрекаемого на продажу; священник, неосмотрительно обмирщенный портфелем; искусственная пыль на перильцах лестницы дома терпимости; флюгер в виде кроткой головы универсального домового, благоволящий всем спелым ветрам; композиция из няни-подвижницы, детей, кукол, голубей — и все это, обнесенное изгородью городского парка, задушевный полупрофессиональный разговор полнокровнолицей свахи и несвежевыбритого тюремного надзирателя.

Всех их я воспринимал как завсегдатаев дешевого картонного балагана и даже отчасти был благодарен им, ибо, пристально взирая на их мишурное благодуществующее существование, я в несколько минут научился смотреть не только на мое пребывание в селении Х, но и на всю жизнь как на нечто преходящее и потому менее скверное. Кто сказал, что жизнь сложна быть непременно удачной и счастливой? Пусть лучше она будет более запоминающейся. В этот миг мне захотелось, чтобы во всех концах земли глупо-рожденный богач получил лишнюю монету, бедняк вновь почувствовал неотвязчивый голод, неистовый триумфатор пресытился безбрежием своей оголтелой воли, раб скорчился еще от одной державной плети шаманствующего экзекутора, сладострастный

любовник блистательно закабалился еще одним наваждением нетленного поцелуя, удобовпечатлительный поэт оседлал еще одну досужую рифму и огосподствовал еще одним восхитительным образом, святоша вновь вострепетал, заслышав рачительную поступь обожаемого чуда, прямоходящий низкопоклонник вновь предался своей взбудораженной лести, празднотлюбвец получил новую праздность, но в более роскошной упаковке. Пирующий пусть заслышит еще один помпезный тост в свою честь, ожидающий — прозрачное око надежды за горизонтом, предающийся прохладному сумраку одиночества — бархатный сплин во всей его всеснедающей неге, а самая вселенская дерзость да оперится репейной порослью новых благозвучных кошунствований.

Пусть каждый в этот благословенный миг станет чуточку больше и больше вместит своего рока, а тот, в свою очередь, одумается и будет более интенсивен, разноцветен и равноудачно пособничает добру и злу, как и всякий своемудрый двурушник.

Возлюби не страдание свое, но
Свое,
пусть даже и страдание.

Я гадательно подошел к конторе и по амарантовой темноте, сгорбившейся за окнами, схожими с остекленевшими очами кормчего, проглядевшего берег, понял одним из своих благоприобретенных мультипликационных чувств, что она безнадежно пуста. Я смиренно искал у себя внутри неразменный лоскуток испуга. Не найдя такового, я двинулся внутрь здания, притязательно воображая, что увижу его в гигантских бездыханных пустотах сложные позы мифических наряд моей дальнейшей судьбы, в которую я начал влюбляться, как в единственную амазонку на мягкодубравном острове и предназначенную токмо для моего владения. Я неукорененно застыл на ветхом ковре так, словно он вел к трону, а гардероб и вытекающие из него жерла трех коридоров были наспех ищарапаны следами буйнопомешанного бегства.

Каменные полы были усыпаны бумагами на манер дорожных листовок, ожидающих наступления свирепого агрессора. То тут, то там, распахнув нутро, бездействовали шкафы; стулья прискученно стадно паслись, будто кони, лишившиеся своих всадников в неловкой атаке; брошенный сейф подглядывал за мной своею скрытностью через замочную скважину, сжав в кулак единственный доступный рельеф бородки ключа, как ополоумевший однолюб; гнойнолиственная пальма смотрела на меня с плахи кадки, точно обнаженная старуха, а возле моей левой туфли ничком лежал изуродованный неправильным прикусом бутерброд.

Если бы я был инвалидом, меня, наверно, осенил бы сверлящий зуд в утраченной конечности, но комплект под моим именем был полон, и я ничего не почувствовал, что и было весьма кстати. Посему мне наскучили эти образы, и я, дисквалифицировав их, углубился в один из коридоров, надеясь получить новую пищу для размышлений в комнате, где я работал, если мою призрачную деятельность можно было именовать так.

Вот мой стол. Все, что осталось в его податливых ящиках, — это черные сатиновые нарукавники и клочок мятой нотной бумаги.

Престарелый метельщик в кожаном фартуке, свисавшем с усов, с шафраново-желтым лицом, причудливо безыскусно гонявший по тротуару стайку одних и тех же изможденных листьев, будто пробуя слова нижней челюстью на вес, поведал мне, что контора эта в срочном порядке переехала ночью, а куда — он не знает.

— У меня создалось впечатление, что они репетировали сцену из потопа. Была такая спешка, что лошадьми задавило несколько человек. Я присыпал кровь песком, но она была такая алая, что песок стал похож на молотый красный перец. — Он замолчал, как и все люди, не привыкшие много говорить, а затем, увлекшись тем, что его слова могут звучать так складно, продолжал:

— Один из тех задавленных был такой молоденький, ну прямо как вы. У него была такая смешная, почти барсучья фигура, и мне было так жаль его, ведь копытом ему раздавило все ребра. Он все малодушно стонал, как девушка, и проклинал какого-то Габриэля, из-за которого и затеяли весь сыр-бор.

Я машинально поблагодарил метельщика и бросился к обиталищу моих сослуживцев. Во мне не было места сомнению, что тем раздавленным был именно мой незадачливый, примитивный, одномерный Серж.

Ненавидел ли я его? Пожалуй, нет. Разве можно ненавидеть одну из целей на своем полигоне? Я не ненавидел его, я целился в него, и мое трансцендентное дирижирование чужой судьбой удалось мне. С момента лавинного принятия новой самости и миротолкования, а я именно принял их, как принимают микстуру или чудодейственный эликсир, прошло несколько часов. И я уже слегка приобвык к тому, что физически ощущал некоторые приращения к своим чувствам, с помощью коих усерднее раздирал фактуру бытия, делая ее более созерцабельной и съедобной. Я не просто возвеличился: я явственно ощутил моральную и волевую автономию, совершал целительный набег на трущобные реалии селения Х. Люди, да и самой предметы, весь характерный привкус времени и пространства не выказывали более той обжигающей недоброжелательности ко мне, потому что я проникся к ним волевым безразличием. Кроме того, я поймал себя на мысли, что, заинтересовавшись реальностью, я тем не менее не стал от этого много реальней. Я ощупал рукой непокорные волосы и раз и навсегда уразумел, что никакие поработившиеся страдания и нисходящие отрезвления уже не помогут мне, ибо я уже стал тем, чем стал.

Я имею самого себя, я обладаю собой. Что может быть интересней? В мое сознание внедрили более сложные манипуляции, призванные производить впечатление более простых, вот и вся моя реальность. К пониманию жизни можно прийти двумя способами: до нее можно дорасти и можно до

нее низлететь. Первый путь наигранней и привычней, но второй неизмеримо интересней, ибо сопряжен со всеми преимуществами смотрящего сверху вниз.

За одну сублильную иронию смотрящего сверху я согласен претерпеть какие угодно лишения.

На ходу я ранил воздух, а он лишь свирепо стонал в окончаниях моих пенящихся одежд. Небо пробовало что-то предпринять с облаками, а мне хотелось ударить снизу по подносу, на котором прохожие подносили мне лучистую грошовую благожелательность так, чтобы гроши устроили здесь небольшой медный гербовый фонтан.

С наступлением дня ночной совиный холод исчез в складах вырождающихся тканей, но тепло еще не расправило затекшие члены и не заняло вакантное место. Именно во время этого междувлестия я и подошел к обиталищу Евгения и Сержа.

Дверной глазок будто из хитрой бутылки наполнился глазом, неслышно чавкающим ресницами. Он был таким безучастно карим, что я принял его за кнопку электрического звонка и едва не нажал. Мой выход напоминал вращательное движение, которым нарушают тепло-несущее одиночество термоса, дабы извлечь из него улыбку. Владелица карих глаз неподдельно выдержанно поведала мне, что Евгений и Серж съехали поздно ночью в крайней поспешности, и больше ей ничего не известно. Она говорила в такт своему бестревожному кровообращению, а изумрудные серьги в потускневшей оправе, казалось, должны были придать ее лицу вид удовлетворенного лукавства.

Я уверенно брел по селению X, нещадно перлюстрируя свежавыкрашенное воспоминание о том, как на меня вдруг повеяло из окаянных глубин пансиона шикарным запахом потревоженной пыли, а неугомонный маятник резал на ровные ломти что-то домашнее.

Невзирая на одиночество, мне захотелось побыть одному. Я бродил, как может бродить лишь уволенный в запас парад-

ный часовой, и диву давался, как мало событий со мной происходит и как велика меж тем сила моей изолированной рефлексии, теребящей в гневном безрассудстве многие глубины философской надмирности. Сейчас меня более всего занимал круг проблем, которые я условно окрестил технологией веры и технологией судьбы. Я был приятно шокирован, едва мне достались эти два филологических мутанта. Народившись, они моментально окоченели в моем мозгу до пассивного безвременья девизов.

Я ослабил поводок вассальной экстравертированности, и она тем не менее не нашлась ничего сказать мне, кроме разве того, что вокруг стало теплее.

§ 12

Я расстался с хозяйкой пансиона, даже не поминая деньги, уплаченные ранее до конца месяца, и тотчас застрашал себя ядом сарказма, что, возможно, вот так же когда-нибудь безмятежно поверяя в долг, я расплачусь за свои похороны и будущее рождение вкупе.

Судьба — это банк, где на каждого открыт кредит, и я давно мечтаю его обокрасть.

Поверх своей недешевой поддельной забывчивости я презентовал этой густо накачанной надушенным воздухом и легкокрылыми сплетнями даме ажурный костяной брелок в виде мясистого амура с полным колчаном стрел, обглоданных карманной мелочью. Ее умиление немислимого фасона щипало мне ноздри, я кланялся. Сборы мои были кратки и филигранны с позиций немодного кино. Я надумал возвратиться в свое полуродное столичное гнездо и решил тотчас же отправиться в обратный путь к дяде. Нашупав глазами календарь, я ужаснулся: ведь селение X пожрало ни много ни мало, но почти целый год моей жизни. До этого дни надменно чередой фиксировались лишь осколками интонаций моего душевного равновесия. Только теперь у душистого изголовья новой весны я встрепенулся при мысли, что мне почти нечего вспомнить в

этой обобщенной красками кутежей и фантазиями грехопадений местности, и потому год этот недействителен.

Все же задним числом я испытывал стыд от того, что не смог взять от феномена селения X больше, и потому решил не глотать так явственно окончание будущих воспоминаний по нему и не потщился немного пофланировать по его путанно пересекающимся улицам. Мое белокровное любопытство удовлетворено было не совершенно, и потому я энергично прогуливался, готовый ежемгновенно конфисковать чудо и пришпилить его золотистой иглой на черный бархат аффектирующей части сознания, стоило ему броситься мне под ноги.

Тем не менее по прошествии самого непродолжительного времени я поражен был приятным удивлением, едва выяснилось, что в этот день в селении X проводилось нечто наподобие маскарада по случаю старинного празднества, подоплеку коего мне было лень выяснять. Вкус провинциальной тишины был перебит на центральной площади понукающими аплодисментами разношерстной толпы, жаждущей возобновления лицедейства долговязого мима на аляповато разукрашенном разборном деревянном помосте. В толпе проглядывал не один миловидный дамский чепец, и не одна золотистая цепочка часов возлежала поверх амбициозного бургерского живота, упруго затянутого в парадный жилет, точно в кирасу, и я подошел ближе. Слепорожденная звукопись нестройных оваций нарождалась и опадала, будто вспыхивая накипь на хрустальном вареве, и художавый мим не заставил себя долго ждать. Он объявился из-за фанерной ширмы, густо закрашенной огромными, обрюзгшими от непомерной радости губами, в своем фиолетовом пятнистом трико походкою взбешенного заводного леопарда. Его миниатюра изображала метания молодого зазнавшегося юнца, ищущего взаимности у кокетливой цветочницы. Натужно рассмешив толпу своим нелепым ухажерством, он вооружился шестом и взобрался на канат, что был натянут на фонарные столбы. Некогда белые кожаные тапочки канатоходца облепили канат, будто два

кулька теста. Едва очутившись в роли воздухобежца, долго-вязый парень принялся пританцовывать над головами беззаботных людей, но по всему было видно, что ему, увы, не достичь желанного сродства с тончайшей зыбкой дорожкой. Канат был так тонок, а мим, невзирая на зловещую худобу, столь тяжел, что я явственно увидел, как лопнула тень каната и акробатствующий мим пошатнулся, едва не сорвавшись (!). Две женщины в толпе вскрикнули, прижав руки к груди, но фиолетово-пятнистая худоба акробата изогнулась басовым ключом, и он сохранил равновесие, явно умерив свой пыл.

Руки этих двух женщин постепенно опустились, ища плюшевые головы своих замороженных детей.

Я шел к станции омнибусов и не мог надивиться: ведь никто не обратил внимание, была ли теперь тень от каната или нет.

Я воззрился в последний раз на скученные достопримечательности селения X, и оно, будто живое окаянное архитектурно-людское хамелеонство, в этот миг преподнесло моим очам все что ни есть черного цвета в окружающем меня пространстве в серебристо-красном исполнении, а может быть, так оно и было прежде, и я просто всего лишь не присматривался к любым проявлениям черноты, но и также вполне возможно было, что у колоратурной оправы галлюцинации были на то свои веские причины, ибо ведь не всякая галлюцинация — это каприз. И я снова вспомнил, что древние полководцы, если им приходилось быть побежденными, затаивались на поле брани среди мертвых, усердно пред тем измазав себе лицо чужой кровью, дабы не быть узванными.

Я купил билет, нащупал на переносице розовые очки, растался на время пути со своим массивным саквояжем, убранным в багажное отделение, и уселся в омнибус с портфелем. Но читать мне, увы, не хотелось, я воззрился на лицо сидящей напротив меня женщины, и мне на ум как бы нехотя пробрались афоризмы Блаженного Августина. Я радовался им, будто горячим свежештампованным золотым монетам, блеск

коих безупречен, но держать их, еще горячие, невозможно, и довольствуешься лишь тем, что перебрасываешь с ладони на ладонь и думаешь, что владеешь ими. «Нарушение порядка составляет неотъемлемую часть порядка, а одним из нарушений порядка в самом порядке является чудо».

Я не помнил дорогу, а вновь вспомнил на ощупь свое тело таким, каким оно было в детстве. Затем я увидел детство глазами детства. Я вновь зачем то, как многие годы назад, залезал сейчас по лестнице на старый густолиственный дуб для того, чтобы упасть с него тогда.

Столица

Мой сомлевший вздох подобен властительному куполу церкви, прилипшему к небесам повстанческим средокрестием.

Галерея ослепительно глянцевого подручных улыбок, источающих беломраморный оскал напусковой доброты.

Приземистый лес разноцветных чулок.

Учтливое наваждение часовни, шестьсот лет назад мечтавшей о вечном наркотическом одиночестве, а теперь вдруг оказавшейся в сплетении торгового центра — выцветшее моление в искусном макияже криводушного многолюдства.

Разноцветное черенение улиц с нескончаемым потоком фиакров, карет, повозок, катафалков, телег, ландо, запряженных лошадьми различной степени преуспевания.

Вход в фешенебельный салон мистификаций через арку испрашиваемой милостыни и золоченый саркофаг для нее.

Модный поэт и модный банкир, модный жокей и модный кондитер.

Город — белый воротничок.

Мусорный ящик для стертых от усатых поцелуев душистых дамских перчаток.

Летучая пудра фаты на стародевичьем приданом. Парадный вынос банкира, отравившегося свежей земляникой, но

смерть на ложе любви по-прежнему собирает больше любопытных.

Продажа тела и продажа души согласно тарифу плюс безмолвная щепоть чаевых и благословляющий раздевающий взгляд.

Приют для ампутированных ветеранов неизвестной войны и беспрерывные танцы, завсегдатай маникюрного заведения, чахоточный палач и розовощекий скрипач, хотя положено наоборот.

Я протягиваю вперед руку и получаю в нее горсть горластых визитных карточек и монументальных рекламных проспектов от дамского мыла до новейших гаубиц и детских арф.

Я протягиваю вперед носок туфли, и на нее набрасываются обувные щетки уличного чистильщика или пара гигантских цепных псов с непременным десертным окриком садовника.

Я наклоняю вперед голову, и мне предлагают учебник латинского языка, лорнет на золоченой ручке, микроскоп для наблюдения за личной жизнью вирусной оспы, лицевые протезы, свежие сплетни, одно-два чуда света и какие-нибудь античные безделицы.

Я наклоняю голову назад, и под нее уже подкладывают пуховую рыхлоприятную подушку — сама белизна — и восемь часов гарантированного апломбированного сна, увенчанного, точно идолом, чашкой душистого кофе.

Я небрежно забираюсь в шерстистый сумрак, слегка сгибаю руку в локте, как ее тотчас обвивает благорасположенная бархатная дамская ручка, и иммартелевый шепот заставляет мяться соблазнительную твердыню вуаля мягкими бичеваниями амурного инструментария.

Я едва приоткрою рот, как проворная ручонка ученика кондитера насильно облагодетельствует меня, словно кляпом, тающим пирожным в густом хрустальном нимбе ликерных испарений.

Я поиграл пальцами так, точно уловил в ажурности окружающей меня образной ткани легкое недомогание, и меня

пленил кольцом, оседланным несколькими каратами непременно чистой воды, или предложат взять наугад несколько нот с клавиатуры рояля, вложить их в лузу ушной раковины и подивиться на чистоту и невесомость звучания. От обилия роскоши и нищеты, не вмещающихся ни в какие мыслимые рамки, меня на первых порах замучает тик, цветная слепота и привидится подробный чертеж геенны...

...но это пройдет.

А сейчас во внутреннем кармане сюртука, там дальше, за бумажником я отыскиваю брезгливость, которую нужно срочно реставрировать. Кроме того, после провинции я непременно сяду на лингвистический карантин, и все будет славно.

§ 13

Я обогнул группу молодых содомитов, выпавших по воле всемогущего инстинкта жизни из обрюзгшего клише моральности, и не найдя ничего лучшего, купил кулек незатейливых сладостей и раздал их новопридуманым детям, предающимся священнодействию своей игры здесь, у меня под ногами.

Я проглотил это гулливерово чувство, и опьянение экзистенцией толкнуло меня ладонями в спину так, что я едва не упустил с носа свои розовые очки, что упали бы в качестве изумительной милостыни в потрепанную бархатную шляпу желтолицего нищего, похожего на египтянина. Последний леденец я отдал молодому скомороху в полосатых брючках, незатейливо подминающему желания своих сверстников, и мальчик даже не вздумал меня благодарить. Он воспринял дарственную сладость как достодожную сладость бытия.

Этот леденец принадлежит ему от рождения.

Миновав ореховую аллею, я умирил шаг возле празднично убранной церкви и с чувством почти того же ранга воззрился на двух молоденьких уличных девиц, окропивших меня сладострастным взором. В юных блестящих глазах клекотала богиня любви, и глубокий вздох согнал с меня мантию мыс-

лебязни. Я познаю свой богоискательский дух через волю. Ее же я осознаю посредством тела, ибо уверен, что допрыгну от любви к женщине до любви к Богу за один раз, потому что я сильный человек. Молясь, я ощущаю мускулы, и оттого молитва моя приобретает мужскую основательность, и, следовательно, она не есть акт утилитарного отчаяния, но есть акт недвусмысленной преданности. Молитва — это вполне мужское дело.

Худощавый извозчик, чье лицо состояло, кажется, лишь из фиолетовой хандры и рыжих бакенбард, быстро подкатил к дому моего дяди. Мне показалось, что асфальт возле дома мялся под каблуками, точно сырая пата в волчьей яме. Архитектурные излишества свежесмысленных пилястр и фестонов, напоминающих диковинные ороговевшие водоросли, лежали бледным окладом на розовощеком фасаде старинного здания. Спустя три минуты, которые я возложу на храпение в особый классер моей памяти, я здоровался с моим дядей, точнее с феноменом дяди, ибо мое отношение к нему было всегда шире и переменчивее, чем просто к человеку.

Я обращался к нему только на «вы» и очень часто по фамилии, лежавшей, по моему мнению, экслибрисом на его мистической душе:

Тулов.

Богатая обстановка дома мало претерпела изменений, по этому лишнему раз подтолкнуло меня к убеждению, что последний прошедший год недействителен и мне предстоит заново сразиться с теми переживаниями и квинтэссенциями, что были отмерены Фатумом. Моя самость вновь, точно полоумный старатель, будет намывать непреложные предначертания, и мне стало немного легче, когда я вспомнил изящный скепсис Кьеркегора: «Единственное назначение времени — проходить».

Дядюшка был высок, худощав, его осанка и манера улыбаться будто принадлежали смертельно больному лорду, и никто на свете не умел так грациозно-сакрально произносить

слова «ангел» и «талантлив», подразумевая тотчас же за буквой «н» мягкую благоденствующую бесконечность. Хронос был явно бессилен, тщась своим однообразным разрушительным инструментарием даровать моему дяде приют . в рамках одного возраста. Потусторонние силы благоволили ему, и мне никогда не забыть тотального шока, который вдруг угнездился во мне, когда я ясно почувствовал, если не сказать увидел, что в экстрапространстве вокруг него тесно, ибо оно полно радующимися вечными. Дядины медитации были не интуитивным блужданием шамана-поденщика, но уверенными поисками «основания». Так, как, возможно, делал это лишь Мейстер Экхарт, взаимопротивоположные утверждения, негодуя, единились на его устах с жизнеутверждающей спесью Фридриха Ницше. В его худощавом теле помещалось куда больше равноудачных сентименталий, нежели в тучном и донельзя эфирном теле автора «Сентиментального путешествия», а юмору его случалось быть желчней любых саркастических происков отчаявшегося ирландца. Темперамент его при всем ощущающемся неистовстве был тем не менее управляем, но по законам управления, ведомым лишь Тулову.

Пособник силам добра и зла на земле с единой целью, чтобы не выродилась нива жизни.

Личина, обрамленная роскошной дюроеровской шевелюрой, являла собой оплот иезуитского двуличия. Хотя почему двуличия? Ведь двуличие—удел простых людей, подверженных рельефным юдолям добра и зла. Он же был многолик, и каждое мыслимое людское качество способно было при более детальном изучении вызвать великолепную оторопь ввиду массивности, энергичности каждого проявления его Я. Афоризм, произносимый им пусть даже невзначай или шепотом, был подобен манифесту. И сколько же разноцветных инсинуаций имела каждая его способность! Его улыбкам можно был присваивать имена собственные, его брюзжание могло быть хрестоматийным. Всем видам гневления от праведнического до вероотступного весьма пришло дать свои

индексы. Выражения лица и интонации, даже если бы вы вздумали привязать Тулова к креслу в начале монолога, были сущим мимическим стриптизом казнимого вероучителя. Однако ближе к середине они обращались в демоническое сомнение изрекаемых истин, а стремясь к финалу, были полой противоположностью вплоть до изуверского осмеяния собственных уст на заключительном аккорде. Цицероноречивость могла сколченожиться до бесхребетного шамканья, контур орлиной груди мог отдать полноту юродствующей сутулости. Он смеялся до разрыва лицевых мускулов, он рыдал до обезвоживания организма, он не любил быть там, где его ожидают видеть.

Ребенком я обожал его, а сейчас...

Он дружил с половиной мира, с другой у него было ч то-то вроде вражды, хотя мне никогда не разобраться в его видении людей.

Я целовал благоухающую скрупулезно наманикюренную ручку моей молодящейся тети Джулии так, словно прощался с нею не более часу назад, и мое касание губами этого белого, в меру теплого трудолюбивого лоскута не акция вежливости, но просвещенного баловства.

Пятидесятилетний лакей Карл, являвшийся неотъемлемой частью интерьера парадной залы, элегантно смазанной сединой и узкими талиями теней, рассыпаемых свечами, подавал блюда. А те несколько часов, что предшествовали обеду, протекали в густом табачном дыму, заслонявшем друг от друга наши улыбки,— дядя имел одним из своих многих пристрастий кальян.

Перламутровый дым, сгустки коего в массивных драпри гардин обретали желтоватое свечение, а также год разлуки действовали на нас, точно малая концентрация веселящего газа.

— Ну, мой милый племянник, поведай же мне истины, до коих тебя угораздило добраться за это время,— начал дядя после ряда общеупотребительных проходных фраз, содер-

жание которых мгновенно смывается из памяти. Неужели это так просто: скомпоновать в несколько благопристойных законченных предложениях, что теснилось в горниле моего духа, временами, даже безрассудного?

— Глупая выпренность, мой дорогой Тулов, мешает мне подчас начинать говорить так легко и звучно, как это имеют обыкновение проделывать более осмотрительные люди. Одним словом, с некоторых пор я начал усматривать во всякой иррациональности куда меньше зла, чем ранее. Каждая реальность бытия, ранее бывшая для меня оплотом мировой несмысленности, обличилась теперь в ходячую ярмарку здравого смысла. Я стал понимать, почему так часто мне приходилось в мыслях; противиться каверзам своих речей, что изливались тот миг. Я говорил так единственно по причине того,] чтобы не думать так. Я извергал устами то, что мешало мне быть собой, быть лучше, чем собой. А толпа убогих празднолюбцев принимала это за откровение и; очевидно, платила той же разменной монетой лжи, не отдавая себе в том отчета. Я целовал ту пядь земли, на которой мне пришло в голову, и не просто пришло, но вывездилось как выстраданный лозунг, что моральное истолкование жизни — самое поверхностное, шаткое и искусственное истолкование ввиду искусственности и уязвимости самой морали. И нельзя объяснить многосложную теорему жизни примитивными формулами первого порядка. А ведь почти все моральные сентенции чадят простотой, от которой я все больше задыхаюсь. Там, вдали от цивилизации, в этом мизерном во всех отношениях селении X я баловал себя единственным удовольствием, я рвал волосы что есть мочи, вознося свое естество на вселенский купол фантазмагорической гиперболы, с единым желанием приблизиться к Богу, ежемгновенно рискуя скатиться в гармоничную геенну патологии. С упоением небожителя я набрасывался на обнаженную мысль, точно на женщину раздираемый тотальным сладострастием отшельник. Меня хандрило и мяло, когда я выбирался из лил» ого саркофага аффекта, что следовал за

этим состоянием застолбленной вершины, и ехидная улыбка неслась вослед благодарению Господу в качестве дополнения. В чудовищном аномальном альянсе во мне обнимались страсти аскета-распутника.

Я сжал подлокотник плюшевого кресла и, лишь произнеся последнее словосочетание, почувствовал боль в пальцах, покрывшихся налетом бледноты.

— О-о, мой дорогой Габриэль, я вижу, в тебе и впрямь прибавилось страстей, и даже не знаю, что сказать тебе на твои экспрессивные речи. Что ж, весьма может стать, что сие и есть твое предназначение — за неимением опасной, полной всевозможных экзотических красот жизни найти отраду в опасных, дерзких мыслях. Цена падения, правда, остается прежней, можно разбиться насмерть. Однако осмелюсь задать нарочито безыскусный вопрос, — продолжал дядя, лепя из своего голоса что-то наподобие одышки, точно ему понадобилось выдохнуться, прежде чем узнать это.

— Не возникало ли в твоих ершистых мыслях желания жениться, разумеется по любви, упасть навзничь в цветной плюш и умиляться на щебетание свежекрещеных детей, единственным достоинством коих является умение достраивать наяву те глупости, что плесневели в наиболее лелеемой и труднодоступной части нашего сознания. Ведь рождение детей есть наиболее доступный способ избавления от себя.

— По довольно странному стечению обстоятельств я воспринимаю женщину только лишь как награду, то есть в двух ипостасях гетеры и музы, но никак не домашней хозяйки. И потому любая из них, как и положено учрежденной награде, неспособна вызвать максимум чувств и мыслей по сравнению с невознаграждаемым самосознанием моего духа. Единственное, чем можно увенчать пламя, — это копать.

— Мне нравится твое лицо, снабженное блеском глаз, голодным блеском. Похоже, что ты начинаешь мужать, мой дорогой Габриэль. Извини, я, наверное, скажу очень зло, но, глядя на тебя, я хочу думать, что быть сиротой — это талант.

И, кроме того, быть сиротой — это судьба, и не самая злая судьба. Ведь судьба никогда не бывает злой, ибо для злости она слишком разнообразна и талантлива. В свое время я, наверное, почти что на ощупь почувствовал, что безмерно счастлив, когда перестал спрашивать Бога: «За что?» «Прост так», — ответил бы я на его месте.

— Вы помянули голод. Это великое слово «голод», дядя, только сейчас я осознал во всей полноте очистительную и реставрирующую силу голода. Теперь это свойство плоти, равно как и способность воображения, представляются мне наилучшими и наисладчайшими ощущениями из всех возможных и мыслимых. Я люблю смотреть на жадных и голодных, алчущих и вожделяющих. Всякое пресыщение есть однозначное определение самоисчерпания и завершения развития. Голод же, напротив, свидетельствует о движении вперед. Предмет голода — это градиент развития. — Я встал с мягкого кресла и не почувствовал, что просидел все это время, так активно напрягались и вились мои мускулы в этом ласковом, упоительном, уютном ложе. Я пригладил избитые подголовником волосы, и руке моей почудился избыток электричества, негодующего в кончиках волос и тщетно изыскивающего равноценный эквивалент противоположного знака. Я воззрился на картину, висевшую напротив, и мощная резкая рама показалась мне слишком смехотворным ограничителем ее абстрактного смысла. Дядя тем временем держал бархатную паузу, парящую на взъерошенных кудрях перламутрового табачного дыма. Могло создаться впечатление, что он вымачивал каждый лицевой мускул в диковинном настое нового ощущения. Я ступал на узорчатый ковер, нарочито злобно давя одну из образовавшихся складок так, будто это была зияющая злоязычная трещина суфлерской будки.

Молодая служанка в киновари колдовского макияжа и ленно-лукавой улыбки подала нам два бокала с хересом, и моя набежавшая было к тому времени фраза ловко смылась глотком слюны. Я отвлекся на это безгубое создание, выкор-

чевывая мысль, провалившуюся в мое чрево тяжелым комком. От дяди также не скрылся искрометный инстинкт и мое смехотворное жонглирование кадыком в белом воротничке. Я вновь привел себя в состояние тренирующегося пророка и продолжал:

— Мой любезный дядюшка, ничто в этом мире я не променяю на опьяняющее, молодящее чувство голода, возвышающее, напоминающее о жизни, воле, вере, судьбе, ибо хотение — самое благородное и жизнеутверждающее чувство. На мой взгляд, нет ничего более успокаивающего и напоминающего субъекту о себе и своих помыслах, чем голод. И Декартово высказывание о том, что я мыслю, следовательно, существую — слишком пресно для меня. Нет, я хочу — следовательно, существую. Ибо в век искусственного интеллекта и вырождения хотение — более точный попугачик и индикатор категории существования. Каждое чувство должно нести на себе отпечаток того или иного оттенка голода, ибо голод — самый мощный возбудитель избытка жизни. А что может быть прекрасней, чем быть больным избытком жизни? И недаром квинтэссенцией хотения являете: видение, так как, например, изможденному путнику пустыне к глазам подбирается прекрасное до чудовищности видение оазиса с жемчужиной замка, выросшей на животворном источнике между изумрудными ветвям пальмы, перламутрово-радужными перьями павлина кроваво-сахарными устами земнорожденной богини. Вся кое видение — нечаянное откровение бытия. Видение -это больше чем бытие, ибо это хотение бытия. И, следовательно, суть телеологии заключается в том, что каждая крупница сущего и несущего не обижена самым великим животворным проявлением жизни — хотеть и быть предметом чьего-то хотения.

Мой дядюшка поднес бокал к губам так, точно в чреве хандрило жидкообразное существо, но затем неожиданно опрокинул содержимое, будто сделавшееся непомерно пресным и будничным, и наконец изрек:

— Я уразумел, мой дорогой племянник, к чему свелась сущность твоей новизны, которой ты не можешь нарадоваться. Если уж тебя угораздило волею небес отречься от простоты земных страстей и всецело отдаться служению новым идеалам сколь пленительно прекрасным, столь и спиритуально эфемерным, если ты чувствуешь силу в крыльях и ловкость в воображении, будь мужественным. Естественно, мужественным по-своему ибо эта категория многогранна и относительна, равно как и все определения человеческого духа, так как ты окостенел в своей фантазии, и теперь тебе поможет само провидение или вульгарная на вид удача, что в общем-то сродни.

— Баловень судьбы — самое морально оправданное явление.

— Пожалуй, не столько морально оправданное, сколько успокаивающее, равно как и чувство полнейшей безысходности. Ведь быть баловнем — это тоже безысходность, декоративная безысходность... — Отмерив каким-то любопытным эталоном паузу, Тулов, легко выудив свое тело из кресла и встав за моей спиной, продолжал вновь: — Ты сказал «моральное», так, значит, тебя сейчас больше всего беспокоят проблемы морали и, конечно же, судьба, что явствовало из твоих предыдущих поджаристых сентенций. И если бы не вошла Мария с хересом, ты с присущей тебе категоричностью еще, чего доброго, вывел бы мне аналитическим путем коэффициент судьбичности в жизни человека. Эти две сестры-греховодницы всегда ведут тяжбы из-за своих клиентов, ибо хорошая мораль и хорошая судьба несовместимы.

— Я соглашусь с этой последней довольно диковинной мыслью с тою лишь оговоркою, что слово «хорошая» не вскрывает подлинного противоречия меж этими двумя химерами. Я, пожалуй, скажу, что мораль и судьба несовместимы, потому что мораль можно приукрасить и убрать, точно декоративно надуманный Эдем, но не судьбу... — Я чувствовал, что возбуждение, а значит, и нешутейная заинтересованность

этой программной беседой нарастали. Мне было ведомо, что Тулов, если захотел бы, мог быть щедротен в изъятии эмоций. Из времен моей недавней, так некстати и так скоропостижно скончавшейся молодости я знал, что на крупных пиршествах, маскарадах и даже похоронах дядя любил сильное прочтение тех или иных страстей. Но я видел также и взаимопротивоположные волеизъявления его существа.

Я пригрезился самому себе неряшливой книгой. Никогда я не думал, что воспоминания могут быть такими хрупкими и неуживчивыми. Я тотчас придумал для себя потешное определение «инженер воздушного замка». Я знал, что скопища подобных умоизлишеств разлиты в моем чреве гормоном шута, ставшим неотъемлемой принадлежностью моей тонконаборной вычурной морфологии. Я взмолился на весь выжатый вокруг меня в таком изобилии воздух и продолжал, чувствуя себя погруженным в метафизический деликатес:

— Вы правы, мой дражайший Тулов. Меня занимают те проблемы, каковые вы благоволили назвать, особенно с тех некоторых пор, когда я, наконец, нащупал и понял не умозрительно, но на ощупь, что совесть — это всего лишь одно из неточных обозначений памяти. Ибо мучает не совесть, а память ввиду того, что совесть — это то, что мы себе не позволяем, а память — это то, что уже никогда не будет, даже если мы и позволим себе это... — Я увидел, что этот мой метательный снаряд попал в цель и тот маленький клочок дядиноглаза, что являлся носителем кумирного блеска, насытился еще одним цветом, и Тулов, сдвинув лицо ровно на один сантиметр вперед, сказал:

— Габриэль, скажи, уж не мучает ли тебя страх безысходности?

— Нет, ничто так не успокаивает меня, как чувство полнейшей безысходности. Пусть это выглядит как математическая неточность, но именно эта безысходность дает почувствовать мое начало координат, каковым для меня являюсь я сам. Всякое, пусть даже частичное, отсутствие безысход-

ности распыляло бы мои силы, размывало бы контуры цели. Только перед лицом всей глубины безысходности начинаешь постигать глубину себя самого. Безысходность — это глобальная неопределенность. Если жизнь не удалась — это не страшно, от полноты нашей неудавшейся жизни зависит полнота нашей удавшейся о ней мысли. Гораздо страшнее, когда начинаешь понимать, что при видимом изобильном благополучии не удалось самое главное — мысль о жизни. Да и, кроме того, нет такой судьбы, которая не побеждалась бы презрением или искусством. Хотя презрение к своей собственной судьбе и свое искусство — что одно и то же, и еще неизвестно, что прекраснее.

— Пожалуй, я соглашусь с тобой, хотя мне не вполне симпатична мысль, что в основе искусства должно непременно лежать некое почти фактографическое страдание, даже если я знаю, что это так. Мне не нравится думать, что за надъестественной энергичной сюитой, художественным полотном или квинтэссенцией полифонического романа стоит чье-то неповторимое, демонтированное, точно аварийная конструкция, прошлое. Ты знаешь, Габриэль, в моей жизни, изобилующей всевозможными подношениями судьбы, меня пестовали различные страдания: индивидуальные, возрастные, социальные, семейные, случайные, запрограммированно-предожидаемые. Но были и такие, каковые умудрялись стоять особняком в страдальческом загоне или мяти, и каждый раз, когда одно из них вылуплялось на свет в качестве моего теперь уже безвозмездного достояния, я вдруг начинал ощущать, что где-то Им, вульгарно говоря на небесах, оно не зачтено мне. Неучтенное страдание — не сразу я понял, что бывают и такие, потрошащие душу прострацией богооставленности. Не вздумай, что я склонен к семейным расчувствованиям, в процессе которых точно сливаешь из организма вседневно копящуюся слабость и подножное малодушие, — продолжал дядя, подбрасывая в свою речь нечто плохо поддающееся лепке и формообразованию, от чего та сделалась

сподвижницей большей мужественности, но и фальши. — Все дело в том, что, хоть ты и отвратительно молод, тебе уже пора знать, что бравировать перенесенным страданием по меньшей мере глупо и безрезультатно, если ты хочешь высидеть в глазах женщины, и безнравственно — если в глазах ребенка. Потому что похваляются собственным страданием лишь те, кто не имеет за душой других косметических достоинств, ибо их страдание — это не их заслуга. И в самом деле, ведь никому не приходит в голову хвалить огонь, зной, холод, укус дикого зверя, шальную пулю, которые дают нам возможность страдать и, следовательно, делаться совершеннее, обсасывая переживания со всех сторон до тех пор, пока не схватит виски покалывание воображаемого тернового венца. Нет везде и всюду в страданиях мы хвалим себя так, том не наше несчастье не знает внешней причины, а между тем это не так. Наши молитвы, наши исповеди и иные разновидности и технологии душевного стриптиза отнюдь не жаждат самоуничтожения, но возвеличения

Эдакий монумент, который мы высекаем, стоя на коленях. Самогероизация посредством бравирования собственной неблагозвучной мизерностью. Я испытал страдание, говоришь ты с таким видом, точно пресытился им.

Ну что же, очень хорошо, говорю я, но диплом страсто-терпца еще не дает тебе право посягать на диплом мудреца, ибо, испытав счастье и наслаждение, можно иногда забраться мыслью и выше ввиду того что страдание, пусть даже и пережитое, — ноша, и оно вовсе не способствует упоительному блужданию в горних сферах. Мудрствовать нужно с легким сердцем и свободным умом. Валяй страдай дальше и будь идеологом страдающих, но упаси тебя Бог скрюченными пальцами носильщика взяться за резец мастера, освобождающего из каменных пут обыденности скульптуру идола счастья. Идеологом счастливых может быть лишь в досталь избалованный фимиамом всего лучшего, достохвального и возвышенного, упоенный всеми мыслимыми изобилиями духа и тела.

С этими словами нечто, рожденное для жизнеутверждающей грубости и надменности, что гнездилось в речи моего дяди, вдруг окончательно растопилось, поддавшись всем формообразующим прихотям его почти акробатического монолога, заполняя тончайший рисунок его мнения волевым потоком акцентных знаков. Гулов восседал в кресле причудливый и гордый, исполненный своей прекраснотушнейшей необузданности, точно херес отдал ему всю свою силу, не посягнув на рассудок. Казалось, что все его суждения произносились им с такой же самозабвенной прытью, с какой винодел мнет сочную виноградную лозу, предвкушая крепчайший аромат полнокровного дионисийского жизневоззрения.

— Браво! — Это единственное из всех забранных у меня Туловым слов я отдал ему, точно состязаясь с ним в спиритуальные поддавки.

Я поразил воздух этим словом с поспешностью хрустальной затрешины, и мне возмечталось, что ловец истины отчасти подобен тому лицу в придворной свите, что разнашивает туфли августейшей персоны: та же радость, питаемая ощущением первенства, та же приятная боль проникновения в прекрасное новое и та же неспособность пожать до конца все лавры, та же горечь скорой утраты.

После этой небольшой схватки на бокалах с хересом, закончившейся учтивым словопролитием, и состоялся помпезный обед, каковым хозяева дома были рады отметить мой неожиданный приезд.

Хотя, по-видимому, неожиданным он был только для меня, и неожиданность эта была лишь внешней. Внутри же все мои эмоциональные центры и не думали одаривать меня воцарением нового правомерного качества.

Я был гадко прежним.

§ 14

Положив на колени бордовую салфетку, расшитую гармонично запутанными лионскими кружевами, и отправив в

себя первую ложку черепашьего супа, я со всем присущим мне юродивым блаженством осознал вдруг, что ослепляет не свобода, но только лишь наше представление о ней. Так точно в неистребимом эфире вкруг нас временами предуведомительно разливается некое подобие свободозаменителя, служащего мишенью для улавливания нашей психической галлюциногенной энергии, что мы выплескиваем, точно избыток деятельности некоей железы, дорываясь в танцеобразном изнеможении до верстового столба безводной пустыни свободы.

Я никогда не поверю, что все наши желания, иллюзии, все нечаянные повсенощные чародейства и волшебства нашего страждущего духа не имеют общего места сбора, где они могли бы упокоиться, смиренно ожидая очередного превращения.

Невеществословно велик будет тот, кто выведет закон сохранения иллюзорной массы.

Иллюзорная масса десяти воздушных замков равна иллюзорной массе воздушного поцелуя.

Осушив рюмку с веспетро, я доел черепаший суп, активно отделяясь штампами от вопросов тетюшки Джулии о кровожадной обыденности провинциальной жизни. Лакей Карл как всегда экономил ресурс работы своих суставов, что, впрочем, ничуть не мешало ему быть учтивым и предупредительным. Он, если так можно сказать, сновал с поспешностью скарабея, пораженного инфлуэнцией. Я был почти благодарен своим ближайшим родственникам за ту хорошо настроенную бессознательную учтивость, с каковой был встречен, так, словно мне и не приходилось покидать на всенебесное осмеяние этот обетованный дом. Казалось, все злопомышления селения X, искусно дурманившие меня диковинногадкими обезволивающими напояниями, рассеялись, оставшись за порогом, и теперь уже я мог со свободнобарственным видом наконец-то снять свои розовые очки и бросить их к изножию фужера с шампанским. У меня создалось впечатление, что я не снимал свои чудодействующие очки визионера

на протяжении целого года, и потому сгнетал их с себя точно походную кирасу, нещадно мятую камнями и мечами врагов. Помню, как однажды в конторе некий властолюбивый человек благоусердно поинтересовался, к чему непременно розовые стекла, и я, ответно говоря, нашел самодостаточным сослаться на редкое капризное заболевание глаз.

Тогда я блуждал по гигантским, нарочито неровно освещенным анфиладам комнат, то цепenea возле входа и чудесную библиотеку, заставленную дорогими изданиями, на кожаные переплеты каковых ушло не одно стадо свиней, то культивируя некие дополнения к слуху, внимая взметающемуся пению птиц в декоративном саду, то разбирая наугад странное величие гобеленов в диванной, пасторально холмющейся дикими лучами черного бархата и голубовато-зеленого плюша. Я почувствовал на холодном челе прикосновение не раскрытых в поцелуе губ, стоило мне зайти в комнату, стены которой были увешаны византийскими иконами; я доблестно переносил упоительные содрогания вертопраха, покрытого насмешками святош, пробуя на ощупь оскал клавиатуры белого фортепиано; и запрокидывал голову, точно смертельно наказуемый паяц, упавая почти наркотическим взглядом в картину Фрагонара «Поцелуй украдкой».

Мне неудобно взгрустнулось на одном из благоволящих мне кресел, а возле моего уха пользовал себя на. провансальском диалекте огромный белый попугай.

Я приоткрыл дверь в комнату, находящуюся в конце левого крыла здания, и, как и прежде, увидел две свежезастеленные кровати, приспущенные гардины на окнах и свежие цветы в бронзовом сосуде: дядя содержал эту комнату для привидений, которые, как он полагал, без сомнения, обитают в любом старинном приличном доме. Однако на мои постоянные расспросы, чем обусловлено количество кроватей, он отвечать избегал.

Мне нравилась эта его очередная странность, потому что «комната для привидений» была символом безбрежного гостеприимства.

Теперь нога моя ступала в тайное тайных ненаглядного жилища Тулова, и я, уже изрядно поднаторев в диковинностях столичной жизни, снизошел к забаве посещения бесподобной коллекции моего дядюшки. Весьма трудно было бы в двух словах исчерпать тематику данного собрания. Мое циничнолицее смирение добавило окоченелости ногам, липнущим к мраморному полу, и я уже вперился очами в настоящее чучело английского гвардейца, убитого при Ватерлоо, красный мундир которого хранил следы всамделишного удара штыком. Чуть дальше, соседствуя с засушенным кустом гибиска, под стеклянным колпаком, точно в индивидуальной вотчине, на толстенной медной пластине, исполненной гордыни и микроклимата, лежал засушенный мертворожденный принц одного из мизерных немецких княжеств. Печально, что в руке моей не оказалось горна и одежды мои не были расшиты для принародных славословий; я бы рискнул стать геральдом не случившегося владыки.

Я оглянулся, точно искал глазами, полными битого стекла, свой пакетик с пастеризованным счастьем, но вместо этого узрел лишь позорный колпак, каковым когда-то венчали одного ренессанского вольнодумца. Мели все вольнодумство и свободомыслие за все века умудриться присобрать воедино и для этого вселенского торжественного объединения сшить позорный колпак, то, пожалуй, наша Земля поместилась бы в этот кулек с проворством бесхозной горошины.

Следующим экспонатом был заспиртованный палец висельника, что возлежал в сосуде с достоинством указующего перста судьбы. Я посмотрел, куда же он указывал, и оказалось — на безочаровательно размалеванных уродов из осыпающегося картона ориентально вычурных форм и красок, которых китайские полководцы имели мандариновую причуду выставять меж своих воинов, дабы напугать врагов на полях брани.

Эта психоделическая коллекция — неподражаемая глумильня над людскими страстями, казалось, была отмечена тавром какого-то непостижимого камерного буйства.

Полная индульгенций и лотерейных билетов урна, статуэтка, пережившая напраслину пепла из Помпеи; не достигшие нищенских рук волосы святого Лаврентия; фрагмент церковного фасада с надписью «Ведомому Богом», что был извлечен из нечистого места; что-то недоступное моему пониманию из шаманского обихода, а также изящное белье французской монахини.

Мое воображение, вдосталь искалеченное состраданием, рванулось на попятную, и я мыслю, что если бы дядино могущество вознамерилось рассориться с земными путами, я, очевидно, узрел бы обломок сказочного Джиннистана размером 7 на 8, любимого белого пуделя Шопенгауэра по кличке Атма, овеществленную бритву Оккама, садок римского рабовладельца Ведия Поллиома, в котором он кормил рыб живыми рабами, и кадку с деревом Бодхи, под которым на Будду снизошло просветление. Но «этическое — враг познания» [Серен Кьеркегор], и потому я следую дальше.

В жизни моего дяди сакральным образом соединились непримиримые проявления мужественности — эстетика и бунтарство; поэтическая доктрина и взбалмошно-напористый окрик, монументальная жажда наслаждений и благоусердное величие души, способной вынести любое страдание; провидческое око своенравного семьянина и декоративное гнездилище духоиспытательной чувственности. Именно так, сочетая рациональное и суеверное, оставаясь джентльменом и инженером случайности, воссылая молитву небесам и подсчитывая финансовый баланс, он совершил пластическое паломничество в мою судьбу, превратив ее в безбрежную судьбичность, заразив меня своим державным инстинктом жизни, произведя мутацию бытовленной случайности с неслучайным ее развитием.

Возможно, чтобы стать тем, кем я был сейчас, мне и нужно было вначале стать сиротой, мало того — не помнить родителей. Наверное, только я смогу объяснить свой букет избалованности, энергичности и одиночества, которым не

перестаю любоваться, не имея представления, каковому же из трех качеств отдать пагубное предпочтение. Отец был представителем свободной профессии — он менял свои занятия, постоянно оставаясь кумиром толпы язвительных ротозеев. Создателю угодно было наделить его неистребимым оптимизмом и склонностью к акробатическим трюкам. Притворно состязаясь, эти качества не выбрали меж собою лидера и столкнули отца с плетеного праздничного каната вниз, на расступающиеся лица домашних хозяек, пропахших рождественским пирогом и подгоревшим криком неупадающего женского испуга. С тех пор гены оптимистического воздухобежца притаились во мне, ожидая иных, более возвышенно независимых воспарений.

Что касается матери, то ей угодно было совместить в себе безмятежную красоту с очаровательной богобоязненностью. Она умерла, не дождавшись обмирщенной благодати, вскоре после безвременной кончины отца, а снизошедший Господь проявил неслышанный такт, надоумив всех врачей не оказаться рядом, так чтобы жизни не пришлось извиняться, называя причину смерти, и посему мои воспоминания о матери никогда не будут испачканы физиологическим раствором гадкого медицинского обозначения недуга.

Она просто умерла, я видел это сам несмысленными детскими глазами. Так зачем же мне знать после этого, что послужило причиной? В каждом эпикризе есть нечто наветно нечистое, что-то злодейское от надругания над беззащитной святыней.

Второй раз такт был проявлен Богом, когда он вознамерился не дублировать эксперимент в локальной окрестности нашего семейства — я был единственным ребенком. Больше всего мне нравилось то, что я не знал, откуда взялось мое имя, и потому был склонен окружать происхождение оною неким мистическим ореолом, словно житие мое должно было подтвердить правомочность наделения меня этим музыкально-друидическим именем.

В ученики к дяде я поступил, имея, таким образом, только лишь имя, но и этого было достаточно для моего мультипликационного обращения.

Так и начались

Страсти по Габриэлю

Я встал с мягкого пуфа, на который меня подмял кусочек женского начала, едва сбился на полнокровные воспоминания о родителях, и, предав вульгарной анафеме всю кропотливую женственность, углубился очами в хитросплетения коллекции, предьявляющей моему вниманию «Отдел искусственной пластики», что являлся пристанищем особой гордости Тулова. Дикие народы хорошо знают разнообразные качества, каковыми животные превосходят человека. Неудивительно поэтому, что целые племена дикарей присваивают себе имена животных, на которых стремятся быть похожими, надеясь перенять у них хотя бы часть проворства и выносливости, позаимствовать хотя бы малую толику натиска их зубов и когтей. Но, страдая избытком воображения от самого неразвитого туземца до лауреата Нобелевской премии за успехи, достигнутые в области астрономии, человек неспособен остановиться и потому развивает сей безобидный обычай уподоблением тела форме тела зверя их тотема. Уподобление достигается искусственной пластикой головы, применяемой с раннего детства, из-за чего та принимает уродливые очертания, как, например, у лисьеголовых индейцев Северной Америки. Больше всего в этом досужем извращении естественности мне нравилось, что сей метод украшения человеческого рода почитался у дикарей привилегией свободных людей.

Я держал в руках странные головные уборы африканцев и островитян Тихого океана, и к горлу моему, словно по дюжине осадных лестниц, карабкалось несказанное веселье, окрашивающееся в самые немыслимые цвета, которыми народности Америки, Мексики и Перу пользовались в качестве притираний, дабы подольститься к окраске тотемной твари. Но мозг, как центральный очаг жизни, согласно наблюдениям, в

изумительной степени обладает способностью приспосабливаться к новым положениям при искусственном изменении формы и, будучи сжат в одном месте, сильнее развивается в других направлениях. Я положил на стеллаж эксцентричные головные уборы и взял в руки несколько чепцов и повязок, с помощью которых много сотен лет назад блюститель туземной этики уродовал головы новорожденных, и не мог себе даже представить, как изменилась бы моя причудливая судьба и образ опасных мыслей, если бы рука языческого святоши стиснула мою голову одним из таких пластических приспособлений. Что болезненно развилось бы во мне против воли и что, напротив, сохранилось бы на уровне младенческого восприятия? Я даже убоился поднести этот нечистый предмет ближе, настолько опасался чуждого инородного вторжения в мой занимательный спиритуалий. Очевидно, пока человек не изобрел массовую пропаганду, массовую мораль и массовое искусство, он был вынужден калечить себя более кустарными способами, но с развитием цивилизации все стало много пристойнее и удобнее.

Просто он никогда не мог ощущать себя адекватным самому себе, и, возможно, вот так сдавив себе голову в угоду капризам тогдашней моды, обезумев от боли и осознав впервые свою первородную дикость, человек болезненно гипертрофировал в себе одно лишь эвристическое начало. И до сих пор, страдая от неуправляемой боли, причиняемой разгулом страстей, заполняющих сверх меры все нервные волокна, человек иступленно хватается за голову, словно сжимаемую в угоду фатальному обычаю, точно тогда, давным-давно, он так и не снял пластическое изуверство, оставившее навеки неразвитыми животный леденящий страх и дикую первозданную неутолимую боль.

Деформации также подвергались и уши путем прижатия их к голове у маленьких детей туго прилегающими чепцами, благодаря чему ушные раковины до известной степени утрачивают нормальную способность хорошо воспринимать звуки.

Моему вниманию открываются чудеса зубной пластики, и под стеклом на черном сукне, снабженные пояснительными надписями, будто убитые воины, сложенные ровными рядами для удобств подсчета потерь после битвы, лежат зубы. То малайские, выкрашенные в черные и красные цвета, то фигурно подпиленные или заостренные, то с отверстиями на передней поверхности, заполненные золотом, как это делали на Филиппинах, то в футлярах из листового золота. Отдельно лежали зубы умерших, украшенные особым образом, так, чтобы их бездыханные владельцы имели более выигрышный вид на похоронах. Согласно преданиям и наблюдениям очевидцев, обладатели деформированных или украшенных зубов с презрением смотрели на людей с нормальными зубами.

Я зажму в своих неукрашенных зубах лазурную ворвань своего учения. Пусть же она, сколь сможет, поспособствует моему украшению в судный день.

Едва я углубляюсь в следующую приземистую комнату, оклеенную янтарного цвета обоями с изображениями дистрофического аиста, как меня старательно прощупывают гидрообразные символы китайского аскетизма — мужские чудовищной длины ногти, причудливо хоронящиеся от досужих мирских взглядов в серебряных футлярах, усыпанных декоративной проказой иероглифов. Здесь же покоятся аксессуары искусственной пластики носа, каковыми древние персы обделывали носы юных принцев, зрительно приближая их к идеальной форме смелого орлиного клюва. Подобно монументу векового немеркнущего соблазна, на сладостном узилище корсета из китового уса и стали высится чучело белого павлина. Я топлю свои зрачки, никогда не расширяющиеся до видимых проявлений эйфории, в стеклянных сосудах с заспиртованными ножками китайнок, которые подобны лошадиным копытам, и пытаюсь вообразить их обладательниц на ложе любви. Я глажу сосуд с обрубком миниатюрной ножки и боюсь искалечить его своим состраданием, ведь длина ступни в восемь сантиметров считалась эталоном красоты.

Человек начинает украшать мир лишь тогда, когда он обретает чувство, что весь этот мир вторичен по отношению к нему. Человек всегда украшает вещь, которую хочет видеть поработанной: свое тело — дорогой одеждой и тщательным уходом; свою женщину — изобильным комфортом, пряной лаской и драгоценными подношениями; свой интеллект — инаковыми мудреными учениями, чтобы придать ему соответствующий лоск и основательность; свою могилу — звукописно-беломраморной эпитафией; своего Бога, даже если он не видел его, — белой одеждой; всю свою жизнь — апокрифом завещания, хотя бы ему и не дадено было изведать, как и когда ей суждено завершиться.

Я восседал, окруженный экспонатами этой выморочной коллекции, точно облепленный квинтами своего многомерного психологического времени, и у меня начинало создаваться впечатление, что первое и единственное назначение любой коллекции — это способность заговорить память посетителя посредством расширения его судьбы за счет феноменов и событий, не являющихся его личными достижениями. И, наверное, только сейчас, понемногу преодолевая обширные подкожные инъекции селения X, я вижу, что все мое существо со всеми чаяниями и надеждами, страхами и восторжествованиями, бессмысленным, но энергичным и даже красочно радостным самоподавлением, со всем жизненным опытом и опытом многих индивидов, живших моей душой до меня, есть не что иное, как диковинный мутант судьбы, выращенный Туловым.

Могучее и благожелательное ко мне экстрапространство выгнулось окрест меня, истекающее ненасытным психоделическим состоянием, роскошеству и глубине коего могли бы позавидовать все мистики, ясновидцы и прорицатели. Но безупречное литье нерукотворного постамента стало обнаруживать бешено разрастающуюся раковину, и я ощутил на своем плече...

...руку моего всеядно улыбающегося дядюшки, теперь необычайно серьезного.

— Габриэль, прости, мне трудно будет говорить тебе это, но приблизительно треть часа тому назад прибежал посыльный из нашей старой городской ратуши. Видишь ли, в сопредельных землях началось нечто наподобие восстания анархистски настроенных повстанцев, помышляющих захватить обширные области и создать из них свое государство немыслимого устройства. Бунт под предводительством какого-то новоявленного Спартака охватил многие поселения, а пропагандистская шумиха, мастерски состряпанная новым кумиром толпы, возбудила множество умов, потому он не испытывает сейчас недостатка ни в людях, ни в средствах. Он противопоставил износившимся и поэтому бездейственным идолам новых и потому более притягательных. Мало того, момент для начала вооруженной борьбы был выбран весьма удачно, учитывая длительно копившееся недовольство народа нерешительной политикой правительства. Экономический кризис, снижение покупательной способности денег, неурожай и, как следствие, рост цен на продовольствие, продажность чиновников, достигшая небывалых размахов, и еще сотни менее существенных причин, сказывающихся не в отдельности, но в тягостной совокупности. В общем, в столице объявлена мобилизация, и ты должен завтра утром явиться к военному коменданту для определения тебя в солдаты; ибо война началась, видимо, совсем не шуточная.

Для неожиданности я был уже недостаточно невинен и, мгновенно вернувшись из-за порога ощущений, я нащупал в кармане сюртука свои незаменимые розовые очки и, дождавшись, когда дядя уберет руку с моего плеча, сказал вдруг чрезвычайно прозаично и буднично голосом престарелого мусорщика, наткнувшегося в груде зловонных мерзких отбросов на туфлю римского папы:

— Я не мыслю себя в военной форме.

И, сказав так, почувствовал надвигающуюся беду одними лишь вкусовыми рецепторами, точно хотел проглотить лакомство в целлофановом пакете.

— Мужайся, Габриэль, ведь ты никогда не был пацифистом.

— Единственно, я предпочел бы быть убежденным импотентом, чем убежденным пацифистом.

— Ты уже готовишься к казарменному лексикону?

— Возможно, но грубостью, изливающейся с нашего языка, мы подспудно надеемся хотя бы отчасти нейтрализовать грубость прикасающегося к нам бытия; кроме того, пошлость тоже умеет лечить душу.

— Не оправдывай то, что тебе чуждо, лучше надень свои очки, и я тотчас увижу, что ты стал мужчиной.

Бесподобное ощущение, которое Тулов прервал своим аккуратным вторжением, оторвалось от основания и бросилось ввысь с безрассудно яростным поспешанием, одаривая меня последней волной благодати. Именно в этот момент я надел свои душеспасительные розовые очки таким грациозно-царственным жестом, коему весьма пристало венчать церемонию коронации владыки владык.

— Я готов воевать, если это необходимо.

Всю жизнь человек работает на свою память, и, для того чтобы сделать ее многомерную событийную коллекцию богаче, нужно расставаться со своим прошлым без излишних душеспасительных сантиментов, легко. Так, как будто все, что ждет нас в будущем, будет неизменно лучше. Чем легче мы прощаемся, тем легче и охотнее встречаем. Каждое прощание без капли горечи уже само собой подразумевает новую встречу, посему и умирать лучше всего с легкой, беззаботной улыбкой на устах, так, чтобы легкой смертью пообещать себе следующее легкое рождение.

Минуло всего несколько дней моей новопомазанной столичной жизни, а я не успел толком адаптироваться ввиду того, что вся моя психика еще изобиловала демонами лютого напряжения. Я не был ни в театре, ни в дорогом кабаре «Доминик», куда так любил хаживать во времена моей натужно беспутной юности. Нереставрированная брезгливость

и щегольство не позволили мне хоть сколько-нибудь удачно приволокнуться, таким образом недостаток интрижки компенсировал избыток нереализованной чувственности, которая оттягивала мне манжеты. Я не успел посорить деньгами, хотя это удовольствие, сравнимое разве что с кормлением белых голубей в празднично людном парке, раньше было моим интимным советником, авантажно раскрывавшим стоимость многих людей и мнений. Все что я успел — это зацепить несколько непреднамеренных реминисценций, побеседовать с дядей, полюбоваться коллекцией и облобызать руку моей драгоценной тетушки Джулии, теперь уже прощаясь.

Сборы мои были удачно кратковременны, я пеленал надежду, словно юродивый, собирающийся на открытый мировой чемпионат по юродству. Я не вдавался в подробности поведения моих родственников, я штудировал все таинства технологии моей судьбы. Трепетные наставления я мысленно составил в такое парадное место, где ими можно принародно похвалиться, зная, что больше они ни на что не надобны, кроме как собирать пыль одноразового восхищения. В основе всякого непонимания одного человека другим лежит прежде всего психическая гигиена, и неказистый на вид цинизм играет далеко не последнюю роль в защитных рядах нашей самости. Мужчине не дано понять смысл страдания роженицы, окруженной повивальными бабками. Женщине не дано осмыслить мучения смертельно раненного солдата с ожидающими стервятниками у его жесткого изголовья.

Я тасовал технологические карты судьбы и вспомнил, что древние римляне искали покровительства у вражьих богов, всячески задабривая их и возводя им храмы в Вечном городе.

Я вспомнил просторы этой некогда великой империи и подумал, что мне не приходилось еще ютить вражьего бога, но ведь яд в малых дозах бывает заздравно целебен.

Я покинул дом Тулова на рассвете, который, едва слизнув сахарную пудру звезд, сделался от удовольствия розовым.

Я улыбнулся моему первоверховному Богу и всем его тварным детищам, осенив себя крестным знамением, и, вкусив всем существом пьянящую легкость натренированного тела и сумасбродную белизну свежей сорочки, я отправился воевать, понятия не имея, как это делается.

§ 15

На площади перед городской ратушей происходило выморочное действо, напоминающее неряшливую репетицию Вавилонского столпотворения, в такой степени толпящиеся здесь люди утрачивали всякое представление о подкожных привычках и канонах воспитания, свойственных представителям их круга. Это был просто мозаичный ландшафт, набранный из плохо вылепленных лиц с редким вкраплением женских, тронутых слезами. Десятки людей в синих форменных мундирах с наэлектризованным криком и суетой эполе-тами выписывали на общем матовом фоне сложные маршруты своими черными треуголками. Копируя друг друга, над толпой высились штандарты новорожденных полков, в воздухе плавали ровные ломтики набатных команд и сгустки сокрушительной барабанной дробы. Здесь прощались и избивали непослушных, умоляли простить и вторили полудетской улыбкой оскалу орла, скликающего молодежь под судьбоносную сень многоцветного флага. Радостная свора нищих музыкантов изливала истерическую стряпню простецкой мелодии и с трудом уворачивалась от прицельных даяний молодых офицеров, а легкие кружевные кринолины проплывавших мимо красавиц стряхивали пыль с золотых монет. Музыканты неистово кланялись. Мальчишки-посыльные в зеленых тужурках сновали с поспешностью дамских слезолюбивых платочков; и те и другие испуганно сторонились бродяг и искалеченных ветеранов предыдущих кампаний, что злорадно заползали под ноги смущенных новобранцев на своих грязных обрубках. Рьяные прорицания инвалидов, липнувших к самым здоровым и симпатичным на вид, исхо-

дили из беззубых ртов, точно неприятные воскрешения, и эта патологическая привязанность смерти к лучшим образчикам жизни злила наиболее пронизательных. Неистовый плясун в сбитых ботинках расталкивал рыдающих и завещающих доходы, а священник, подобно трюкачу, улавливал на лету чужие грехи крестным знамением, будто сачком. Я выпил бокал шампанского «за успех предприятия» здесь же, в наспех приспособленном ларьке и, подумав немного, вытянул золотой из жилетного кармана. Он полетел вслед собратям с тою лишь разницей, что я завещал его не нищим и не музыкантам, но всем, кто принимал участие в этом спектакле. Придерживая очки и улыбку, я втиснулся в здание и, выведая у случившегося рядом мальчика-посыльного местоположение кабинета, где мне надлежало предстать перед очами очередного вершителя моей участи, принялся с переменным успехом обходить людей, исполненных то показного безразличия, то ни с чем не сообразной решительности, то выдержанного потворства происходящему. Казалось, они прибивались к дверям кабинетов именно по этим проступающим в лице и манерах качествам, так что в моем воображении уже явились целые полки буйноправных спесивцев, изящных тихонь, исполнительных молчунов и жевиальных весельчаков. Благозвучно постучав в дверь названного мне кабинета и помпезно пройдя на середину комнаты, за той дверью хоронящейся, я узрел бильярдный шар полнокровной головы, придавливающей к столу через пенсне в золотой оправе кипы распущенных бумаг, несущих на себе имена будущих героев, дезертиров и просто убитых. Изнутри на меня бросилось демоническое желание выискать мизерный листок с надписью «Габриэль», но я вразумил все свои сверхтелесные помыслы умерить пыл до первого боя и, стеснив уморительное любопытство, придал ему оттенок ненависти, с какой я отношусь к цыганкам и прочим вульгарным толкователям столь драгоценного для меня предмета.

Лысоголовый офицер спросил меня нечто само собой разумеющееся в подобных схематических случаях и, получив

столь же безыскусные ответы, вторгся в мою жизнь с такой поспешностью, черкнув что-то в чахлом листке, что я невольно вздрогнул и, зябко скрючившись, воззрился на свою чистую белую ладонь, лишенную каких бы то ни было отметин хиромантии.

В наивных декорациях мобилизации, развеваемых на площади сухогрудым полуденным ветром, в хитрых скитаниях толпы на одном месте, в метаниях шляп, штандартов и юбок, качаниях лиц, теней и бликов; в плавных движениях гусиных перьев, скребущих канцелярскую бумагу; в дурмане ликований и озарениях скорби — во всем: от блеска монет, обратившихся в подножный корм военизированных менестрелей и перекатывании массы инвалидов, до положения ног офицера, заставившего меня содрогнуться, — во всем без исключения я увидел танец в форме навязчивой идеи. Я ровным счетом ничего не чувствовал, не предвосхищал, а все богатство многомерной рефлексии подернулось ступором фотографического отображения действительности. Анонимный человек в опустошительно белом халате с домотканой синевой подле глаз появился подле меня с такой выжидательной миной, точно выбрался из моего кармана и теперь оценивал реакцию на это, затем потешно дотронулся до моего локтя, приглашая совлечь одежды, и я почувствовал, что меня взяли пинцетом и поднесли к свету, гальванизировав вниманием. Дюжина глаз, половина из них забранная очками, опережая холодные волокна пальцев, наткнулась на мое здоровое тело и, не найдя ничего криминального, констатировала пригодность для одного из гренадерских полков. Одевшись теперь уже с меньшим тщанием и получив направление, я поспешил на площадь и только на лестнице заметил, что запомнил в спешке надеть вальяжность. Моим очам явился державный штандарт полка, исполненный триумфального величия, облаченный в тогу солнечного сияния, нежащегося на золотом шитье. Он являл собою неведомый мне, но любопытный символ. Во мне сделалась несказанная радость, и я увидел, что

счастье — это ощущение собственного могущества возле могущества Бога, когда величие становится под стать величию.

— Вы встаньте первым по росту! — громко обратился ко мне краснолицый здоровенный капрал, ткнув в мою грудь отменно вычищенными, но сиротливыми ножнами с такой грациозной легкостью, как если бы это был лорнет. Рядом со знаменосцем, похожим на образцовую подвенечную мумию, стояла группа офицеров в парадных мундирах.

Они обступили молодую рыжеволосую валькирию в белом воздушном платье, которая, поминутно поднимая шпагу, точно цепляя горние сферы на вертел, другой рукой бралась за золотую каску кирасира, венчающую ее бесподобную шевелюру. При этом воинственная дева улыбалась и делала жеманно картинный поворот, так что в спадающих складках платья обозначалась ее чародействующая грудь, отчего офицеры, не отрывая от воодушевленной собеседницы своих энергичных красноречиво-красочных лиц, попеременно взнуздывали лайковыми перчатками и без того безупречно завитые усы. По покачиванию султанов на киверах я видел темперамент, с каковым они отдавались ничего не значащему предмету куртуазной беседы.

В этот миг я любил мир как нерукотворный по красоте аномальный жест, где, сколь ни ловчился, я не мог сыскать и пятна грязи.

Все окрест меня было розовым.

Лица людей, биение знамени, даже гигантское полотнище неба казалось румяной щекой смутившейся девицы, а придорожная пыль, льнущая к моим сапогам, походила на косметическую пудру.

Мое бытие становится непривычным.

Утренний окрик неодолимо увечит мой сон, и я выпадаю из его душистой заводи прямо в сапоги и, еще облепленный ночными фантасмагориями, становлюсь в строй, принимая отечные лица новобранцев за изможденные ночной оргией

мордочки бесенят. Каждое мое движение — сущее воплощение команды. Я — частица математического ряда. Тело непривычно к мундиру, ранцу, киверу и ружью. Бегу и в сотый раз вонзаю штык в мешковатый муляж врага. Тяну носок. Вновь бегу уже без ружья и наслаждаюсь автоматизмом, прорастающим во мне со скоростью диковинного плюща, который просовывает головку цветка между ребер. Радуюсь своему неразвитому обонянию. За раздумье, неповиновение, недостаточное поспешание — ободряющий удар палкой. Множество кинематических сцен, в которых, я принимаю участие, не мучимый воспоминаниями и проектами. Я берегу свою память, стараюсь не делать ей больно и потому всем глаголам придаю оттенок настоящего времени или пассивности. Учусь стрелять и повиноваться, быть податливой крупницей строя в синем мундире. Сношу разнузданный сумбур унижений, потому что армия — лучшее средство от гордости. Все мое существо вырвалось из пут прошлого времени, устремляясь с непостижимой маниакальной скоростью в будущее, задыхаясь от погони за стрелой вектора судьбы.

Новобранец.

Неофит.

Три наряда вне очереди за пыльные сапоги.

Смеются над моими взбалмошно-карнавальными очками. Смеются, когда я в казарме делаю маникюр с субтильным тщанием церемониймейстера. Но я ни с кем не разговариваю, держу дистанцию, как опытный фехтовальщик, и всем своим видом показываю, что я здесь временно, хотя и не случайно. «Когда человек теряет способность и силы двигаться вперед, он начинает утверждать, что дошел до конца, что дальше идти некуда и не нужно, что пора остановиться и начать строить мировоззрение» [Лев Шестов]. Именно поэтому я чужд мировоззренческому строительству и предпочитаю думать, что у меня все впереди. А те философы, что я высек из своих мультипликационных страданий, есть всего лишь острый соус для моего событийно-пресного бытия, и

не больше. Мировоззрение нужно не тому, кто живет, а тому, кто оправдывает свою жизнь. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, ибо не живу и не оправдываю свою жизнь; я просто люблю ее.

Краткий отдых. Сажусь на койке, прикрыв ноги грубым одеялом, с торжествующим видом полнокровной ереси. Странная это категория — мужество: до него можно дорасти, до него можно опуститься. Окрест себя с обескураживающей регулярностью вижу людей, начиненных экстравертированной моделью оного, однако стоит задеть сферы их интимных интересов, обыскать их интеллектуальный и моральный ценз, столкнуть на острие пограничной ситуации, как тотчас же во всех названных направлениях деятельности духа пробиваются бесполость и бестелесность. Дородные отцы семейств, вожди, главари, императоры, идолы, поклонники и учредители всех видов социальной респектабельности в большинстве своем не более чем нагромождение мускулов, энергичных жестов и интонаций, деланного блеска глаз. Я видел нищих, исполненных лютеровского величия необъятного духа, в которых едва держалась жизнь, выглядывающая изможденным телом сквозь прорехи гадкого рубища и укрывающаяся нагрудным крестом.

Увы, я ничего не могу для себя открыть относительно взаимопротивоположной, столь же существенной и безграничной категории женственности. Женский вопрос во мне по-прежнему остается открытым при всех моих захватывающих побуждениях. Глагол женского рода в сострадательном наклонении в моей речи редкость. Человек стремится к животворящему счастью, ища свою вторую половину, но во все времена счастья хуже думается, а мое счастье заключено в любвеобильных объятиях моих провиденциалий по условиям нерасторжимого контракта с судьбой. Моя половина живет только в моих мыслях. Алхимики считали, что до нашей двухтелесной полярной страстной привязанности было существо андрогин, состоящее из двух тел, которым, по усло-

виям рождения, не нужно было искать себе пару. Но Бог в наказание разъял союз двух душ и тел. «В центре мистики стоит переживание, которое — как переживание — является реальным соединением с абсолютным» [Карл Ясперс]. Именно это переживание и компенсирует человек, находя свое дополнение, втиснутое в телесные рамки его потребности любить. Моя половина живет только в моих опасных мыслях. Это мистика.

Так хотела моя очаровательная капризная судьба, ей, как и всякой женщине, тоже нужны рыцари.

Рыцари субъективности.

Сейчас сплю на левом боку поперек сна или, по крайней мере, пытаюсь убедить себя в том, что нахожусь в его ажурном ошейнике, чтобы утром иметь свежий боеспособный вид. Только сейчас, выделявая над своим телом и духом немыслимые военизированные манипуляции, испытываю чувство безраздельного удовольствия от того, что заставляю себя. Заставлять себя — вот блаженство.

Вскакиваю с койки и пронзительно всматриваюсь в мерный лоскут парализованной казарменной тьмы, ибо я хочу высмотреть в общем богатом полифоничном полотне окружающей меня черноты то изнуренное наваждение, что вкрадчиво нашептало мне импульс чудовищной силы.

Все, из чего состоит дух человека, в первую очередь мускул, а уж затем качество, черта характера, инстинкт и, следовательно, требует отношения как к мускулу. Воля, вера, нравственность, память, влечение, неприязнь, оптимизм, страдание, любовь, цинизм, скепсис, юмор, патриотизм, такт, вкус — все это не более чем группы мускулов, которые требуют каждодневных интенсивных атлетических упражнений, рассчитанных на поддержание мускульной ткани, сколь ни была бы она спиритуальна и трансцендентна в мужественно благообразном виде. Хотение — тоже мускул, а уныние и пресыщенность — всего лишь недостаток физической подготовки.

Брусья для ненависти, эспандер для благородства, гантели для властолюбия.

Оказывается, быть мужчиной — это так неисповедимо просто.

Я достаточно цивилизован и, следовательно, сожалительно развращен, но настолько мистически натренирован, что мне не нужны искусственные психоделические средства и иные наркотические препараты, дарующие неистовые видения, минуя компетенцию воли столь тривиальным способом, как расстройство психики и деструкция личности. Я первый физически и психически нормальный пророк, потому что я мультипликационный пророк. Я парю за порогом ощущений, когда мне вздумается, я посещаю области безумия как ленивый экскурсант или гид-переводчик. Я воспринимаю веления свыше, словно инженерные методы расчета, иносказаниями и символами я пользуюсь как исходными данными для автоматизированного проектирования. Кто стал инженером воли, веры, духа, тела, всего бытия — тот потерял страх. Кто стал научным сотрудником Бога — тот утратил отчаяние. Дьявол — это всего лишь некорректная постановка глобальной инженерной задачи. Когда-нибудь, очевидно очень скоро, появится и такая специальность, как инженер-теолог.

В казарме холодно, в темноте блуждают затравленные островки кашля, вгрызаясь в черты любимых образцов, истекающих неровной кисеей сна. Шершавый язык одеяла перебрасывает меня с бока на бок, точно пресную пищу, и мои анестезические откровения выстраиваются в душе, подчиняясь причудливым мистическим рангам. Холодно. Ежеутренний окрик бусиной каленого ядра пронзает мой мозг, и атлетические штудии, кишащие разнузданной бранью и надсадным воем ослабших, сменяются заводными хороводами строя с декоративными вплетениями затрещин и низкопоклонства. Глубокий вздох сотен и сотен людей, здоровающихся со своим командиром, что перехвачен крест-накрест белыми ремнями, каковые так спешно могут смениться кровотокающими

бинтами или дымными магистралями кадила, отпускающего вся и все грехи. Неволья и величие солдата. Ускоренный курс подготовки неокрепшего воинства близится к концу, так как анархистский недуг полонил уже многие земли. Близкая кровь, смерть, чины и нажива деспотично будоражат молодые умы. Всякий мыслит о том, что ему предпочтительнее. Первый страх уже миновал, гниение воли от длительных переходов и неудач еще не пришло, каждый дамский чепец напоминает о бесчисленных амурных упущениях. Одним словом, образцовое пушечное мясо, и я — одно из его сочных волокон. Земнорожденная присяга на верность невредимо подпирает небеса, а сотни и сотни крестов, амулетов и медальонов жмутся к мягкой коже, не знакомой со свинцово-сабельными притираниями.

Публичные молитвы.

Публичные трапезы.

Публичные наказания.

Анархия тотального порядка.

Два месяца промчались с неодолимой проворностью удара, перехватывающего дыхание.

Я назойливо пичкал свой ранец всякой всячиной, которой положено не задумываясь жертвовать в рукопашном бою. Кожаный футляр маникюрного набора, забравшегося мне в руку, успокоил с тем рационально-иллюзорным чувством, с каким успокаивает изображение любимой женщины, на которое взирают с себялюбивым вожделием воины, отправляющиеся в последний поход. Все мужчины видят один и тот же образ любимой, ибо эта заздравная карикатура фантазии не роскошь любви, а всего лишь код, благодаря которому в мужчине начинают функционировать новые энергетические, волевые и морально-этические центры. У меня нет любимой женщины, и потому я добираюсь к этим центрам, взламывая их суррогатом мультипликационной интровертированной фантазии.

Сомкнув ряды, мы выслушиваем напутствия нашего командира, священника и первого городского богатея. Сквозь

розовые очки их увещевания «не щадить живота своего за отечество» были восхитительны, и я был на йоту от того, чтобы не растрогаться. Но в этот миг какое-то бурное эмоциональное движение, порожденное умелым сочетанием драгоценных патриотических понятий, переродясь в пространственный порыв солдатской массы, задело мое плечо, и я едва не уронил очки. Получилась маленькая стерильная профанация. Мы выстраиваемся на плацу для прощального марша, а во рту у меня образуется оловянный привкус детского парада, и ровные блестящие квадратики игрушечных военных группировок маршируют из моей памяти вон, тараня не развивающимися на ветру оловянными знаменами роговицу глаза и розовые стекла. Опекунство со стороны психологического времени выразилось в целой галерее новых качеств и интенсивностей.

Мое прошлое и будущее; мое прошлое и будущее за пределами этой жизни; беспредельность времени, удаленность в настоящее; многомерный коллаж из причин и следствий; эпохи и миллисекунды; безбрежность пространственной ограниченности: все эти эталонные понятия и функциональные модели моей психики срослись за два неказистых месяца воедино и, как назло, раздробились на одинаковые, ничего толком событийно не содержащие упаковочные целлофановые пакетики, напоминающие дешевенькие нищенские рождественские подарки в странноприимном доме, которые лишний раз раскрывают твою никчемность и отщепенство. У военных психологическое время организовано совершенно по другим законам, чем у мирных людей. Время в душе военного изменяется иначе и оставляет другой след. Мне повезло, впрочем как и всегда, и я надел военную форму на чувствилища, которые уже успели стать всецело мультипликационными. Переоценка ценностей, как одна из технологических операций судьбы, уже совершилась, и мне было не лень и не страшно обожествлять муштру и обезличивание. В основе переоценки ценностей всегда лежит изменение пластической

структуры и функционирования психологического времени, и я ясно это теперь ощущаю.

Все наше молодежавое розоволицее воинство пребывало в состоянии нервной оторопи. Пораженность вирусом беспечной деятельности, не имеющей ни причины, ни видимых целей, угадывалась во всем. Даже усталость после каждого перехода напоминала нечто среднее между беспризорной недосказанностью и канонической неудовлетворенностью. Глаза моего чернокудрого соседа на привале, кажется, наделяют проклятием злосчастную безвестность нашего положения. Он потрясает головой, точно сетуя на недостаточную усталость и недостаточную извилистость дороги, и серьги в его ушах дрожат с цыганской каверзной жутью. Он делает глубокий очистительный кивок, благодаря за флягу с медоточной водой, и, вытирая в улыбке пухлые губы, обретает дар речи, называя мне свое имя.

— Мартин.

— Габриэль.

При всей своей доподлинной эмоциональности это человек, экономный на жесты, и я так же экономно ответил на его радушие, не сразу протянув руку за возвращаемой флягой.

С затканной низкорослым кустарником пустоши, сползающей на дорогу, как будто непреднамеренно выцарапавшись из замкнутого объема спутанных растительных жал, на наше пристанище выбежал юродивый. Нужно сознаться, выбежал достаточно элегантно, совершенно не сообразуясь с фрагментарной изыянностью непыльного чудного платья и лоснящимися на солнце фабричными цепями. Повертевшись на месте с невесомой усталостью святого, клянущего свой тесный нимб, он сотворил несколько заученных движений регулярного воспитательного представления и, словно опомнившись, застыл на месте в величественной позе, широко расставив сильные ноги, продолжая лишь аккуратным подергиванием смазанных цепей и мимическими пародиями подтверждать свою причастность к цеху блаженных: Чистые гу-

стые волосы, взлохмаченные наспех, обрамляли породистое лицо разумного, выдержанного человека, недавно вставшего из-за обильного стола. Пружинисто обходя капрала, самодовольно сомлевшего в любопытстве, юродивый слегка задел его локтем и, не обращая внимания на недовольно взбившийся ус вояки, так, точно он обходил нелюбимого лакея, приблизился к нам. Нащупав на атлетической груди луковицу золотых часов, он проворно интересуется временем, и безнадежно карие глаза умиротворенно высасывают все соки из римской цифры, которой достался жребий фигурной стрелки, так как это умеют делать одни лишь глаза банковских служащих.

— Осмелюсь спросить, кто из вас человек по имени Габриэль, да простит всевышний мне мое любопытство,— обращается ко мне и Мартину с пронизательно-снисходительным выражением лица этот божий человек. Я поднимаю указательный палец, не тревожа всю кисть, довольствуясь своими слипшимися от длительного молчания губами, кратко прерванного лишь однажды.

— Имею честь передать вам вот это.

Я не удивляюсь необычным вещам, это невоспитанно и безнравственно по отношению к ним, и принимаю непрощенное подношение. Кусочек киноплёнки, содержащий единственный кадр с аляповато нарисованным человечком на опустошительно белом, ничем не занятом фоне.

Я поднимаю глаза, на миллиметр раздвинув уголки рта, но юродивого уже нет, а задетый капрал стоит в той же позе с забальзамированными белками глаз и медленно опускает сердитый ус.

Мы уходим от столицы все дальше и дальше, и бывшая мирская благопристойность имений средней руки, являвших собой оплот усидчивой государственности, постепенно приобретает нездоровый налет, весьма свойственный провинциальной остоленелости перед лицом неустойчивой власти.

Разрушительная деятельность оголтелого повстанчества, наглеющего от нерасторопности официальных властей, заставляет людей дичиться своих привычных занятий. Изменение власти повлечет за собой изменение идеологии, сколь вульгарна и доморощенна она ни была бы у этих новоявленных ревнителей свободы. Крестьянин не будет иметь уверенность в том, что завтра сможет реализовать свой урожай на шумной красочной ярмарке и безбедно просуществовать до следующей осени, ремесленник не будет иметь канонизированных законов условий своего труда, проворный купец убоится расширить свое предприятие, ибо во сне его замучают видения нескончаемых пожаров и безобразных бородачей с ножами.

Длинноногий Гермес не спасет недвижимостъ и ценные бумаги, что моментально падут в цене, стоит боязливому уху коммерсанта слышать хоть одно надсадное эхо пушечного выстрела. Декоративная стайка резвостепенных муз не посетит этот край, находящийся между войной и миром, а состояние недосказанности порадует одних лишь мошенников и всеведущих авантюристов. Я наблюдал за привычной жизнью с дороги сквозь плечи молодых солдат, но мне не составило никакого труда уловить изменение самой фактуры, концентрации и интенсивности жизни, ибо одинокий мечтатель, праздномудрец, инфантильный ветреник как феномен сельского придорожного ландшафта исчез втуне.

Самое страшное явление в жизни каждого государства — это братоубийственная война, ибо она напоминает совмещение больного и врачевателя в одном лице, узника и вершителя кары на одной плахе. Слишком много от противоборства с условным противником даже тогда, когда течет кровь твоего брата. Гармоничный хаос, законченности. Наказание до востребования. Вот оно — горло врага, попеременно заслоняемое то фотографиями в семейном альбоме, последние страницы которого футурологически пусты, то разрушающимися инвалидными штампами об общепонятном долге и доступной до продажности добродетели. Игра в поддавки на

истребление. В горниле чадных пожарищ, в струпьях детского крика, в судорогах церковного звона, зовущего убивать за одну и ту же веру, восходит звезда святых, являющих собою квинтэссенцию нравственного порога нации.

Люди, помните: с позиций высшего толкования бытия не бывает безвыходных положений, есть только положения безвыходные. Мир изменился, изменился с ним и святой, не только возле готического собора или мечети есть свой блаженный, но возле каждого чертежа, всякой формулы живого и мертвого изобретения есть свой святой, прозревающий тайны бытия благорасположенный всему новому.

Бог имеет самое непосредственное отношение научной деятельности, ибо инженерное откровение, и имеющее аналогов и приоткрывающее завесу над тайнами мироздания, порождение того же центра высшей деятельности человека, что и мистическое откровение средневекового мученика, занятого теми же медитацией и самоподавлением во имя достижения высшей сверхчувственной цели. Современный святой — инженер трансценденции поклоняется своему технотронному божеству до тех пор, пока смысл всех его духовных отточенных устремлений не найдет более могущественного интегрального абсолюта и не поверит ему свою технократическую интуицию и свои цифровые чаяния. И тогда, придав безбрежному хладнокровному разуму в качестве отяготительной ноши человеческую мятущуюся страстную субъективность, провидит, как близко стоит он к Богу и как потрясающе великолепен, гармонично могуществен и, главное, правдиво естественен он в инженерной интерпретации.

Новообращенный увидит, насколько Бог божественнее, когда он является не в душе необразованного, дикого фаната, но в душе, подкрепленной ясным строгим знанием, ибо вера, наделенная знанием, много прочнее, чем внешняя религиозная накипь интуитивного подражания. Когда Бог появляется не в результате опустошительных духовных борений, центр тяжести которых — нравственность, после гигантских про-

сек утраты веры во все и вся, но в результате безболезненного моделирования ценностного макрокосма наступает чувство пьянящего облегчения, каковое способно заговаривать внутреннюю боль любой глубины и любого масштаба, как это делает каждый удачный расчет. Расчет индустриальной эпохи — это трансформированный дикарский заговор трансформированной дикарской боли души, одетой аксессуарами цивилизации.

«Чувство является необходимым элементом религии, но характер и ценность ее определяется не чувством, а содержанием религии, то есть ее интеллектуальным базисом» [Джон Кэрд].

Даже когда Бог покидает инженера духа, тому легче справиться с опустынивающим состоянием богооставленности, чем верующему по наитию, ибо он всегда может выделить в своей душе своеобразный сверхчувствительный модуль, каковой будет способен временно функционировать как искусственный богазаменитель, к которому страдалец будет обращаться г матрицей молитвы за поддержкой, упованием и благодарением. Таким образом, замкнутая антропотеоцентрическая система поспособствует большей деятельной выживаемости индивида до тех пор, пока обстановка не изменится в лучшую сторону и система разомкнётся, впуская энергетический надеждородный импульс Бога.

Смерклось и успокоилось, рассвело и заблаговестило. Я не видел уже ни одной опрятной харчевни, но видел всюду заколоченные окна и затворенные ставни с боязненным блеском глаз в щелях, и оттого подсматривающие эти щели, доверху набитые глазами, возбуждали целые кочевья микроскопических мурашек под нашими тугими ранцами. Возле одного из верстовых столбов, номер которого я не упомянул, очаровательная, душисто румяная девица подала мне кувшин с молоком, и у меня возникло такое жгучее желание взять ее за руку и увести подальше от этой мыльной дороги, что я, наверное, не убоился бы навязчивой ласки шпицрутена. Но

она была всего лишь одним из многочисленных искушений, и я принудил, свое воображение обезобразить ханжеством. Мы преодолели еще несколько времени и расстояния, и ни нас бросилась целая свора бездомных псов, казалось, единственно того и ждавших, чтобы сорвать на нас свой сатанинский промозглый лай. Еще дальше моему взору открылись почти повсеместные упущения в хозяйстве, так как в каждом строении, будь то жалкая лачуга или сельский каменный храм, я видел хотя иногда и мизерные, но изъяны, которых не желала касаться рука мастера.

Улыбки сменялись зубовным скрежетом и злобными выкриками с постными прокладками сангвинического безразличия так, будто мы двигались по местности, состоящей из коллажа склеенных друг с другом лоскутов географической карты, в каждом из которых обитало особое, ни с кем не схожее племя. Наших фуражиров встречали то припасами обильною провианта, то гнали взащей, и все вместе это называлось гражданской войной или чем-то вроде этого.

§ 16

Мы двигались в направлении большого запустения, и у меня создалось впечатление, что к свободе можно прийти через многомерные тернии хаоса. Во всяком случае, я усомнился бы в подлинности такой свободы, если она наступает, используя подобные приуготовления, и сегодня как логическое довершение виденного явилось спелое пепелище. Оно с проворностью черного плюща прибрало в свои ненасытные объятия обширные пространства захолустной деревни, и, точно следствия коварного вируса, всюду на грудах золы бодрствовали разнесенные ветром безупречно белые листовки. Война совсем близко, хотя такое нарушение порядка не может иметь ярко пораженного фронта противоборства, ибо усеянные костями поля брани, где воюющие стороны выполняют друг у друга из-за спины, не более чем язвы на общем теле, облюбленном болезнью. Синих мундиров становится

все больше, колыхающиеся массы пехоты и кавалерии, уже не столь притягательные для глаза, как на плацу, расталкивая нелепые образования обозных фургонов и повозок, движутся в направлении селения Y. Невероятная мешанина акцентов, оттенков загара, способов выражения непокорности. Еще несколько верст назад колонна нашего полка двигаюсь в ку-мирном одиночестве, а здесь, на тесном перекрестии дорог, скопилось несколько десятков тысяч нервно взвинченных человек. Ошеломительно лощеные адъютанты, словно официанты на невидимой привязи щедрых чаевых, сновали во-круг дряхлого генерал-аншефа, тщательно блюдущего над-менные амбиции воинственного сана. Щеки военачальника, больше схожие с тертой мошной, полной мелких монет, с трудом держались в крахмальном узилище воротника, а за-тейливое шитье мундира и эполет вкупе с зарослями страу-синых перьев на шляпе принуждали всех офицеров и солдат, бодрствующих поблизости, содержать свои марионеточные каркасы на пределе механической прочности. Генерал-аншеф восседал на огромном барабане, рука в лайковой перчатке с те-атральным жеманством сжимала подзорную трубу. А совсем рядом я сделался свидетелем целой пантомимы с участием лошадей, умиротворенно поедающих овес, канканирующей в сумятице обозной прислуги, десятка коров, учувших близ-кую смерть возле медных котлов полевых кухонь, и офице-ра, бывшего возницу поводами по лицу. Группа энергичных солдат сплотилась вокруг какой-то неслыханно удачной по масштабам образа пошлости, каковая досталась вертлявым маркитанткам, смеявшимся, впрочем, не меньше мужчин. Из утробы перевернувшейся телеги смертоносными личин-ками выкатились пушечные ядро, а из раскрывшихся заряд-ных ящиков осыпалась пыльца пороха, и в этот момент не-кий пружинистый голос поминал карточный долг, проклиная всех на свете пиковых дам и безымянного беса. Вся деятель-ность и бездеятельность людей, животных, самостоятельно распоряжающихся приказов, стоптанного в непрозрачном

воздухе многоголосья соединились в единый сложный, как будто не ко времени разбуженный организм. Всеобщее замешательство, разогретое непривычным видением гигантского синего скопища людей, сомкнутых на тесном пространстве сельского, почти журнального ландшафта одинаковыми погонами и одним цветом судьбы. Под равной кисеей безразличных ко всему редких облаков теснились костюмированные изощрения военного спектакля, концентрируясь в лапах блестящих штандартных орлов. Неспешным походный шаг, постепенно замедляясь, вывел нас на огромное поле, с высоты полета птицы или ангела такое же безупречно зеленое, как и сукно игрального стола. Наш гренадерский полк остановился на холме, с коего открывался чудесный вид, и я мог достаточно ясно видеть происходящее на много километров вокруг. Отборные эскадроны уланов заполняли лощины, наводняя их густым приземистым топотом несущим впереди каждого всадника острие длинной пики. Грузные кирасиры, облаченные в старомодные золотистые кирасы, скакали с тяжеловесной уверенностью, придерживая на боку массивные палаши. Казалось, складки местности еще более вминались и землю под этой сытой змеей, блаженно играющей ни солнце чешуей из черных касок с желтыми перьями, конских грив, расчесанных когтистым ветром, и начищенных пряжек. Кавалькада безустанных игроков, и волокит, мотов и дуэлянтов, именуемая гусарами, слегка утомленная очередной бессонной ночью цвета неудачной карточной масти и неутомившимся хмелем, сбитой трусцой направилась к мельнице, где в тени беснующегося мукомольного распятия уповала на краткий отдых. Не сразу я понял, как вкрадчиво поле битвы вбирает в себя убийственно-животворные соки, чтобы затем пресытиться их громогласным излиянием. Компактные группировки понурых пехотинцев, наконец добредя до означенных мест, рассыпались по полю синими уставшими цветами, наклоняя к солнцу пыльные лица. Они молили небеса об очередной милостыне неувечной жизни к завтрашнему вечеру.

Вслед за россыпями отметок подков и сапог поле расчертилось следами колес пушек, влекомых на близкое пиршество ворон и червей. Достигнув мест батарей, орудия уснули на возвышениях, словно чугунные вараны с литыми вензелями фирм-производительниц на спине. Бесчисленные повозки, телеги и крытые фургоны обоза заполнили все сколько-нибудь свободные места, наводнив суетливой лагерной жизнью сельскую местность — картинку. Я присмотрелся и вдали на гряде противоположащих холмов увидел беспорядочно роящиеся массы людей грязно-бурого цвета. На удалении в несколько километров они не создавали вида упорядоченных военных построений, меж ними не угадывалось единообразие в форме одежды и поведении, хотя на глаза и напрашивались шутовские подобиya знамен и вполне настоящие пушки, черные зрачки которых не мигая смотрели на нас, и их было не так мало, как хотелось бы.

— Повстанцы! — с изумительной уверенностью сказал Мартин, точно читая мои мысли. Я обернулся, но он не реагировал на меня, как заговоренный дурманом тотальной пространственности. Вдали за массами взбунтовавшихся виднелись высокие крепостные стены, башни и шпили селения У, которое теперь являло собою Мекку анархизма. Понемногу нас собралось в круг несколько молодых людей, роскошной праздности ради перед ярмаркой судьбы надумавших перезнакомиться, может быть, лишь затем, чтобы завтра потерять друг друга навеки, и потому мы бросали свои имена в круг, будто игральные кости, с небрежным жестом безнадежно отыгрывающихся: — Иохим, Игнатий, Макс, Владислав, Освальд, Габриэль, Людвиг, Александр, Мартин, Антон, Гийом, Ингмар... — и я подумал, что ради таких мгновений стоит жить, и еще я подумал, что большинство наших грехов пресекается на корню не нравственной токсикацией, но брезгливостью, хотя последнее лучше бы примыслилось мне завтра где-нибудь у изножья горы из окровавленного тряпья, сегодня носившего эти красочные имена.

В этот момент я поправил очки. Кто-то нежился в траве, наслаждаясь изумрудной травинкой, лазутчески пробравшейся в рот; чьи-то глаза были сушая карья пустошь; иной энергично фальшивил, вплетая худые пальцы в спутанное убранство кудрей; кому-то взбрело в голову петь, осторожно окуная губы в субтильную мелодию; кто-то отважился слушать, принаравливая уши к акустической липкой фантазии. Я не упомянул, кому из молодых людей, какое принадлежало имя, хотя каждый был достоин всех, вместе взятых, и тем любопытнее был разговор, сорвавшийся из ниоткуда и мгновенно привечающий экзотические мнения и мировоззренческие установки со скрупулезностью всеядного монтажа.

Молодой человек с лоскутнообморочным лицом, похожий на Гийома, но впоследствии очутившийся Освальдом, суетливо нащупывая что-то в карманах, изрек в продолжение одной из своих мыслей:

— Они борются за справедливость. — Я попытался себе представить, какого она может быть цвета, но цветность в этот момент исчезла из моей головы, и я остался без видимого образа бунтарской справедливости.

— Они завоюют ее, допустим, но что они в таком случае будут с нею делать, ведь справедливость совершенно не поддается хранению, ибо это самый скоропортящийся продукт,— с фальсифицированным прискорбием отпарировал Ингмар, тень которого самозабвенно предавалась геометрическим гримасам.

— Существуют люди, для которых борьба за правду становится смыслом жизни, и они не щадят при этом ничего,— не унимался Освальд, расточительно дыша, словно выбезбоженный.

— С обостренным чувством справедливости, равно как и с обостренным обонянием, лучше не появляться в общественных местах, избирательность совершенно не терпит свободы,— методично глумился Ингмар, и в этот момент в его глазах я нащупал некий запрещающий блеск, отчего этот гиперборея сделался значительнее.

— А вот здесь, наверное, соглашусь и я,— молвил бесформенный Иохим.—Любая свобода прежде всего ведет к неразборчивости. Все зависит, увы, только лишь от местоположения морального соглядатая. Если смотреть снизу, то свобода представляется более заманчивой и прекрасной, сулящей большие перспективы самовыражению и самораскрытию, нежели деспотия; но если взирать сверху, то анархичная, ведущая к неразборчивости в целях и средствах, безыскусно вульгарная и единообразно толкуемая для всех свобода не выдерживает никакой конкуренции со строго упорядоченной, канонизированной вариабельной деспотией, свято защищающей за каждым его истинное место.

Проглотив аномалию тишины, Иохим, кажется, довольный тем, что его не осмелились перебивать, невзирая на полулежащее состояние, продолжал:

— Чем больше мы имеем свобод, тем в большей степени подвергаемся опасности пострадать от них же, ибо, приобретая право, мы одновременно становимся предметом тех же самых, но только чужих прав. Мы страстно добиваемся свободы слова, всячески при этом игнорируя свободу мысли, единственно для того чтобы сделаться жертвой разнузданной клеветы и несносных сплетен. Мы жаждем свободы действий для того, чтобы оказаться избитыми на улице из-за какой-нибудь ерунды вроде политических убеждений или фасона прически, мы ратуем за сексуальные свободы, чтобы обессилеть духовно и телесно, стать циничными и защищенными от своих эмоций, в том числе и положительных. Мы возводим в культ свободу веры, чтобы скрыть полное отсутствие оной, мы развиваем интеллект, чтобы не развивать душу, мы с параноидальным иступлением мечемся в поисках свободного самовыражения, чтобы тем вернее убить всякую оригинальность. Мы тренируем лицевые мускулы, гримасничая при виде мизерной нечистоплотности, чтобы все мимические и нервные волокна стреножил паралич безразличия при виде повального бытового святотатства. Мы даем женщине права,

чтобы с мужчины снять обязанности, мы воспитываем детей по-новому, чтобы не дать старикам умереть по-старому. Мы ищем свободу без Бога, чтобы найти свободу без себя.

— Так вы что, отрицаете мораль? — спросил Владислав.

— Нет, я просто не знаю, что это такое, — отвечал Иохим, опуская голову еще ниже.

— Мораль есть не что иное, как ограничитель жизни, — вступил Ингмар, почти уже пугая своей апокалиптической афористичностью. — Вспомните наугад что-нибудь из истории и сопоставьте времена, когда человеческое общество было неразвито, когда нравы и обычаи людей были чрезвычайно грубы, и в то же время сила, выносливость, энергичность угадывались всюду от быта до обрядов и мифологии, с той эпохой, когда жизнь стала слабеть физически и когда мораль стала дешеветь, низводясь до уровня неотъемлемой части домашнего уюта, когда благопристойность и беспрекословное следование букве закона предков стали вначале старомодными, а затем смешными. Одним словом, когда метафизика основы основ сменилась логикой диалектического развития.

Некоторое оживление в нашем военизированном одной лишь формой объединении было вызвано скорее тем, что Ингмар мог изъясняться на мирской манер, и потому утверждение его имело достаточно бледный вид. Видимо, почувствовав неблагоприятный исход риторического жеста, он развивал свою мысль далее:

— Мораль — это сдерживающее ярмо для жизни, дабы та, принимая самые нелепые, неожиданные тона, не уничтожила сама себя своею силою. Как часто любят серые, однообразные, духовно не развитые, примитивные люди вызывать к морали, силясь образумить сильных мира сего и уравнивать их с собою в категориях права и долженствования, но, увы, как сказал Луций Анней Сенека: «Если весь лес состоит из одинаковых деревьев — никому не придет в голову любоваться отдельно взятыми деревьями». И сколько бы ни старалась

мораль, густолиственные заросли жизни никогда не поредеют настолько, чтобы всюду сделаться двустороннепроходимыми.

Более соглашательный на вид Владислав тоже, нащупав в себе образную ткань, попробовал воспарить над внешним растительным оцепенением Иохима, распластавшегося на земле, будто корень мандрагоры, освобожденный от земли. Проглотив изрядную порцию слюны, он изрекает следующее:

— Основная привлекательность моральных норм и сопряженных с ними дебатов, на мой взгляд, заключается в том, что первые можно менять, ибо, если мораль служит предметом страстного обсуждения в тех формах, в каких она существует, следовательно, эти нормы преходящи.

— Или сама мораль,— извилось в воздухе анонимно. Чередование реплик и довольно опасных по своей противосмысленности сентенций происходило по правилам мракобесного миракля. Казалось, массовое движение повсеместных атрибутов войны своей летальной абсурдностью, каковая выявится завтра у холодного изголовья тысяч убитых людей, дополняла направленность этой безвыигрышной перепалки хорошо образованных людей, исполненных внутренней дисциплины и вдруг мобилизованных на борьбу с анархией. Ни жерла пушек и приплясывающие в затекших руках знамена, ни вражда лошадиных морд возле овса, ни варево разных круп в медном чане, ни инопланетные многоногие существа из составленных в пирамиды ружей не были декорацией, но сама абсурдность их существования, возведенная в культ канонами военного ремесла, была изобретением незримого постановщика, решившего перемазать друг о друга судьбы случайных людей. Быть участником такой пьески — все равно что вести себя по отношению к собственному духу так, словно он сводный дух.

Ржание выбившейся из сил лошади гальванизировало в моей оперативной памяти все модуляции страдания, и я неожиданно понял, что в страдании самое страшное — это

мысль, что оно уже кончилось. Неужели? Так сразу? Ведь я, уже успев порядком привыкнуть к нему, и оно стало символом и мерилom моего совершенства.

Лошадь смолкла, робко захрипела и замолчала вновь, внимательно слушая удары кнута по собственным ребрам.

Ингмар, наверное, завтра решил попасть в плен, чтобы пополнить коллекцию ощущений. Быть полоненным самой свободой после изрядной битвы с нею. Сейчас он мысленно разминался, потирая запястья для кандалов.

— Мораль — квинтэссенция несправедливости, ибо налагаемые ею ограничения накладываются до того, как будет рассматриваться конкретный индивидуум или феномен, при рассмотрении которого они, собственно, и нужны в качестве его оценки. В основе любого морального мышления лежит предвзятость. Мораль без догматического образа мышления существовать не может; там, где есть догма, есть застой, всегда при тщательном наблюдении можно обнаружить конструкцию строгой морали. Мораль есть предустановка, именно в этом ее аморальность. К моральному мышлению склонны люди, не способные ни к одному роду мышления ввиду того, что моральное истолкование явлений есть самое поверхностное и, следовательно, самое низшее истолкование. Кто прав и кто не прав? А почему вообще кто-то должен быть прав или не прав?

Всех нас пеленал манящий и волнующий транс благолепного надвременья, который ошибочно именуют задумчивостью, метаэтические откровения иссякли, обнажив меж нами прозрачные перегородки, зыбящиеся на фоне декораций, хотя все эти образы я не гнал прочь, чтобы поразвлечься и отчасти оправдаться. Я слишком хорошо знал, что «уже в самом понятии духа заключается свидетельство, что присутствие его возвещается совершенно иным путем, чем присутствие тела» [Артур Шопенгауэр].

Я поразмыслил и пришел к выводу, что мораль и жизнь не должны быть сильнее друг друга, но должны быть обе силь-

ны равноудачно, тогда ни одной из них не придется оправдывать соперницу.

Мой внутренний прибор, каковым я замеряю интенсивность мистического состояния, зафиксировал отклонение на несколько единиц и вновь постепенно возвращается к трезвомысленному и такому добропорядочному нулю. Мы устраиваемся на ночлег, не желая друг другу приятной ночи, чтобы не кошунствовать над звездами, хотя выспаться необходимо. Для того чтобы умереть, нужно очень много сил, и не всегда смерть удается без подготовки.

§ 17

Во сне перед боем я перепробовал все доступные рецепты сновидений, хотя даже в нем ни на секунду не забывал, что сплю на земле, укрывшись шинелью, и под головой у меня подушка, набитая пухом и мыльными пузырями моих колких фантазий, а всего лишь жесткий ранец, но неказистая обмирщенность ложа не сковывала подвижность воображения, и то злорадствовало. Пузыри густели, наливаясь атласным блеском, и рвались с исступлением беспризорных пощечин, а в их россыпях объявилось продолговатое намелованное лицо моего учителя высшей математики, которого я, собственно, никогда и не любил, ибо естество простиравшегося меж нами предмета никак не подразумевало наличие подобных чувств или их конформных отображений. Я смотрю на алогичное лицо математика сквозь дрожащую призму сна и умиляюсь который раз. Вот учитель вязнет в моей несъедобной математической стряпне, и в глазах его, полных геометрического скепсиса, роятся буквы греческого алфавита. Сейчас он, сощурившись, посмотрит на свою руку, точно на мнимую часть случайного числа, и изречет: «Если задача не решается в одном пространстве, это значит, что она, с соблюдением соответствующих правил, должна быть перенесена в другую, решена там, а ответ с помощью тех же правил перенесения должен быть возвращен в исходное пространство. Это назы-

вается методом Лапласа, ему мы и посвятим оставшееся время». Я бесновался тогда на куцем отрезке между X и Y, всячески заговаривая свою анонимность и по-своему пытаюсь уразуметь мир, который угораздило случиться вокруг меня. А тот же учитель, взирая на меня как на компактно продифференцированную дробь, молвил так: «Мой мальчик, поверьте мне, математики — самые фантастические люди на земле, они изобретают только идеальное, то, что нельзя увидеть да и подчас вообразить, они измышляют новые игры для своей взбешенной чудаковатости, именуя это призванием или высшим смыслом; но затем, по прошествии многих лет, эта игра, этот досужий инсайт обретает свою плоть. Реальность, чтобы быть реальной, всегда ищет поддержку у нереального, меркантильный материализм нашей жизни, враждуя с абстрактным идеализмом мечтательности, перенимает методы последнего, дабы, завладев ими, умерщвить соперника. Но парадокс истории заключается в том, что ни одна фантазия математики не осталась беспризорной, ибо требования современности всегда находили позднее в этих нелепицах нечто большее, чем просто рациональное зерно. Исключений не было, все математические новшества нашли свое воплощенное применение».

Своим сакральным видом чистоплотного друида, знанием неведомого мне предмета учитель загнал меня в ту область, где рано или поздно начинаешь соглашаться. Если не знаешь что ответить, говори «да». Самое метафизическое пожелание. Таким образом преобразования Лапласа стали опознавательными знаками беглого логова моего счастья. Этими двумя изречениями моего учителя я пользовался со всем остервенением сиятельного раба, многими потакательствами капризам своего безродного рабовладельца вылизавшего вольную, и блаженство с тех пор не покидало меня, принимая форму многомерного открытого шара.

Учитель может спать спокойно, он научил меня жизни, ибо все свое оставшееся с тех пор время я посвящаю преоб-

разованиям Лапласа, которого сопричислил к своим гениям-хранителям. Непонимание жизни кануло вместе с ее неприятием. Если многосложная задача моей жизни не решается в обыденном миротворческом пространстве, значит, я со всею готовностью поспешествую перенестись в иное, где могу что-то решать. Пора внутренней эмиграции закончилась, и мое категорическое воление проникло из мультипликационного спиритуалистического мира, в соответствии со всеми правилами перенесения, во внешнее пространство энергетических деяний.

Да поможет мне моя розовая инопространственная болезнь излечиться от пароксизмов безволия и этического белоковия.

Цепная реакция галереи образов, передающих друг другу эстафету символического бодрствования, забылась, и где-то на полпути между зеленоволосыми нимфами и желанием написать портрет трансфинитного числа в дадаистской манере весьма тактично вкралось пробуждение. Капрал вновь увеличил нежный утренний воздух окриком, собирающим уже не на атлетические занятия, но на всамделишную войну. В розовом вареве рассвета сновали тысячи людей, после утреннего туалета, завтрак и чарки водки заползающие на свои места в строю. Лошади недовольно били землю копытами так, точно это она провинилась в этом сходбище людей и животных, являющихся всего лишь материальным подкреплением двух враждующих идей. Я угадывал нешутейное оживление и в стане врага; между селением Y и позицией, которую занимали анархисты, колыхались движущиеся людские массы, изображающие нечто вроде оживленной манифестации. Наше противостояние, казалось, было заимствовано с первой страницы учебника стратегии, до того занимаемая нами позиция была хрестоматийно безыскусной. А возможно, судьба благоволила нам, украшая простотой ландшафта бутафорию единоборства? Нам суждено было померяться силами в низине, и создалось впечатление, что две интерпретации людско-

го общества снисходили друг к другу, ибо на нашем правом фланге простирался густолиственный лес, не проходимый массами кавалерии. На левом же красовалась медленно перебираемыми четками блеска река, название которой также происходило от названия селения Y. Таким образом, стесненные естественными преградами, мы не имели возможности показать друг перед другом чудеса полководческого хитроумства, и нам не оставалось ничего лучшего, как сойтись лицом к лицу так, чтобы ветеранам-калекам, оставшимся после этого сражения в качестве уродливой пометы на общем фоне здоровых людей, не пришлось страдать от ран на спине. Ибо принято считать, что эти раны могут быть получены только при бегстве.

Адъютанты сновали на своих глянцевах лошадях, и правая рука в белой лайковой перчатке этих журнальных мальчиков, казалось, навеки была пришита к правому виску. Молодой лейтенант потерял несколько перьев из своей шляпы. К тому же от спешной езды при рекогносцировке он весьма неудачно запачкал новенький мундир огромными пятнами грязи, и издалека было похоже, что его расторопная сущность хаотично опечатана сургучовыми печатями неприкосновенности. Орудийная прислуга волхвовала возле батареи пушек, точно по прихоти предсмертной забавы катая с места на место иссиня-черные ядра, и я вспомнил портрет Лейбница и его учение о монадах. Стайка хилых волонтеров в нелепых мятых, грязных брюках, обдавая друг друга клубами несносной пыли, заканчивала строить жалкое подобие фортификационного сооружения, долженствующего сделать пушки неприступными для кавалерийской атаки. Флейтисты и трубачи оркестра тем временем назойливо муштровали губы, навязывая им энергичную мелодию атаки. Барабанщик выстукивал ладонями на груди ритм, кожа на его барабане была в фиолетовых пятнах. Лицо старого капельмейстера все в трещинах морщин было отлакировано щедрыми лучами солнца. От быстротечных токов тепла гигантский объем

воздуха над низменностью конвульсивно содрогался на всю свою оптическую глубину, создавая крохотные предвестия галлюцинаторных недомолвок, как будто он был непрочно натянут между тысячами глаз, штудирующих друг друга осторожными абстрактными проклятиями. Километровая толща воздуха мгновенно изогнулась и сжалась в лупу, ввернутую в передовые скопления анархистов, и до меня долетело удалое лицо, состоящее из одних розовых щек и похожее на массивный кулак в капюшоне.

И я вдруг ошалел от собственного беспричинного веселья, набежавшего откуда-то из-за стен селения У на волнах торжествующего бунтарства, и понял, что беспричинное веселье — это наивысшее веселье, ибо только оно показывает, что причиной его сделался наконец-то ты сам. Мои уста коснулись горизонта и опрокинулись навстречу диковинной голубизне неба с единственным намерением испариться безмятежной улыбкой под его нерукотворными сводами, и в этот миг грянул первый пушечный выстрел, нависший над нашими рядами кулком ватного дыма. Сытый гул, кряхтя рассыпчатым эхом, угнезвился в чутких лузах наших ушей. Началось... Дымные тампоны на подставках огня заполонили всю местность. Гигантский фантом играл в городки в биологической лаборатории, бросая биты в пробирки с гомункулусами. В поволоке набежавшего взрыва Освальд стал вдвое короче, продолжая стоять. Под ним не было ног. Он закричал только тогда, когда осознал это, и тотчас потерял сознание.

На всю оставшуюся половинчатую жизнь его суждения останутся вдвое короче.

Дюжина одновременных надсадных воплей пресеклась хладнокровной командой и свистящим ядром, угодившим в скопление кавалеристов. Причуды взрывной волны выбили из седел всех всадников, не задев ни одну лошадь, и только когда животные почувствовали легкость, они бросились в разные стороны. Отдающий честь адъютант скользнул фанерным листом, впечатавшись в грязь своей уставной позой.

Барабанщик выбежал из-за фонтана огня, пораженный пляской святого Витта. А остатки барабана, висевшие на ремне, дополняли изодранное платье, точно атрибуты шаманского ритуала. Его лицо, оцарапанное когтем осколка, скорчилось в гримасе молниеносного старения. Одно ядро попало в лежавшую на земле шляпу и не взорвалось, но все стоявшие рядом повалились наземь, просительно выжидая взрыв. Наша тяжелая артиллерия через равные промежутки времени сотрясала окрестность изрядными порциями залпов в расчете на психическое воздействие, и было видно, как на буром фоне скоплений противника меткая стрельба выклеивала огромные ключья бунтарского пушечного мяса. В удаленных роениях мятежников я увидел приглушенный ужас, который на таком расстоянии имел исключительно кинематические и геометрические проявления. Анархия всегда низкого мнения о порядке, особенно дряхлеющая, но у любого порядка всегда есть преимущество обезличивания своих страданий. Свобода же, напротив, в каждом пустячном ушибе склонна видеть знамение и символ.

Первый шок миновал, глаза приобвыкли к крови, уши научились слышать что-то еще кроме орудийного гула. Рассудок, отогнав сиюминутный страх, начал размышлять о чем-то естественном и пропорционально соразмерном ситуации. Во всем этом громогласном вертепе один только ветхотелесный медузообразный генерал-аншеф был совершенно спокоен. На его дряблом лице можно было вычитать благодушно-сентиментальные мины, которые могут осенить почтенного старца, окруженного резвящимися у ног внуками и домашними животными. Он смотрел в расположенную перед ним карту, что-то уже давно для себя решив. Картинно-жеманные амбиции смылись с первыми выстрелами, и подагрическое лицо, перетягиваемое вперед бесформенным лбом и мешками под глазами, безучастно смотрело на предсмертную агонию молоденького солдата, неуверенно цепляющегося за собственные внутренности, разбросанные вокруг него в гря-

зи, словно в анатомическом театре. А маленькое пятнышко крови, низлетевшее на карту, изменило мерный ход мыслей генерала, и он, откинувшись назад всем грузным телом, принялся настойчиво приказывать, и окружавшие его всеором адъютанты бросились к лошадям исполнять приказания. В разноцветных глазах молодчиков не было ничего, кроме прекрасной молодой спеси и приказа, распирающего зрачки.

Барабанная дробь, опоясанная оркестровыми конвульсиями мелодии атаки, согнала мистический ступор с людей, испуганно-замерзленно вслушивающихся в полифоническую симфонию из сухогрудых взрывов, пронзительных воплей и надсадного гула. Команды бросились в разные стороны, находя своих исполнителей. Изрядно перевираемые возбужденными голосами, они наполнили своим диковинным рисунком цепной эхоталии всю вогнутую низину местности.

Мускулистая лавина блестящих крупов, чеканных ударов аллюра, изогнутых тел, едва не перевешивающихся через головы взбешенных коней, мчащийся хищный лес из пик, сабель и палашей. Истерия всеобщей кавалерийской атаки, погребая цветущий кустарник и неубранных раненых, понеслась в направлении мятежников. Следом за кавалерией, сомкнув ряды и сделав их более съедобными для артиллерийского и ружейного огня, двинулась в атаку пехота. У нас над головой навстречу друг другу неслись пушечные ядра, и, едва мы достигли самой низины, остатки утреннего тумана сделали нас невидимыми. Незримые, мы двигались вперед, не видя противника, лишь озвученные войной спереди и сзади. Неистовый топот, затухая, уносился вперед и вверх, пока неожиданно не сделался громче, наскочив на что-то, столь же буйное и лязгающе-железное. Еще находясь в этом блюде с оранжевым от восходящего солнца туманом, мы услышали, как наш незримый авангард врубился в противника у его передовых позиций. Уткнувшись неровным дыханием в спины идущих впереди, мы ускорили шаг. Туман кончился, будто отрезанный, и наш гренадерский полк, все время шед-

ший правее от центра, оказался первым в нескольких сотнях метров перед местом кавалерийского побоища. Молоденький низкорослый командир роты, запутавшись ножами в собственных ногах, прыгающих с кочки на кочку, с трудом выдернул саблю, уже устав кричать «ура», и бросился вперед, увлекая нас за собой. Он поминутно оборачивался назад лицом, состоящим из одного рта, уже «ура» не кричавшим, и я, осмотревшись, увидел вспотевшие напряженные лица моих недавних знакомцев. Все были здесь, кроме Освальда:

Иохим, Игнатий, Макс, Владислав, Людвиг, Александр, Мартин, Антон, Гийом, Ингмар.

Споткнувшись о знаменосца, неприметного в биениях полотнища, мы бросились в гущу танцующих в поединках коней и лежащих в траве изрубленных всадников. Мы бежали борющихся, точно литые чугунные ансамбли, и врагам приходилось расплывать внимание между натиском наших кавалеристов и пешими гренадерами, вонзающими штыки под конские ребра. Сабельный лязг в мгновение окрасился ржанием убиваемых коней, и на этом участке сражения исход атаки был предрешен в нашу пользу ввиду того, что кавалерия бунтарей, дравшаяся у своих же позиций, не была своевременно поддержана пехотой. Лишь профиль местности благоприятствовал им, так как получилось, что мы наступали вверх из низины, но, упустив инициативу и время, анархисты не использовали это преимущество. Длинные уланские пики с флажками, удалые гусарские сабли, массивные палаши кирасир, а также штыки и приклады все прибывающих на подмогу гренадеров делали свое дело, и равноудачная поначалу борьба превратилась в уничтожение доморощенной, неединообразной, плохо вооруженной кавалерии бунтарей. Пестро разодетая масса сражающихся кружилась на месте, выбрасывая куски тел и отпуская увечные вопли в обрамлении хлопушечных взрывов. Я оглянулся на знамя: оно высилось над фонтанами конских грив подобно апострофу.

С трудом уворачиваясь от грузной тени и ее сабельного свиста, стреляю на звук, останавливаюсь и, невзирая на опасность быть перерубленным, начинаю медленно заряжать ружье, так как в суматохе я совершенно запамятовал, как это делается. Стою, скрючившись и волхвуя над затвором, и в этот момент концентрированный удар в спину поверг меня наземь, вдавливая в рыхлый дерн до коричневой боли.

Он был так силен, что во мне отбило все гласные буквы, и они высыпались прочь.

С трудом вынимаю ноющее по всем диагоналям тело из-под убитого жеребца и вижу группу бегущих людей, одетых в легкие куртки, с топорами в руках.

Рядом — никого.

Странно. Прошло всего несколько мгновений, а кавалерийская сеча уже исчезла, оставив несколько сотен тел и столько же лошадей, пасущихся на сочной от крови траве. Повинуясь надъестественному инстинкту самосохранения, снимаю очки и усиленно мажу лицо твердой как глина кровью, которую собираю ладонями из огромной раны на шее жеребца, надевая поверх своей усыпанной маски розовые очки и, неестественно вывернув ноги в каком-то деформированном фуэте, замираю возле обезглавленного анархиста. Люди с топорами неровной цепью пробегают по телам, добывая раненых в синих мундирах, и убегают прочь, скрываясь в невысоком кустарнике. Лежу, радуясь облакам. Откуда-то из-за белой пушистой небесной накипи прилетает пушечное ядро, сорвавшееся со своей убийственной траектории, потроша и разбрасывая в разные стороны тела и без того уже убитых людей.

Бегу к виднеющимся вдаль синим квадратам и только теперь, нагоняя бой, понимаю, что несколько мгновений, возможно, спасших мне жизнь, были несколькими десятками минут. Я нагнал своих, но это был уже не наш гренадерский полк, а другой. Догнав его, я миновал артиллерийскую батарею анархистов, точнее то, что от нее осталось, ибо земля

кругом была изъедена черными оспинами взрывов, местами еще дымящимися, а обильные россыпи тел вокруг перевернутых и разбитых орудий, зарядных ящиков и повозок свидетельствовали о недавнем кровопролитном штурме. Несколько десятков солдат с безучастными лицами, заимствованными у любителей падали, вынимали раненых из груды убитых тел. Возле составленных в одно место носилок образовалось нечто вроде госпиталя под открытым небом, где эскулапы с засученными рукавами возвращали к жизни тех, кто от страданий и страха перед увечным будущим грезил уже только смертью. Мой синий мундир и испачканное кровью лицо восприняли как нечто само собой разумеющееся, и я уже двигался в цепи гренадеров, приближающихся к месту взаимодействия пеших сил. Барабанная дробь, смешанная с ружейной пальбой, была совсем рядом, а между цепями гренадеров, движущихся гадательно-прогулочным шагом, бодрствовали непристойные острооты, схватывающие мимические мускулы в вычурных пароксизмах, заключенных одинаково далеко от смеха и возмущения. В экстремальных ситуациях пошлость тоже защищает душу, точнее, монтирует ее, уже разрушенную, словно сказочная мертвая вода.

И вдруг мне в ноздри с сумасбродной поспешностью летучей мази ворвался запах яблони из далекого детства, один только запах, не подкрепленный роскошным изображением, и это непрошенное беспощинное ощущение пришлось мне впору и дало восчувствовать мою пьянящекрылую надмирность. Я взобрался к себе на плечи, чтобы лучше видеть это нечто новое, этот мир, неожиданно утративший постыльную прямоугольность, мягкотелое правильноцветие и невменяемое иждивенческое времятечение. Это походило на ренессансные маньеристские миниатюры с выморочными энергичными акцентами на множестве движущихся проекций единой воли, пославшей огромные массы живого материала в пекло самой противоестественной из войн. Ружейная пальба сделалась интенсивнее, и я уже видел их, наглых, решительных,

буйной толпой, предводительствуемой полнокровными детьми в грязном коричневом плаще, идущих нам навстречу тою же поспешной походкой. Я разглядел в их руках вполне приличные ружья и множество карнавально бряцающего холодного оружия. Мы степенно поспешали навстречу друг другу с номенклатурной вежливостью сослуживцев, обязанных поздороваться. Лица гренадеров уже ничем не отличались от косоротых, шаблонно фанатичных лиц анархистов, хотя среди них мне виделись люди, достойные внимания ввиду того, что лица их даже в этой агрессивной толпе хранили водяные знаки возвышенности, не смываемые овеществлением свободы. Вся психическая энергия двух толп, синей и коричневой, пробралась в модули воинственности, и никто уже не думал ни о чем ином. Повстанцы стреляли без команды, гренадеры же, двигаясь неотступным сомкнутым строем, за несколько метров до соприкосновения замерли на месте, повинувшись грозному окрику офицера. Первая шеренга упала плашмя, как подкошенная, прижав правоглазные целящиеся лица к ружьям; вторая стала на колено; третья изготовилась к стрельбе стоя, четвертая возложила ружья на плечи пред следующих. Массовые манипуляции одного человека сотнями других, казалось, произвели нешуточное впечатление, и коричневая толпа сбилась с шага, привороженная нашим слаженным понукаемым колдовством.

Короткая, но тяжелая пауза, сфокусированная судьбой, зависла в воздухе, и аномальнозвонкий фронтальный залп выкосил около трети тушевавшихся батарей.

Офицер бросил следующую команду уже поверх голов бегущих в атаку гренадеров, бросил с запозданием аварийно срывающимся голосом, потому что командовал уже из прошлого времени, будучи убитым.

Я вцепился в ружье, вытянув вперед рецептор штыка до боли в погонах, и бросился в эту убийственную чехарду, где рукопашная схватка начинается с любопытства и пробного удара. Полная гамма звуков, точно из взорвавшейся орке-

стровой ямы, размазалась по оси времени, став разновидностью непроходящей тишины. Кто-то полз на кровотокающих обрубках, оставшихся от музыкальных и сладострастных рук, а отрубленные руки эти продолжали держать ружье, воткнутое штыком в рычащего и плачущего отца пятерых детей, падкого на агитацию. Здесь убивают не из личной антипатии, а только за то, что ты одет в цвет врага.

Истерия цыганского табора, забрасываемого золотом,— белокровное уныние по сравнению с этим. Люди предавались импульсивным пляскам, взметая тела в экспрессивных позах, граничащих с нарушением их физической целостности. Одни боролись стоя, другие валялись на земле в удушающих объятиях, иные метались, то уворачиваясь от ударов, то нанося их. Лицо недавнего пылкого любовника обезобразилось до едва дышащего биологического изуверства под ударом приклада, кто-то не ленился стрелять, не разбирая своих и врагов пустыми глазницами, другой кричал разорванным ртом, и оттого бесформенный крик этот не вмещался в уши. Бунтари охотно использовали весь арсенал имеющихся у них средств: дубины, цепи, сабли, шпаги, ножи, топоры — и все это ввиду своего разнообразия оставляло не похожие друг на друга увечья. Мы были менее вариабельны в нанесении урона, но не менее удачливы. Мне под ноги закатился скрючившийся гренадер с переломанным позвоночником и зеленым от боли лицом. Я наклонился к нему в назойливой надежде помочь. Фиолетовые губы его шепнули: «Запомни меня», и в это мгновение две грязных руки, точно inferнальные гидры, схватили меня за горло и прижали к зеленому и уже бездыханному лицу. Я схватил их за запястья, считая бешеный пульс анархиста, а мгновение спустя стряхивал с себя его, словно гнусного скарабея, вспоротого по всей длине, и стирал со щеки зеленое пятно, оставшееся от соприкосновения с убитым гренадером.

Поправляю розовые очки.

Спину сквозь ранец прожег молниеносный сигнал опасности. Оборачиваюсь и вижу, что на меня бежит огромный

угловатый юноша с коротенькой саблей. Что-то звериное выплеснулось из меня наружу, и это новое злодейское посягновение на мою жизнь настолько удивило меня, что было лень помыслить испуг. Ты хочешь убить меня? Но ведь ты совершенно не знаешь меня!

Я мультипликационный человек, и меня нельзя убить, меня можно только закрасить.

Сжимая ружье и выгнувшись всем телом, пружинисто выпрыгиваю ему навстречу, держа оружие на вытянутых руках, и благодарю создателя за то, что интроверт душой и экстраверт телом. Благодарю за высокий рост, длинные руки и резиновое гибкое тело шута.

Я пробил его шею насквозь у основания и нажал еще, дрявя уже вопящую за ним пустоту, а юноша, конвульсивно дернувшись спиной и плечами, словно диковинная бабочка, наживленная золоченой иглой на черный бархат коллекции, повис на моем ружье, медленно опуская занесенную саблю.

Я
убил
его,
господи!
Я убил его!!!

Что-то вдалеке меня пронзительно лопнуло. Звуки принялись передразнивать друг друга на пределе колебания, краски закричали, меняясь местами. Лица поплыли, копошась в мимических агониях злой волшбы, поле битвы, усеянное и уставленное навязчиво сотрясающимися телами, сделалось прозрачным. Я глянул под ноги и увидел, что из каждой точки пространства рождалось новое поле брани. Я наклонил голову, здесь было то же самое, и параллельно моим глазам по всей высоте из каждой точки рождалось кровавое объемное представление. Я наклонился что есть мочи к небесам, и там, надо мной, стоя на моих глазах и простираясь в безбрежность, творилась та же несусветная самоистязающаяся фантазмагория. Со звезд падали раненые, грызя ядовитую

землю глубоко под моими ногами. Я задыхался в четырех измерениях, обезображенных окаянной скверной, и недостаток воздуха сделался многомерным, как и окружающая меня структура войны, которая представляет собой фотографию криминалиста, где рядом с телом убитого непременно присутствуют кусочки сантиметровых лент, показывающие величину ран и расстояния от одного предмета до другого. Я увидел мир в новом судьбоносно графическом измерении, и все поле усеялось запрограммированно двигающимися щупальцами сантиметровых лент, пожирающих солдат. И все эти ленты показывают, сколько точно было сантиметров и минут до смерти, ибо эти ленты движутся во времени, являясь в качестве особой проекции отображением поля боя так, точно невидимый криминалист занимается канцелярским и фотографическим освидетельствованием борьбы жизни и смерти.

Я стоял в выносливом оцепенении, привороженно внимая моему штыку как острейшему чувствилищу, проникшему в чужую, еще не долюбившую и не домечтавшую, но уже свершившуюся судьбу, и мощнейший импульс невыразимой боли на грани стремительно разбегающегося прошедшего и настоящего времени прошел по окровавленному штыку сквозь меня, едва не спалив все нервные волокна.

Я всегда верил и чувствовал, что болевые ощущения зависят от интеллекта и уровня душевной организации, и теперь упивался всею болетворной гаммой, совершенно не умея вырваться из нее.

Я сижу на земле, не чувствуя в воздухе криков и пуль, вполне счастливый нагольной привычкой выживать, а белокурая тонко вылепленная голова юноши лежит у меня на коленях. Я возложил правую ладонь на чистый и теплый лоб убитого, старательно впитывая в себя его последнее источающееся вовне тепло, чтобы оно не пропало даром. На мгновение я замешкался, надумав снять свои розовые очки, но весь космический ужас был в том, что окружающая меня тошнотворная

структура войны ничуть не изменилась, став еще более зримой и усложненной, и я одумался, понимая, что даже наедине со своими чувствами, сколько бы я ни брезговал ими, нужно быть чистоплотным джентльменом. Кроме того, «никогда не следуйте первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо» [Шарль-Морис Талейран].

Судьба покоится меж двумя составляющими: активной и пассивной, то есть между той, что может быть принципиально изменена индивидом посредством его оперативного вмешательства, и той, что не поддается оному, являясь изначально данной. И еще мне примыслилось, что чем больше я укрепляю и закаляю свое тело, тем большее развитие посредством влияния сублимированной энергии получает мое метафизическое начало и, значит, от воли до метафизики — один шаг.

Я испытываю легкое эстетическое неуютство за себя, это-кое неприкаянное этическое возбуждение, как в присутствии откуда ни взявшихся не безразличных мне изящных дам, поднимаю глаза и вижу. Действительно. На небесах нет свободного места, ибо они устланы изображениями любимых, что привиделось умирающим на поле. Испускаемые вздохи в мгновение ока накликают сюда этот паноптикум женской красоты, который не скоро станет тускнеть и рассеиваться. Каждое поле битвы прикрито пологом, чтобы уравновесить мощные потоки психической энергии человечества в экстрапространстве.

Вновь налетели ядра, налетели, как каленый град, измержив последние визионерские восторги тысяч коченеющих в ступоре губ и порвав ажурную кисею восхитительных образов, а одно из пушечных ядер угодило в часовой механизм войны, и время подернулось цветистой судорогой, то вдавливая мои глаза в замедленные манипуляции контуженого старика, отмахивающегося от своих осыпающихся ресниц, то истерически мча вслед за толпой легкораненых людей, бесцельно суесящихся оголтелой толпой. Я смотрел на увечных, каж-

дого на свой лад, и в их измятых, изорванных болью лицах читал один только вопрос, повторяемый в бредовом автоматизме: «За что мне это?» Они энергично мучились, благоусердно показывая друг другу чернокровные изъяны на теле, словно сокрушенно соревнуясь в страдании и одновременно заговаривая его. Падая и поднимаясь, отталкивая друг друга, и поддерживая, гренадеры и анархисты рядом, будто гигантская бесполой толпа уродов, жаждущих исцеления, ползли по земле, обратив твердеющие в неистовой надежде глаза в сторону светозарного чуда, что сейчас так легко снизойдет и избавит от мук одним роскошным нерукотворным касанием. Но скомпрометированное чудо не давало себя знать, и они проклинали его, продолжая звать. Уже темнело. Я стоял в каре гренадеров, отстреливаясь от набежавшей конницы бунтарей, дерзающих последней атакой разрушить наш строй и лишенных единства изрубить и затоптать, но мы жались плечом к плечу, вонзая штыки в раскаленные бесконечным аллюром морды коней. Я убил прекрасною гнедого скакуна, бросившегося на меня со своим хищным всадником, одетым в тугую кожу, который, едва оказавшись выброшенным из седла, был добит прикладами на земле, как немощный голубь сворой злорадных мальчишек.

Мы побеждали.

§ 18

Сражение переместилось под неказистые стены селения Y. Я озирался временами назад и видел огромное вогнутое пространство местности, которое к этим вечерним часам еще больше провисло от обилия бесформенных тел людей и животных, от многопудовой тяжести мучительно густеющей тьмы с беспризорными водоворотами дыма, от разбитых орудий и повозок с ампутированными колесами. Щедрый россыпи убитых под этим пустым беззвездно-безлунным небом напоминали ночной пляж, а сквозь мои очки все носило печать розового траура. Повстанцы спешно перемещались за

крепостные стены, надеясь склонить нас к длительной осаде, но защитные рвы были неглубоки, а стены, башни, бастионы и иные фортификационные сооружения, состряпанные без достодолжного инженерного тщания, имели не неприступный, а скорее декоративно вызывающий вид. Мало того, форты более поздней постройки были столь неумело вписаны в общий оборонительный ансамбль, что ни о какой правильной организации многоярусного перекрестного артиллерийского огня не приходилось и говорить. Бегущие, словно потоки чернил, всасывались в несколько башенных ворот, позабыв о прикрытии, или, очевидно, как и всякие воинственные проявления анархизма, проникнутые удалым чванством, не помышляющие об обороне, они беззащитной толпою сгрудились возле стен на небольших пятачках. И едва в это месиво, состоящее из одних суесящихся спин, хлынули первые опустошающие залпы нашей легкой подвижной артиллерии, как началось истерическое столпотворение. Люди топтали друг друга, ломая ребра и кроша черепа, прыгали на спины поджариваемой саранчой, рвали за волосы, карабкались в неистовом исступлении настигаемых зверей. Тот, кто оказывался повергнутым наземь, стекленея в бессильной злобе, вгрызался в ноги и края одежд тех, кому посчастливилось протиснуться в спасительную горловину ворот. Кульминация этого торжища паранойи наступила тогда, когда сбитая с толку несусветным обилием взаимопротивоположных команд городская стража, принявшая сторону восставших, преждевременно захлопнула ворота, не впустив еще несколько сотен отступающих, и пронзительный вопль клакеров, озвучивающих собственную смерть, потряс сражающихся. Никто из них не остался в живых.

В толчее мертвецам негде было лежать, и кровавая мазь картечи размазала их стоя по воротам и стенам в безобразный обглоданный барельеф агонии. Начался штурм крепости. Рука невидимого кукольника метала расхристанные тела штурмующих на дно заградительного рва, будто списанные с подмостков куклы, а тяжелые осадные гаубицы на предель-

ных параболических траекториях, минуя стены, запускали свои разрушительные щупальца в сердцевину проклятого селения Y. От зажигательных ядер начался всепожирающий пожар, а общая интенсивность артиллерийской стрельбы, как и в начале битвы, насытила горячий вечерний воздух садняще-свинцовым органным гулом. Мимо меня промчался гвардеец с огромной дырой вместо лица, а целый хоровод из пушисто-раскидистых взрывов окружил меня акустически непроницаемым занавесом и забросал увесистыми комьями земли и лоскутами человеческих тел, обернутых в синюю упаковочную ткань. Рядом лежал рыжеволосый солдат, сильно поджав под себя ноги и забавно надув щеки так, словно ему стало бы легче, если бы они лопнули. У него не было спины. Бой продолжался с прежним упорством, хотя позади был целый день, и потери с обеих сторон были умопомрачительными. В сине-красном мареве рыхлого заката мы подтягивали все новые и новые подкрепления под стены селения Y так, чтобы уставших и измотанных за день бойцов сменили свежие, еще не потрепанные силы. Десятки тысяч факелов, зажегшихся почти одновременно, заполнили дрожащими точками света всю зримую удаленность, и поле, усеянное габаритными огнями войска, стало подручным антиподом пустынного неба. Факелов было даже больше, чем нужно, и я вмиг уразумел, что в этом заключается психотехнический замысел нашего прозорливого генерал-аншефа — устрашить бунтарей имитацией невиданного сходбища войск. Начался первый приступ, и гвардейцы тащили длинные осадные лестницы, предварительно заготовленные во множестве. А пока одни солдаты приставляли их к стенам, другие вели меткую пальбу по бойницам. Бастионы, опененные непокорным роением защищающихся, были готовы к отражению лавинного натиска правительственных войск, и с высоты, кроме ядер и пуль, на головы наступающих летели камни, бревна, куски мебели; а также, покрывая осадные лестницы и людей убийственным курящимся чернением, проливалась кипящая смола, и рядом

со стонущей мякотью раздавленных на земле образовался целый ансамбль из черных твердеющих статуй, местами еще подающих признаки жизни. Мне на губы ласково набежала взбалмошная щепоть душистого пепла, стекла очков покрылись розовой кружевной испариной, на ушах скользкими клипсами повис вкрадчивый посул сокрушенного колокольного звона, пытаемого испуганными звонарями и осколками ядер. Я не удивился бы, если мне на руки случилось бы упасть раненому ангелу.

Силы были неравными, и, сбросив со стен, словно кегли, несколько десятков гвардейцев, анархисты захлебнулись в стремительном порыве все новых и новых штыков, а зычный вопль торжествующих канониров, взорвавших ворота, оросил все войско одобрительным хищным клекотом.

В этот миг судьба всего бунта была решена, потому что, рассеяв внимание между оравой уже полупьяных гренадеров, вломившихся в ворота, и той частью войск, что избивала обороняющихся на бастионах, повстанцы не успели подавить ни один из этих прорывов, бросив туда своевременно последние силы единым отрядом.

Малодушная рассеянность борцов за свободу стоила им жизни, потому что солдаты правительственных войск, взятые обильной кровью, завидя, наконец, близость триумфа и вытянутые в испуге лица анархистов, утеряли вместе с убитыми товарищами остатки человеколепного сострадания. С земли тянулись дрожащие руки с изнеможенной мольбой о пощаде, но солдаты с налитыми гарью глазами вонзали штыки прямо в иконописные лица повстанцев, еще пару часов назад являвших собой надъестественные чудеса метаэтической жестокости. Кроме того, только солдат иной воинственной державы вправе рассчитывать на милостивое снисхождение. Соотечественник же, посягнувший на твой покой и принявший иную меру священных понятий, в нем не нуждается. Собрать облечен большой любовью, но и большой ненавистью. Вся беда побежденных бунтарей была в том, что ни один из

них не идентифицировался в симметричном мозгу солдата как человек, подчиненный присяге, стиснутый крепью единой формы и многочисленных долженствований. Бунтарь без формы в глазах военного — существо низшего порядка ввиду того, что он неспособен в той же мере обожествлять для себя царство необходимости и с той же помпой подавлять свои чувства. Ни одна из пышных разновидностей свободы или ее лживых толкований, помышляя безраздельное владычество, не вспоминает о том, что, сделавшись побежденной, она становится ареной еще больших разнуздавшихся свобод со стороны авторитарного порядка. Гренадерский полк, к которому я прибилсь в воинственном фанатизме, вбегает сквозь разбитые ворота в селение Y уже во втором эшелоне наступающих ввиду того, что от дневных рукопашных баталий и прожорливого артиллерийского огня он сохранил не более половины бойцов. Вбегает, а не входит, так как на строевое воинственное образование он уже мало походит. Карминового цвета лица, опаленные брови, кристаллизовавшаяся пена на обкусанных губах, неумелые повязки поверх ссадин и ран, многие без ранцев и киверов, не ищущие глазами офицера, они буйной ордой, покровительствующей подсознательным инстинктам, бросились в улицы, рассредоточиваясь сектами, исповедующими тот или иной порок. Это был полк, полностью состоящий из буйнонравных столичных новобранцев, не привыкших к действиям в том случае когда почти все офицеры добросовестно убиты. Я посмотрел на бастионы: копошась в грудах свеженарубленного мяса, полуголые канониры с почти пиратскими алыми повязками на головах разворачивают крепостные орудия, начиная шальной бесприцельный обстрел еще не захваченных центральных районов селения Y. Бунтари, плененные на крепостных стенах, радостной гурьбой, высоко задрав руки, спускаются вниз. Ощущая всем существом чародейственную милостыню пощады, они благодарят гренадеров, целуя им руки. Всех их расстреляют здесь же, у стены. Я бегу дальше внутрь города, уворачива-

ясь от молодцеватых языков пламени. Все анархисты одеты в гражданские платья, и потому солдаты убивают всех, кто пригрелся им пособником бунта. И если первые группы гренадеров были заняты захватом города и опрокидыванием обороны последних отчаявшихся бунтарей, то вошедшие позже предались окаянной хворобе мародерства. Тошнотворный хохот перебивает диковинный плач, неистово сопротивляющуюся девушку в разорванном платье гренадеры выбросили на улицу из окна, и по ней, еще живой, с рыкающим гиканьем проносятся несколько повозок, набитых пьяной солдатней вперемежку с награбленной утварью. Роскошная витрина модного магазина мгновенно превращается в пещеру, занесенную битым стеклом, надменными манекенами, множеством элегантных платьев и спутанных полотнищ материи. Я любуюсь причудливыми тональностями и самобытными рисунками. Муар, миткаль, каноус, муар-антик, перкаль, тик, плис, коленкор, муслин, муслин-де-лен, органди, флер, шанжан и снова битое стекло. Исступленная брань гусара и бритвенный росчерк кнута возле самого уха заставляют меня выскочить почти из-под копыт, я спотыкаюсь обо что-то и, падая на пепельно-похоронный бархат, зарываюсь в россыпи багдадского шелка, а ружье, скача по каменной мостовой, гоняется штыком за дамской шляпкой. По моим рукам проезжает коляска с безмятежно спящим младенцем, обложенным пачками бумажных денег, а возле ног, будто соблазнительная вещунья, лежит кукла из папье-маше в наряде черной Коломбины. Я поднимаюсь, отряхивая ампутированные кружева, и бегу дальше, старательно впитывая обжигающие реалии карнавала-набега. Шепелявит клавесин выбитыми во время драки в концертном зале зубами клавиш, смазливая горничная, презрев во мне насильника, бежит прочь и отмахивается так, точно разом избавляется от всех будущих опротивевших ласк. Каждый порок, подобно всеведущему меценату, обладает своей галереей образов, и, поддавшись суматохе ожидания, я не заметил, как жестокость бунтарей спорхнула на

руки и лица солдат. Очевидно, в замкнутых объемах времен и обстоятельств ее кочующее количество неизменно. Скрега, вступившийся за свою серебряную утварь, был утоплен в фонтане, а под черным марлевым небом огонь выцарапывает себе новые яства, карабкаясь по занавесям и отчаянно балансируя на изгибах крыш. Факелы в янтарном сиянии метнулись в сторону зоопарка. Разбуженный тюлень удивленно смотрит на убитых в своем бассейне; макака напяливает на голову окровавленный кивер гвардейца; в вольере льва короткая схватка, в которой одним из первых падает сраженный пальбой с обеих сторон царь зверей; скунс увечит запах пороха, крови и набежавших французских духов из взорванной парфюмерной лавки, что неподалеку. Выстрелы, лязг, стоны, визг, рычание, хохот, павлиньи перья; военные коалиции шакалов, цапель, крокодилов, зайцев, гренадеров, кавалерии, зебр и одногорбого верблюда, преследующие бегущих повстанцев. Мертвый удод, раненая серна с детенышами и прибившийся в страхе бунтарь, обнимающий окровавленного Игнатия. Тела редких животных, птиц, пресмыкающихся, перемежающиеся с телами частых людей. Прозябая в общем буйстве, я надумал было вонзить штык в этого потрошенного страхом анархиста, но, увидев, как бедный Игнатий сдувался у меня на глазах, словно убитая надувная игрушка, я не посмел, чтобы не омрачать ему последних воспоминаний о жизни близкой смертоубийственной суетой.

Я видел, что каждый из солдат, удовольствовавшись наличием награбленного, убитого или увиденного, останавливался, восторженно дивясь и смакуя звон золотых монет; вспоминая мгновения недавнего удалого флирта со смертью, смиренно усваивая красочный драматизм происходящего. Каждый спешно группировался вокруг своего надмирного естества, повелительно шептавшего: кради — будешь легко богат и тем возвысишься в своих глазах; убивай, когда у тебя будет еще возможность узаконенно излить столько силы, воли, хитрости и жестокости в борьбе; будь сильнее, и ты

возвысишься в своих глазах; смотри, внимай, думай: нигде ты не увидишь столько лохматых людских глухонемых страстей, обнимающихся в такой стремительной оргии; стань выше этих слепорожденных страстей, пари над ними, словно демон, смейся над ними и тем возвысишься над собой. Тех, кто усаживался жарить черного лебедя или, бесновато смеясь, щипал живого павлина возле костра из старинных манускриптов, сменяли новые борцы с анархией, сами ставшие ее отъявленными проявлениями. Тех, кто уже строил планы приобретения хозяйства, выгодной женитьбы, приобщения к знати и благородству, втирая свои пряные мечты в холодные бока монет, сменяли новые борцы со своей неподатливой судьбой и тем свою судьбу уже решившие. В неистовой круговерти хоровода люди и звери ворвались в церковь, ворвались ненарочно или нехотя, гонимые необъятным ужасом тьмы и творимого их руками, цветистым ужасом того, что было их детищем и вдруг стало сильнее их. Оно цвело в их шальных помыслах, оно только стекало с их рук в виде поступков, оно было развлечением для их скученных страстей, но вдруг оно стало сильнее этих страстей, безраздельно подчинив их себе. Каждый видел, что творил нечто невидимое, что творило его самого, и это дикое многократно усиленное ощущение, висящее куполом гораздо выше человека, пьянило до крайней осязаемой степени умопомрачения.

В этот миг вновь налетел оголтелый воздушный караван пушечных ядер и, следуя за пронырливым вожаком, почти все свои увесистые скоротечные оплеухи обрушил на колокольню, захлебнувшуюся, точно казнямая неваляшка в ураганной болтовне колокола, разом вывихнувшего свой металлический язык.

Удачливая серия взрывов мощнейшими волнами, достраивающими одна другую, прошла от креста до основания.

Выдержали только стены.

Возбужденные люди и ошарашенные животные разбегающимися в стороны кругами повалились на стертые от по-

целуев каменные плиты пола, словно безвольные плитки домино, а сверху осыпалась вся богатая внутренняя роспись, и ни один богатый оклад иконы и ни одна стена не удержали изображений святых. Роскошная позолота заповедей, благословений и обратная перспектива любящих лиц и мучений осыпалась на грязные синие мундиры и взъерошенные шкуры хищных тварей. Мне на лицо упали искрошившиеся концентрированные губы Христа, но розовые очки не дали глазам засориться, и я, не мигая своей искусственно окровавленной маской, смотрел на гадко нагие, как яичная скорлупа или тальк на бездельных перстах, стены, и деформированное психоделическое пространство церкви стало многомерно бездонным.

Люди, нащупав себя на полу погруженными в безязыкую тишину, испуганно поднимают головы и щурят глаза, мучимые приступом белой полярной слепоты. Мне не страшно от этой калечащей символики, я апокрифически гибок. Но вот набожный пожилой солдат давит свою голову, лопающуюся от собственного изуверского вопля, его нравственное изображение не вынесло нервного напряжения кровопролитного дня, мародерской ночи и раздевшихся стен церкви. Он кричит, вдавливая уши внутрь, он сходит с ума, и его сжимающаяся голова выворачивается наружу бездонным ртом.

Ну полно, пора и мне предаться моему чудодейственному пороку. Я соскучился в экстравертах. Разбой будет продолжаться не один день, а меня, очевидно, давно уже считают павшим. Наверно, многие видели, как меня придавило жебцом. Итак, временно я считаюсь усопшим, уже тускнея на периферии чьей-то памяти. В селении Y, безусловно, должна быть обширная фундаментальная библиотека, которой уготована участь насытить мириадами эфирных мыслей злорадно неразборчивое пламя или неврастеническое варварство дикаря, решившего разом испепелить чужие судьбы за неимением собственной. Я протиснулся вон из эрзаца церкви, расталкивая изможденные лица и морды, и вновь бросился в кавалькаду гомонов, воплей, бликов, неистовств.

Я кружился, обегая редкие потасовки, крался, прижимаясь к стенам, расписанным блеклыми разгоряченными тенями, перепрыгивал через пьяных, убитых, прелюбодействующих. И очень скоро мое неизъяснимое желание напасть на чужие книги сделалось возможным, ибо я увидел здание центральной библиотеки селения У, что явствовало из массивной медной вывески. Как и следовало ожидать, разнузданной суеты здесь было меньше. Хранилище книг угнездилося в спутанном низовье переулков, примыкающих к небольшому парку с огромной запятой черноводного пруда посередине. По ближайшей улице эскадрон кирасиров в мятых нагрудных кирасах тяжелым галопом проследовал к центральной площади, затем двое гвардейцев провели раненного в голову товарища. На втором этаже дома напротив едва слышно хлопнул ставень.

Я приблизился к парадному входу, поднимаясь по мраморным ступеням, я взялся за литую бронзовую ручку. В это мгновение увидел в нескольких десятках шагов от себя городского палача в черных одеждах, медленно несущего на плече развязывающийся куль. Седые длинные волосы заплечных дел мастера развевались в воздушных скитаниях рассвета, осторожно приподнимающего покров над селением У. Поклажа, неудобно лежа на плече, поминутно соскакивала, и пожилой человек, недовольно морщась, замедлял шаг. Завидев меня и нисколько не изумившись моему лицу, покрытому багровой коркой и розовыми очками, палач нехотя воззрился на свои перепачканные колени и, не изменив мину квинтэссенции безразличия, проследовал прочь, скрывшись в одной из многих дверей.

Больше рядом не было никого. Я дернул дверь, как верооступницу — она была заперта. Несколько ударов прикладом внесли некоторую ясность и спокойствие во всю мою жизнь. Плотнo затворив изуродованную дверь и замкнув ее на щеколду, я прошел в обширный холл, восторженно ловя тихий виньеточный сладкий библиотечный воздух.

Я нахожусь в преддверии прецизионного лабораторного наития.

Я чувствую, что сейчас вот-вот реквизирую смысл моей жизни. Рукописными блажениями святых воспользуюсь как технической документацией благодати, что имеет снизойти до меня. Я дорожу обретенным смыслом жизни не более чем брелком-амулетом, потому что смысл жизни постигается уже тогда, когда больше ничего с такой жизнью сделать нельзя, кроме как выдавить из нее смысл и выбросить прочь. Постичь смысл жизни — это все равно что услышать, что ели у соседей, или подсмотреть чужую любовь. Ни один смысл жизни не заменит самое жизнь. И материализм, и идеализм в этом вопросе лгут одинаково.

Мои пальцы бегут по корешкам книг, точно по клавишам, выбивая ажурную мелодию золотых тиснений.

Стою и задыхаюсь в четырех измерениях, как в четырех герметичных стенах искусственного рая. Наверное, сходное чувство когда-то испытал опекун сатаны, убедившись в том, что его выученик оказался талантливым.

Я хочу уразуметь, почему, имея такую непреодолимую, ненасытную склонность к метафизической подноготной бытия, почему, являясь жизнелюбивым, полноценным, энергичным мужчиной, не чурающимся жизненных соблазнов; избегая пресной пищи и худосочных страстей, имея способность восторгаться и обожать, я тем не менее вменяю себе в вину чудо; я тем не менее тяготею к осмыслению иррационального, надвременного, надпричинного, надматериального? Почему я не просто отдаюсь на поток увлечения по легковерию, весьма свойственному людям, а стремлюсь расчлнить непостижимое, рассчитать трансцендентное, утилитаризовать необъяснимое, стать у изголовья вечного?

Я испытал превратности манящего флирта с судьбой, я испытал феерические таинства мистических состояний, вторгаясь в них не астенической душонкой религиозного вырожденца, но подлинно технократическим бесстрашием диверсанта в адских куцах метафизического царства.

Вот они, мои смыслодержающие книги! И на меня наваливается ком духовной борьбы Джона Баньяна и Льва Толстого, а этика благоговения перед жизнью заставляет вспомнить о наличии усыпальной маски у меня на лице. Экклезиаст представляется материалистически настроенным пессимистом, а Джон Баньян, после некоторых колебаний, беспомощным в духовном отношении человеком. Точно в диковинном артезианском колодце, я скапливаюсь в убеждении физической и психической неполноценности мистиков и святых и сокрушенно взираю на свою здоровость сквозь фигурную призму этих болезненных озарений и сексуальных неполноценностей, препарированных психоаналитическим методом. И точно маститое наказание до востребования, сквозь дебри анестезических откровений сожигающим кнутом на меня набрасываются гекатонны спелых бутонов женской плоти, и богатейшая образная ткань, вышитая безупречными матрицами молитв, начинает кровоточить.

«Какое право имеем мы думать, что природа обязана выполнять все свои задачи только с помощью нормальных умов? В уклонении от нормы разума она может найти более удобное орудие для выполнения своего замысла. Важно лишь то, что работа выполняется и что качества работника таковы, что он может ее выполнить. И с косметической точки зрения совершенно безразлично, что этот работник представляется на чей-нибудь взгляд лицемером, развратником, эксцентриком или безумцем» [МAUDSLAY].

Я чувствую, что устал, ибо опасные мысли изнашивают гораздо интенсивнее, чем опасные деяния, а заблуждения стеснительны наподобие тесных одежд.

«Господи, если мы впадаем в заблуждение, то не Ты ли нас в него ввергаешь?» [АВГУСТИН]

«Люби бога и поступай как хочешь» [АВГУСТИН].

От буйных мыслей погружаюсь в разноцветный оргазм, и каждое новое блаженное содрогание подразумевает под собою новое, подобно ступеням бесконечного водопада, не-

сущего к небесам неупадающие снопы радужных брызг. Я блуждаю меж стеллажами, уродуемый разноречивыми фактами.

«Если моя теория не согласуется с фактами, то тем хуже для фактов» **[Гегель]**.

В седых клубках склеротической пыли между завалами малодушных салонных поэтов и надуманными кознями воспоминаний жен великих людей я нахожу драгоценные «Меморабили» — дневник, содержащий описания видений Эммануила Сведенборга, и восторгаюсь сильным гением этого северянина, не испугавшегося переродить себя в 54 года. Чту в нем горного инженера, на которого снизошло озарение горних сфер: «Человек в известном смысле не что иное, как бесконечно малое небо, которое находится в тесной связи с духовным миром и небом. Каждая отдельная идея человека, каждое его душевное движение, мало того — даже самая малейшая часть этого душевного движения — есть точное подобие человека. Дух может быть познан по одной-единственной мысли. Бог — это не что иное, как человек, достигший только бесконечного совершенства» **[Сведенборг]**.

«Вопрос: «Любишь ли ты меня?» означает: представляется ли тебе истина в том же виде, как и мне?» **[Сведенборг]**

«Что такое Бог — этого я не знаю,— но все, что не Бог, — мне известно» **[Сократ]**.

«Для всего человечества я один и тот же. Нет ни одного человека, который был бы достоин моей любви или ненависти. Тот, кто поклоняясь служит мне — пребывает во мне и я в нем. Если кто-то, чей путь исполнен злобы, служит мне,— тот достоин такого же почтения, как и добродетельный; и он скоро обратится к добру, и он достигнет вечного блаженства» **[Вишну]**.

Я окружен откровениями о сотворении мира Якоба Беме и Джорджа Фокса и, кажется, держу руку на пульсе заздравно нарождающегося мироздания. В неясной галлюцинаторной тьме пустынных библиотечных закоулков мнятся духовные упражнения св. Игнатия.

Я пытаюсь вообразить себе облик св. Иоанна, св. Терезы, Маргариты Алакоквийской, Ангелуса Силезиуса, Дионисия Ареопагита, Елизаветы Венгерской, Катерины Генуэзской. Медленно и неотвратно погружаюсь в вязкий настой медумических трансов, священного трепета и примирений, кружусь в неизбежном вихре непрерывности, нащупываю местный наркоз звериной воли и уста с запекшейся на них хвалой, вчитываюсь в импульсы блаженства, пробуя их на вкус парализованным языком. Лежу в клише моего мультипликационного обращения и сквозь чашу обратных перспектив дивлюсь на обращение апостола Павла и Давида Брайнерда. Следуя за Мезоном, Прайнсом, Брейером, Бинэ и Жанэ, опускаю дрожащие пальцы в сублиминальное сознание, будто в розовую воду.

«Обращение не представляет собою просто включение святости в жизнь человека. При истинном духовном пере рождении святость вплетается во все настроения, мысли и дела. Истинный христианин подобен зданию, перестроенному от фундамента до кровли. Это новый человек, новое творение» [Джозеф Аллайн].

Я слышу нервический шепот — это наставления святого Иоанна Испанского. Я вникаю также в смысл аскетизма Генриха Сюзо и невольно дотрагиваюсь до себя рукой, сомневаясь, не умерщвилась ли еще моя плоть и не рухнула ли еще отчаянная деспотия разума. Предписания Игнатия Лойолы, благоговения святого Антония Падуанского и святого Бернарда подбираются к центру моей личной энергии, и боюсь лишь одного, чтобы моя страсть познания не зарвалась настолько, что я уронил бы себя в пропасть безумия. Я больше хочу знать, чем верить, и невольно раскачиваюсь всем телом на стуле, ощущая себя воздухобежцем, который владычествует канатом, связующим два мира — ужасаюсь потерять равновесие. Я хочу, чтобы центр тяжести моей веры не выходил за пределы площади опоры разума, но содрогаюсь всем телом, едва не срывая с себя свой синий, местами обгорев-

ший мундир. Ибо, не видя его, я чувствую на себе одежды Франциска Ассизского и Игнатия Лойолы, коими они обменивались с нищими. Сдавливаю губы так, если бы только что поцеловал прокаженного. Закусил язык, точно очищал им язвы и раны больных, подобно Франсуа Ксавье или святому Иоанну. И вот уже, вторя настырному прагматизму Уильяма Джемса, постигаю определения мистических состояний и, не найдя ничего нового, натываюсь на томик Ральфа Уолда Эмерсона с неистребимым чувством голода, тоннами свинцовой усталости на спине и глазах, а также легким материалистическим покалыванием в висках.

Я принялся блуждать по подсобным помещениям в поисках снеди и, уже отчаявшись было хоть сколько-нибудь поутолить голод, в одной из жалких каморок, очевидно, служащей ветхим библиотекарям чем-то вроде трапезной, наткнулся на признаки близкой пищи. Опустошив несколько кастрюль, банок, ящиков, соорудил себе неказистое пиршество в честь победителя. От остатков супа со сморщившимися пятнами жира на поверхности исходил запах альбигойской ереси, несвежий хлеб напоминал об осаде, сыр придавал ощущение реальности. Початая бутылка темно-красного вина уняла анархистский озноб и сгладила неравномерности напряжения отдельных членов тела, а несколько пучков зелени, годящейся разве что в гербарий, пара огромных грецких орехов, цукат и несколько ломтей сладкого пирога придали моему длительному сну ранимый оттенок детской эластичной непосредственности.

Я засыпаю на кожаном диване, похожем на айсберг, усыпанный пеплом, и старательно укутываюсь пыльной шторой, плетеная бахрома которой разбежалась по измученному лицу, подобно длинным пальцам возлюбленной. Розовые очки наконец-то получили долгожданную возможность избавиться от моих немигающих глаз. Ранец, набитый грошовой походной ерундой, заменяет подушку. Наконец я с опустошительным облегчением отбросил сапоги и самовлюбленно

приготовился нырнуть в теплые чародейственные дебри сна. Впечатлений, до сих пор прозябающих в визионерском буйстве, было такое постылое множество, что я изленился твердить про себя собирательный образ всего происшедшего. Легкий неугомонный хмель еще копошился возле того места, где совесть крепится к моральной чистоплотности, но сон, как пронырливый наполнитель, растекался по форме моего гигантского успокоения и, схватив все его тончайшие выдумки, начал твердеть.

§ 19

Шаблонное представление о течении времени я утратил еще во время битвы. Я воспринимал свое бодрствование, окруженный ночным разбоем, как некое безвременное произведение искусства. А добравшись до библиотеки, уже окончательно уподобился бесхитростной однодневной насекомой твари, которая проживает все жизненные силы, беззаботно порхая от цветка к цветку, упоительно транжиря пыльцу с крыльев в объятиях встречного ветра, и, вконец измотавшись в чудесной эйфории, пожинает плоды своей однодневной мудрости, чтобы добросовестно умереть с заходом солнца. Длительный сон (хотя из самого сна трудно судить о его длительности) укрепил меня, несколько кувшинов холодной воды с трудом смыли отвратительную чешую усыпальной маски и вчерашней смертоубийственной суеты. Я смотрел на свое лицо без очков и крови и не узнавал его. Только мутность зеркала придавала ему определенную реальность. Солнце обреталось в зените, и я вообразил, что это доброе знамение, и надумал было уже покинуть благорасположенные ко мне стены книгохранилища, как наткнулся на томик Эмерсона и вспомнил, что не достиг желаемого эффекта своим посещением библиотеки. Впрямь, что проку штудировать чужие колоритные озарения, вкрапления святости, богоискательские медитации, тенденциозные религиозные наития — все это любопытно мне не как руководство к действию,

но возбуждает декоративный интерес коллекционера метафизических атрибутов. Все это в прошлом, из всего этого я возьму лишь ксерокопию воли и эстетическую канву традиции. Бесхитростная духовная борьба, местами доходящая до рукоприкладства, по отношению к самому себе вызывает у меня одну лишь снисходительную улыбку. Прежние мистики не шли дальше разложения души на состояния, а я не только каждое состояние, но и каждый его оттенок делю на функциональные модули, следствия, причины. Символосодержащие субстанции озарений имеют совершенно четкое место в бесконечных рядах трансформации моего духа, который я воспринимаю не как монолит, но сложнейший полифункциональный организм. Я счастлив вполне тем самозаконным счастьем, что изжил в себе все мало-мальски невыразимое. Я могу объяснить каждый тончайший излом своей воли и определить сложнейший оттенок каждого дуновения хрупкой иррациональности. Мне достаточно тех неуклюжих слов, что припрятаны у меня за пазухой. Все сумеречные стороны человеческой души стали более технологичными, утилитарными, управляемыми. К чему ждать благодати, если можно позвать ее самому?

Я полистал наугад пожелтевшие страницы и, проникшись изрядной заинтересованностью обнаружил нечто нижеследующее, что в лаконичной форме разъяснило все мои многочисленные духовные мытарства: «Каждый человек какой-то таинственной склонностью связан с одной из областей природы, истолкователем которой он является...

Каждое растение имеет своего паразита, и каждая сотворенная вещь своего любителя и поэта...

Каждая материальная вещь имеет свою небесную сторону; каждая может быть поднята в сферу духовную, непреходящую, где она играет ту же вечную роль, как все другое, и к этим конечным целям стремятся непрестанно все вещи. Газы сгущаются в плотный небосвод, химическое вещество превращается в растение и растет, превращается в четверо-

ногое и передвигается, превращается в человека и мысль. Но избиратель определяет вотум представителя. Он же только их представитель, он является частью их, подобное может познаваться только подобным. Причина, почему кто-нибудь знает немного о природе вещей, заключается в том, что он сам составляет часть их: его природа та же, что и природа этих вещей, он сам часть тех вещей, которые он теперь исследует. Одушевленный хлор может познать хлор, а воплощенный цинк познает цинк. Их качества определяют его жизненный путь, и он может самым разнообразным образом вскрывать их природу, ибо из них он и состоит...

Человек, созданный из земного праха, не забывает о своем происхождении, и все, что ныне остается пока безжизненным, когда-нибудь в будущем будет говорить и мыслить».

Неслыханное облегчение космических масштабов нагрнуло мне на плечи, распушив все тело, и я лишний раз подивился на свое прихотливое счастье. Ведь все мои мысли извне приходят ко мне всегда вовремя, и оттого я вполне могу помыслить себя в качестве прецизионного инструмента высших безвременных основоначал бытия. Робкая, бессильная жизнь доселе нуждалась в психически неполноценных, неразвитых индивидах, толковавших смысл действия высших сил, а с изменением фактуры цивилизованного, индустриально развитого бытия должен измениться облик и «божьего человека». Необихоженный, необразованный невротик в лохмотьях, не сведущий в науках, неспособен более быть связующим звеном меж двумя мирами. Инаковость в эксцентричном поведении юродивого теперь подменилась инаковостью в эксцентричных проектах инженера-теолога. Мускул, точный расчет и озарение должны слиться воедино и быть непременно отличительными качествами человека «не от мира сего».

Я аккуратно поставил все книги на прежние места на стеллажах, водворив последним томик Эмерсона, прежние места обрели и медные подсвечники, служившие мне в моих изы-

сканиях; и я улыбнулся тому, что с позиций разнузданного удачей победителя мои действия были совершенно бессмысленны, ведь в селения У сейчас; верно, нет и пяди пространства, пораженного прежним порядком.

Но именно этим и отличается мой разбой от любого другого.

Я не зря брал штурмом селение У, ведь я выкрал смысл моей жизни, как почетный приз за победу. Разве это может сравниться с горами утвари и драгоценностей, награбленных солдатами правительственной армии? Я везучий и горжусь этим божественным даром. Когда-то давно мне изрядно повезло, когда я брал приступом селение Х. Тогда я остался жив, я остался жив и сейчас. Сколько еще будет на моем пути этих загадочных анонимных переменных функций моей неотвязчивой судьбы, которые придется штурмовать вновь, не щадя своей застрахованной жизни.

На приведение своего нехитрого военизированного рубища в относительный порядок ушло несколько мгновений, и вот уже, прихватив ружье, кивер и возвратив на боевое дежурство розовые очки с привнесенными в два декоративных розовых загона двумя, смиренными немигающими голубыми данниками, выхожу на улицу, чувствуя радостное возбуждение, которое всегда оставляет легкая и верная нажива. Дерзновенно смотрю на небеса, развязно благодаря их за чудесное соучастие. Инфузорное солнце, словно перенесшее опустошительную дистрофию за эти воинственные дни, робко сползает с насиженного зенита, чтобы прильнуть в неизъяснимой колоратурной усталости к закату. Отворяя дверь мягким пинком, я выглянул на улицу, как заглядывает в раковину ловец жемчуга, оглохший от своей подводной чумной изоляции: закаленным в розовых бойцовских панцирях глазам явилась гигантская асимметричная черная жемчужина тщательного разрушения.

Селение У лежало в плоском фиолетовом мареве, и, сколь бы ни был удален уголок от борьбы, сколь бы ни был он не-

причастен к смертоубийственной грызне двух овеществленных идей, ничто не могло бы спасти его от бездумного рукоприкладства разъяренных солдат.

Я спускался на негнущихся ногах по обглоданным осколками ступеням библиотеки и видел, что каждый предмет был поражен какой-нибудь своей неповторимой нечистой изъязненностью. Каждый дом был по-своему изувечен пожаром, разбоем или иступленным мономанством как редкостной неповторимой хворью. Даже совершенно одинаковые окна были разбиты каждое на свой манер. Груды одинакового пепла и одинаковых обломков не были похожи друг на друга. Трупы одинаковых солдат, анархистов и ни к чему не причастных мирных обывателей были мертвы каждый по-своему. Каждый султан дыма имел свой оттенок и свои зловонные кудри, и каждый одинаковый зернистый плач в гнездовьях руин был наполнен своими особыми, ни на кого не похожими слезами. Даже среди оставшихся в живых флюгеров не было подлинного единодушия. Я иду, ударяя прикладом ружья по выщербленным, каждый на свой лад, булыжникам мостовой, точно посохом. Я апостол безобразия. Одинаковое горе и одинаковое воровское воодушевление соседствовали рядом, совершенно не обращая внимания друг на друга, как два случайных сиюминутных любовника, распластавшихся в эгоистическом дурмане удовлетворения. Кроме разрушений, везде видна и усталость. Воры устали, смеясь косоротым слюнотворным смехом, считать богатство; вдовы и сироты устали оплакивать утрату, смирились с нею как с чем-то изначально данным; раненые устали лизать свои раны; пленные смирились с перспективой близкой казни, а анархисты, бежавшие от проворных рук, насытились загнанной свободой. Иступленный день и возбужденно пьющая второе дыхание ночь одинаково изнашивают различные страсти.

Я выбрался из библиотеки к самому началу эры безразличия, и едва заметные на фоне живописных руин люди оказались подобны табличкам, предостерегающим в парке траву от преждевременного вытаптывания.

В многомерное лицо встретившейся девочки вписан стабилизированный ужас, и то, что это девочка, я понимаю лишь из остатков платья, потому что обожженная голова смотрит на меня совершенно бесполом вопросом: «Ты меня ударишь?» — и не удивится, если это произойдет.

— Ты тоже варвар?— вопрошает она совсем не детски жесткими губами в розовой окалине золы и пастеризованных слез.

— Да,— отвечаю я и иду мимо забора, местами простиженного дикорастущим огнем, а в груди раздавленных помидоров и битого хрусталя лежит огромный детина с шафраново-желтым лицом, и стая породистых борзых, позабыв о манерах, рвет на части мундир драгунского офицера.

Я выхожу на первое скопление людей, обнесенное грудями битого кирпича, и мое выражение лица, человека, несущего огонь, производит запланированное возбуждение, хотя возбуждение это и не оформляется в определенный порыв людской массы.

Пораженный трансцендентной токсикацией, я срываюсь с тончайших следственно-причинных нитей, и то, что со мной происходит в последующие мгновения, распирая, вываливается из привычных масштабов времени. Я рвусь в ретивом поспешании за своей ролью и чувствую, что отклеиваюсь от нее.

Группа солдат, предводительствуемая сутулым офицером с покатыми плечами, сосредоточенно смотрит на нагрудную нашивку на моем мундире «18 гренадерский полк» так, словно она выжжена у меня на голой коже. Офицер с улыбкой возле лица предлагает в добровольном порядке сдать оружие. «Вы арестованы»,— звучит не как прямая речь, а как бесцветный игрушечный ультиматум. Ружье уплывает из моих рыхлеющих рук, едва не оцарапав изогнутым когтем штыка, а в иллюзорном пространстве я вижу лицо белокурого юноши, гигантской дождевой каплей свисающее с кончика штыка, и в глубине организма зарождается робкий островок рво-

ты. Хлопки по спине и груди изображают обыск, и вместе с чужими руками я напористо ищу на своем теле вину сначала на спине, а затем на груди.

— Ничего нет.— Сочувственно-злорадные лица солдат дрожат, точно мыльная пена на сорванных пружинах. Хрестоматийный абсурд, и потому я не спрашиваю ни о чем. Гулко протяжный удар прикладом под лопатку принуждает меня двигаться в направлении группы солдат, меченных, как и я, тавром 18-го полка. Они взяты под стражу, а пока моя спина набирает силы для нового синяка, а в ушах висит зычное по-нукание «Пошел!», я подвергаю графологической экспертизе цифру «18». Где в ее худых линиях причина ареста? Шарю взглядом по темным бойницам невыспавшихся враждебных глаз, и все тело устлано пылающими зубами злосчастного клейма. 18. 18. 18. 18... Площадь, выделенная в моей душе под положительные эмоции, стремительно уменьшается как круги на воде, достигшие края мутной лужицы. И только напоровшись на простенькие глазки сельского паренька, лучащиеся тонковолокнистой лестью, и заведев оттопыренные карманы мундиров, обнаженные головы, еще полные стяжательских истерик, ранцы, набитые как респектабельные кошельки, сгорбленные от угрызений спины, я постигаю, что на медицинской мобилизационной комиссии был сопричислен к гренадерскому полку, которому теперь суждено было, выйдя из-под контроля, показать чудеса мародерства. Я вспоминаю бильярдный шар головы офицера, скрепившего меня узами судьбичности с виноватой цифрой «18». За разбой нужно платить, и за мой изощренный тоже. В толпе карманных воришек, не совладавших с обузой взбалмошной добычи, я увидел монаршее лицо Ингмара. Он впитывал новую роль с уродливолицым тщанием сфинкса. Я не успел спросить его, что успел он выкрасть, так как нас погнали к крепостным воротам сквозь чащи обгоревших досок и вороньих клювов с заключенными в них бусинами мертвечины. Сквозь оцепление я услышал обрывок разговора двух штабных офицеров,

некоторое время ехавших верхом рядом с нашей арестантской колонной. Один из них внимал всему со стеклянным безразличием и усталостью, иной же с жовиальной молодцеватостью говорил о любовных интригах старших офицеров, а затем эклектично сбился на последствия подавленного бунта:

— Наши потери составили 23 678 человек убитыми и ранеными, урон анархистов сосчитать сложнее, ибо вместе с ними придется считать и несколько тысяч жителей, погибших при взятии селения Y, — энергично отмахиваясь от назойливых мух, он продолжал, поедая с видимым удовольствием вишни из бумажного кулька: — Однако если все же исключить последних, то общая цифра, не считая рассеянных по лесам, приблизится к сорока с половиной тысячам. Уж очень много было казнено сразу по взятии бастионов, — сказал он, смехотворно дернувшись всем лицом, видимо, от вишневой косточки, угодившей на больной зуб.

— Но все это пустяки, между прочим, милейший, вы слышали, что наш непосредственный рыжеволосый Казимир полонил какую-то местную певичку и, пока солдаты его роты унимали этих вульгарных расхитителей 18-го полка, умудрился приятно провести с нею время, заперевшись в театральной уборной, а когда по прошествии трех дней и трех ночей, официально отпущенных на разграбление селения Y, ему надлежало объявиться, то он, не долго думая, поранил себе руку саблей, подвязал ее и, изрядно измученный тремя сутками приступов, всамделишно бледный как Пьеро, явился пред ясные очи нашего плешивого осла — полкового командира и был, кроме всего прочего, представлен к награде и повышению за храбрость. Вообразите себе комедию. Ах, этому рыжеволосому слюнтяю и бабнику Казимиру всегда изрядно везло, а я из-за этого восставшего сброда потерял своего любимого скакуна Нерона, которого выиграл в карты у поручика С. (вы должны помнить), и теперь второй день езжу на этой анархистской кляче, которую мне приискали в предместье мои подлецы.

— Ас этими что будут делать?— все так же томительно-невозмутимо спрашивает второй офицер, морща нос.

— Ас этими... Ну, этих гонят за крепостные стены, там в поле будут разбираться со всеми: и с пленными анархистами, и с этими тоже. Однако потешное будет судилище, ведь туда же должны доставить и главаря повстанцев, некоего Жоашена с его подружкой и сыном, которых поймали по доносу. Говорят, у плута хороший вкус касаясь до женщин... Не завидую я этим гренадеришкам. Шуточное ли дело, они обезоружили оставшихся в живых офицеров, когда те пробовали привести их к повиновению. А все произошло оттого, что гвардейские драгуны первыми ворвались в богатый квартал, и эти пешие вояки почувствовали себя обойденными, когда услышали, что им предстоит вступить в селение Y уже вместе с обозом. Хо, обратите внимание, какой смешной вон тот, в розовых очках, Арлекин. Он, наверное, орудовал больше всех, уж ему-то не миновать трибунала. Отвратительно своенравная рожа.

Находясь то спиной, то боком к этой беседе, я вдруг ощутил удар легкого предмета по шее. Наверное, это была вишневая косточка.

— Ричард, у вас неважный вид, поедemте выпьем шампанского у капитана Д. и посмотрим коллекцию картин, которую он спас от огня в доме одного сахарозаводчика, которого, кстати, и зарубил самолично, когда тот надумал сопротивляться слишком уж настойчиво. Заодно вы развеетесь с какой-нибудь маркитанткой и забудьте печали войны, а то мне очень трудно с вами беседовать, из вас положительно невозможно вытянуть ни одного слова. Поедемте, я обещал вашей милой матушке-княгине хранить вас в походе от хандры и излишеств.— И они ускакали вперед, скрывшись в клубах расточаемой пыли.

Я поправил очки и потрогал шею... ..этот орудовал больше всех... Я влюбился в цифру 18, как в терпкие объятия молодой беззастенчивой цыганки и теперь не скуплюсь на подарки, хирея от всевозможных болезнетворных реверберации

своей символюблудящей памяти. ...а потом мне в который раз досталось от воспоминаний детства...

Я бреду по колено в вязком посмешище в состоянии остро-го гнойного оптимизма, понятия не имея, что, подбросит мне отчаянная судьба, а возле городских ворот между неубранных трупов и обгоревших досок гнездятся возбужденно-злорадные глазки оставшихся в живых горожан. И я чувствую их опустошительное моралетворство у себя на коже. Колонна арестантов нехотя минует изуродованные дверцы ворот, в немотствующем томлении потроша тесные мундиры, мешающие наглотаться свежего неразграбленного воздуха. Шаги становятся все короче, словно само время изленилось лепить развязку оголтелых страстей. Касания спинами и плечами становится все чаще и безразличнее друг к другу. Конвой, от-тесненный горнилом ворот, смешивается с арестованными, и конвойные, не понимая, что происходит, настороженно озира-ются по сторонам. Но ничего не происходит, только одинокая флейта мучает губы одинокого менестреля. Под пыльными сапогами изнемогают амулеты, драгоценности, полотнища богатой материи, иконы, золотые подсвечники. Вместе с на-живой недавние мародеры разбрасывают коченеющие фанта-зии. Все это больше не нужно. Будущее строит каждому не-казистые рожицы, а мятая упаковочная вата, которой каждый обкладывал хрупкие изделия своей выпренной надежды, полна остроконечных ранящих осколков.

Совсем близко за холмом, на расстоянии вытянутой руки, под гигантским куполом пирующего воронья открылось поле сражения, уже изрядно покоробившееся от брезгливости и непомерной ноши залежей гниющего мяса. Я смотрел на это громоздкое буро-зеленое пространство, попирающее все гео-метрические законы перспективы, и неслышно сатанел при мысли, что абстрактная идея свободы, вдосталь наладомив-шись шестьюдесятью с лишним тысячами душ, сейчас бла-женствует на сытый желудок, ковыряя в зубах. Я смотрел на неприбранное поле брани, как на открытую рану, благоволя-

щую всем заразам на свете, и мечтал придушить осклизлый фетиш свободы так, чтобы даже толкование его не досталось ничьим слезам. Истощительное зловоние вдруг, словно свинцовое опахало, ударило меня по лицу, и я выронил в него свои розовые очки, в лютой спешке нагнулся за ними, но чужой сапог наступил мне на руку, впечатав ее в грязь. Белокурый юнец с мертвенно бледным лицом и с огромной дырой вместо шеи навис надо мною, спрятав остатки солнца. Я отпрянул назад и споткнулся о стоящую на коленях седовласую женщину. Боясь раздавить ее, бросаю тело в сторону, но здесь стоят сразу несколько молодых очаровательных девушек, и я не могу проскочить меж их веерообразных ресниц, не сбив целебную пыльцу макияжа. Мечусь как угорелый, и всюду стоят молодые простоволосые женщины, и в лице каждой видна какая-то незавершенность. Я прекращаю бессмысленную суету, всматриваюсь и вижу, что все они не имеют губ. Безбрежное поле в плиссированных складках нанесенных бурых холмов заполняется тысячами и тысячами безгубых женщин, отобранных у любви. А юнец беззвучно смеется, клокоча рваными краями раны, и гладит седые волосы своей матери, что взирает на меня снизу зеленеющими белками глаз.

Мне не жутко, мне даже не стыдно, ведь я солдат, ведь я безрассудный сутенер при своей судьбе.

Освежающий удар по спине, холопствующей перед визионерским антуражем, вернул меня из-за порога ощущений к арестованным, и розовые очки, старательно очищенные от грязи, обрели исконное место. Вставая с колен, я видел почти опустевшие карманы и ранцы солдат. Бедняги, они надеются удешевить наказание. Но, безропотно забывшись в виноности, арестованные забыли, что им инкриминируется неподчинение, а не разбой. Те, кто не дождался своего злата, сложив голову «за отечество», могут мирно повернуться на другой бок и спать вечным сном за свои и чужие богатства, не доставшиеся ни праведникам, ни лиходеям.

Мы сбились в кучу, и средь анонимных спин я увидел несколько приметных лиц, многие из моих знакомых были здесь:

Иохим, Макс, Ингмар, Мартин, Гийом.

Я протиснулся к Ингмару и, проглотив несколько унций арестованного воздуха, спросил, что известно ему о судьбе остальных.

— В рукопашном бою погибли Владислав и Антон.

— А я видел, как погиб Игнатий.

— Александра завалило горящими досками во время пожара,— произнес Мартин, не поворачиваясь к нам.

На расстоянии нескольких сладострастных вороньих криков, за густым оцеплением гвардейцев, легко различимых по длинным белым султанам на киверах, угадывались толпы анархистов — их считали, делили на арестантские партии, обыскивали, подвергали краткому допросу и готовили к отправке. Мы устроились на земле, развалившись веером, будто изрядные работники. Нам предложили воду, но спекшиеся губы не пускали влагу внутрь, так велико было отвращение к окружающему. Взявшаяся откуда-то из ударов кнута и обобщенной брани фореитора, появилась карета, вгрызаясь грязными колесами в черствеющие оспины воронок. Она нещадно сотрясала величавое содержимое — главнокомандующего правительственных войск старого генерал-аншефа, которого мне уже доводилось видеть в походе и сражении. Страусиные перья на его шляпе, некогда отличавшиеся проворной пушистостью, свалились в нечто неопределенное и безразличное к щедрому ветру. Молоденькие адъютанты вынули тяжелое тело со стоической тщательностью так, словно это был любимый, но беспомощный отец. Лицо генерала хранило прежнее миролюбивое чванство, несколько, впрочем, отяжелевшее. Он с неудовольствием смотрел на нас, и его глаза, пораженные вирусом сожаления, тряслись, точно ртутные шарики. Он смотрит на нас, иногда медленно выглядывая из-за точечных адъютантских спин, озябло бормоча приказания. Холм,

на котором мы расположились в активных воздушных токах, вызванных разложением тел и душ, постепенно вытягивался к небесам, роняя вниз неровные края, уставленные фигурками конвойных и генеральской свитой, роющимися в земле могилыщиками и мародерами из близлежащих деревень. Прямо в поле установили простой крестьянский стол и несколько грубых скамей, на которых и расположились верховный главнокомандующий генерал-аншеф и другие генералы — командиры частей, прибывшие кто верхом, кто в открытых колясках. Я неволил себя наблюдать лишь за кинематическими свойствами их совета, так как расстояние было велико. И мне казалось, что я близок к тому, чтобы расслышать их мнения, касающиеся нашей участи, когда появилась телега, сопровождаемая усердным эскортом из дюжины храбрых гусар. На грязной соломе лежал мускулистый человек со связанными руками, ногами и окровавленной повязкой на голове, рядом с ним, поджав босые ноги, сидела молодая женщина, прижимающая к груди ребенка. Чувствовалось, что мужчина был измотан до предела, хотя в нем и теплилась еще неукротимая спесь. Он лежал на боку, выгнувшись всем телом по форме неудобной подстилки, безразличный к ухабам и онемевшим конечностям, повязка сползла ниже бровей, замазав глаза кровью и, пышной шевелюрой. А в безупречно правильном, красивом лице женщины, смотрящей поверх вытянутых в беге конских голов, был виден тщательно преодолеваемый ужас и женственное беспокойство. И то обстоятельство, что она не обращала внимания ни на ребенка, которого чувствовала всем телом, ни на связанного спутника, добавляло ее лицу возвышенную отрешенность и значимость.

Расстояние было еще велико, но уже в спутанном фонтане каштановых волос я различил дивную пропорциональность лица и канонически непогрешимый цвет кожи, невзирая на лиловые клубы пыли, не унимающейся от конских копыт и зависающей марлевым флером почти повсеместно.

Выморочно назойливый вопрос моей участи и видимая его сторона, сводимая к дисциплинированному скоплению

генералов, вдруг скомкались и провалились куда-то за это суггестивное лицо, и из деятельного фаталиста я незримо обратился в безропотного художника — ловчего упоительных иллюзий.

Я уже почти любил ее.

Я терял ее образ, еще не застывший и не оформившийся в моей синтетической памяти, когда между нами возник всадник или пеший охранник, и я готов был убить их за непрозрачность, потому что боялся утратить хотя одну линию или плавное движение до того, как свыкнусь с этими очертаниями и закреплю за ними свою непререкаемую ответственность. Едва вся эта кавалькада, влекущая пленников на расправу, достигла импровизированного военного совета, мудрствующего на грязных скамьях, как один из офицеров застыл навтыжку, едва не лопнув от напряжения на середине доклада. Глумящийся над всей этой героической пантомимой воздух, начиненный продуктами гниения, доносил до меня лишь кошмарные нагромождения гласных букв, не объединенных общим смыслом. И стоило во всей этой акустической вакханалии возникнуть первому согласному звуку, как пленников выбросили прямо в грязь и принудили встать на колени перед высочайшим судом. В гортанных спазмах командных голосов, схожих по силе звука с простудившейся гаубицей, не было слышно и слабого вздоха женщины, а пронизательные уши арестантов тем временем собрали разбитые звуки воедино, и из уст в уста понеслось:

— Это Жоашен — главарь анархистов со своей женой и сыном.

Я воззрился на согнувшегося на коленях басовым ключом мужчину и без труда узнал в нем экстраверт. Главарь был точь-в-точь похож на главаря. И даже раненая голова добавляла привкус тривиальности всей его фигуре. Он кряхтел, сочась бессильным презрением, бормотал нехитрые ответы вопрошавшим его злорадно-надменным офицерам и, казалось, не очень заботил свою спесь хрупкой судьбой своей спутни-

цы и сына, которому было еще не более трех лет. Взявшиеся откуда-то колонны устало шествующих солдат загородили Жоашена, его жену и весь генералитет. Мундиры, кивера, сапоги, ранцы, землистые лица, все как одно обращенные к нам в профиль, слились в одно зыблющееся наборное полотно грубизны, призванное сменить и без того мелькающие одну за другой декорации. Только сейчас я почувствовал, что простоял все это время на цыпочках, выглядывая поверх голов любопытных мародеров, точно нещадно забавляющих себя напоследок. Я опустился на пятки, вконец удовлетворенный всем виденным и тем, что имел, а именно: застывшее, не разрушаемое временем изображение.

Я уже почти любил ее.

А на языке я уже чувствовал вкус шерсти зверя, что проснулся после того, как изъясившийся во мне художник спешил омыwać кисти, иногда этого зверя зовут самолюбием.

Растолкав погоны, штыки и землистые лица, появились генералы, уверенно-размашисто шагающие по грязи и матерчатым остаткам битвы. Впереди всех шел генерал-аншеф в бурунах своих амбиций и рыхлых щек, а за стайкой напомаженных лакеев, подававших во время военного совета сельтерскую, чертились все новые и новые шеренги конвоя. Они гигантскими шагами устремились к нам, и арестованным ничего не оставалось, кроме как увернуться от штыков и пропустить их сквозь всю свою массу, оказавшись перемешанными с вооруженной охраной. Офицеры выравнивают наши ряды, прогуливаясь между шеренгами, и точно малых непослушных детей бьют по рукам тех, кому случилось забыться в своей вольномыслящей кротости и свернуться в аморфный комок. Шеренга арестантов, шеренга конвоя, снова разъятые бусины разномастных испугов, а за ними опять антиподы, наспех слепленные из безразличия и беспрекословности.

Под ногами трепещет обгоревшая трава с частыми пролежнями от убранных трупов.

Небо с трудом удерживает гигантские черные затейливые люстры из загрузившего воронья, словно собравшегося к

литургии. Становится холодно. Фигуры арестантов напоминают гейзеры безволия, пронзающие общую ткань мучения. Я вижу нечеловекоподобные лица, сомлевшие в лиловой наркотической червоточине, меня незаметно толкают в плечо и предлагают шприц. Неужели я так плохо выгляжу, что похож на наркомана? Властным жестом отвергаю это психоделическое жало. Глупцы, самый сильный наркотик — это воля! Два-три кубика внутримышечно — и весь мир будет малодушно заискивать у ваших ног. Я не вижу ничего, кроме синих спин, с трудом волочащих свои тени за державным бегом солнца. Прядь волос пробегает у меня по лицу, я отгоняю ее, будто падчерицу, вместе с докучливым всхлипом ветра, но она вновь просится упасть на очки. Офицеры читают нам приказ генерал-аншефа. ...за неповиновение... разбой... мародерство... поругание чести полковых офицеров... возмутительное нарушение присяги...

...Каждый десятый будет расстрелян...

Я услышал это как безличное предложение и самой гадкой частью периферической фантазии подумал, что это было бы невыносимо смешно: оказаться вдруг десятым, чтобы залепить звонкую пощечину своей судьбе и напрасно взмолиться, глядя на свой труп.

Первый, оказавшийся в нашем ряду, узнав, что он первый и десятый от смерти, взорвался в пляске святого Витта, целуя сапоги офицера, нынче исполняющего обязанности бухгалтера Фемиды; второй нехотя зевнул; третий отделался стенобитным взглядом; четвертый измелывал на глазах; пятый, побледнев, сделался невидимым; шестой потерял сознание; седьмой и восьмой рассказывали друг другу пикантные анекдоты; девятый был Ингмар, замороженно смакующий настаивающее его ощущение, он был подобен меценату, огосподствовавшему самой дорогой картиной в мире.

Десятым совершенно неожиданно оказался я.

Вкрадчиво обратился к офицеру, точно галантно извинялся за какую-то пустячную оплошность, но он исчез, не за-

держав на мне внимание, так, как если бы я был третьим или седьмым, ибо он уже тасовал крапленые судьбы следующих десяти несчастных.

— Я сейчас все объясню, ведь меня не было с 18-м полком, меня придавил убитый жеребец, и, очнувшись, я затем примкнул к другому гренадерскому полку и не принимал участия в солдатском бунте...

Я было бросился вслед за офицером так, будто мне недодали огромную сумму денег, но мне в грудь уже уперся штык, а дюжина цепких рук отбросила назад в объятия Ингмара. Я мучительно старался выкарабкаться из волокиты этих нескольких мгновений, которые, как мне почудилось, ошиблись адресом, и в этой вязкой трясине дьявольских небылиц и грязных рук, раскручивающих меня, словно волчок, я услышал истошный вопль следующего десятого, который узаконил и меня в моих жертвеннических правах. Круг замкнулся. Я разодрал в кровь первое попавшееся лицо, и в этот момент ясно почувствовал, что мне под скальп щедро залили кипящее стекло.

«Господи, но ведь так не бывает»,— будто сказанное мною упало в колодец и затерялось в зыбком пятнышке подневольного отражения света.

§ 20

Рядом не было никого, когда я попытался встать, но мою голову прочно держали чьи-то руки. Я импульсивно мотнул ею, будто отрубленной, и попытался найти вокруг себя хоть какую-нибудь точку опоры, даже крюк под ребро меня устроил бы.

Но кругом не было ничего, на что можно было бы опереться. Я коротко вздохнул и увидел, что и внутри меня нет ни одной точки опоры, даже математически иллюзорной.

Я почувствовал, что сижу на плексигласовой подставке, как генеральный макет постамента, а окружающая меня явь укрылась в матово-желтых целлофановых драпри.

Я потрогал прозрачную массивную подставку и только сейчас вспомнил о руках, так властно-уверенно державших мою голову, и, молниеносно обернувшись, увидел...

...совершенно реального здорового мужчину, сидевшего подле меня на корточках с некоей умиротворенно-взбалмошной улыбкой, которую он, казалось, выдавливал из себя как особо ценный крем из тюбика мелкими, но равномерными дозами. Даже в этой взвинченной обстановке я почувствовал тиховойный запах дешевого одеколона, что исходил от незнакомца. Я сглотнул слюну, как всамделишный яд, и, не отрываясь очами от упитанных глянцевых щек человека и его ярко-красного галстука, спросил:

— Кто вы?

— Ангел. Мое удивление уже расстреляли, и я, вытянув голову,

попытался высмотреть субтильные крылышки на его спине, но сургучового цвета костюм (кстати, ужасно скроенный) сидел на нем так обворожительно плотно, что исключал наличие даже символических театральных крылышек на спине этого дородного мужчины, назвавшегося ангелом.

Я неслышно плескался в состоянии полной обезболенности, а молочно-желтый свет похитил все мыслимые окружающие оттенки.

— Не очень-то вы похожи на ангела,— говорил я в уступчивой меланхолии.

— А вы не очень-то похожи на человека,— вторил он с напевно-веселым злорадством.

Истомившись от криминогенной тишины, ангел встал в полный рост, одернув брюки и радуясь возможности размять затекшие массивные члены, спросил как нечто

само собою разумеющееся:

— Что вы хотите?

— Жить.

— А зачем вам это?

— И меня об этом спрашивает ангел, — произнес я уже как начинающий торговец.

— Ох и не ангельский вид у вас, я уже не говорю о том, что вас невозможно сопричислить к сотрудникам горних сфер; вы даже не похожи на деятеля искусств или просто земного врачевателя душ. Наконец, почему вы материальны?

Ангел хмыкнул, обозначив полные губы:

— Ну, знаете ли, что касается моей материальности, то это, пожалуй, вопрос спорный. Впрочем, как и вопрос о вашей человечности, а потом у вас неверное представление о сотрудниках горних сфер. Дело ведь не в ангельском обличье, а в том, что я выполняю обязанности ангела. Кстати, весьма успешно и потому, следовательно, являюсь официальным полномочным ангелом, курирующим данное... э-э... мероприятие и вас в частности. Я защитил все диссертации. Одну по структурной фаталистике, а вторую по экзегетике, и ваш скепсис здесь совершенно неуместен. Вас всегда обслуживали квалифицированные специалисты, и возгласы о слепой Фемиде выглядят по меньшей мере как элементарное неуважение к нашей деятельности, — говорил ангел, глядя в сторону и не скрывая своего явного возмущения. — Ну ладно, не будем об этом, вы, как и все люди, несведущи в таких серьезных вопросах, и потому я прощаю вас. Кстати, если вас это успокоит и вселит уверенность, я могу явиться с ввалившимися щеками, воздевши руки к небесам, с крыльями, в белых одеждах и произнести елейным голосом что-нибудь несложное в божьей благодати. — Просто мне казалось, что вы достаточно образованный, автономно мыслящий человек для того, чтобы поверять здравый трансцендентный смысл всей этой мишуре, которая давно уже снята с метафизического производства и впечатляет только нищих духом, — он уже сделал движение, чтобы снять пиджак.

— Полно, полно, я верю вам и не требую удостоверения ангела, — процедил я, смежив очи. — Оставьте меня жить, сделайте так, чтобы меня не расстреляли.

— Ну, это несложно, попробуйте бежать, а? — заговорщицки понизив голос на торжественный шепот, предложил ангел, приглушенно дрябло прихлопнув в ладоши.

— Ничего более сверхъестественного ваша фирма предложить не может?

— Что у вас за тон такой, шутейно-пренебрежительный? Не забывайте, вас должны расстрелять, а не меня. И потом ваш цинизм просто отвратителен, это я вам как ангел говорю.

— Извините, вошел в роль.

— Ну вот та-то же,— он перестал быть смешным и мужиковатым и, вымыслив на лице чудотворческое выражение и обрета основательную статью, подал мне руку с грациозной мужской солидарностью, приглашая подняться с земли. — Тогда вам для того чтобы остаться в живых, нужно убить миф.

— Как это, я даже не ведаю, как это делается? Не говоря уже о том, что совершенно не понимаю, о каком мифе идет речь?

— На ваших глазах рождается миф, миф о новоявленном Спартаке, защитнике слабых и угнетенных. Неужели вы не понимаете, что предводителя восстания, этого самого Жоашена, убьют следом за вами? Убьют, потому что не придумают взамен ничего более оригинального, и его кончина послужит рождению мифа, который, раздуваемый наиболее нечистоплотными самостийными политиками, угнездится в памяти народной и, обрастая трагедийной всячиной, будет впредь будоражить умы к анархистскому пустопорожнему непокорству. А против чего? Он, несомненно, сильный человек, но просто глупец. И его сильная волевая глупость теперь стоит шестидесяти с лишним тысяч душ. Дело ведь не в политике и экономических трудностях. Просто во все века были и будут бунтари, в реальной жизни имеющие менее привлекательный облик, нежели в своих страдальческих житиях. Глупый историк через столетие будет, брызгая слюной, петь дифирамбы, что он, дескать, первым посеял семена свободы, которой мы теперь пользуемся. И никому в голову не придет, что, оплатив счет своих волевых штудий шестьюдесятью тысячами здоровых крепких мужчин и подорвав нравственные устои

государства, он тем самым помог еще через сто-двести лет выродиться и окоченеть целой нации, занимавшей ареал мировой культуры своим специфическим и оригинальным методом славить жизнь. Политический строй изменяется, каждый новый сулит все новые и новые свободы, но количество бунтов, бунтарей и несчастных, погибших от руки брата и соотечественника, не уменьшается. Я не против свободы, я против свободы убивать самих себя во имя свободы. Массовое самосожжение за идею — варварство и акт бессилия. Это не мое дело: я ангел. Но я пристрастный ангел и хочу, чтобы убили миф и таким образом стали сами мифом. Ведь только миф, а не реальность дарует вечную жизнь.

— Как мне сделать это?

— Если в утробу нарождающемуся мифу занести хворь или грязь, он выродится в жестокую явь, и ему никто не поверит. Явь стерильна и потому легко забывается, она не поощряет к действию. Только иллюзорный, пластичный, невесомый миф агрессивен и начинает действовать. Убей его: и ты сохранишь тысячи жизней. И никто не будет благодарить за то, что ты дал им родиться и продолжить жизнь во имя ее неповторимого и причудливого цветения, потому что ты сам уже будешь мифичен и, следовательно, анонимен. Анонимный дар — это высшее и самое чистое счастье, как вечный дар анонимного Бога. Знай: -только мифическая анонимность дарует вечную жизнь и венчает высшее проявление человеческой самоактуализации, ибо ни одно из людских творений не прекрасно так и не вечно, так молодо и живуче, как вневременной, внепространственный миф!

Его патетическое лицо ослабилось, приобретая прежнюю мужиковатость. Все здание идеи, которую он возводил вокруг себя, рухнуло, точно карточный домик от небрежного прикосновения. Выражение глаз сделалось административным и притупленно бдительным, и, очевидно, выждав, когда рассыпанная вокруг него языковая субстанция придет в некое равновесно-аморфное состояние, он выудил из внутрен-

него кармана блокнот с золотой тисненой монограммой на кожаном переплете, полистав его, открыл где-то на середине. Мои пальцы вздрогнули, ощутив граненое прикосновение карандаша — так давно это за ними не водилось.

— Распишитесь вот здесь.

От мизерных типографских букв, предваряющих собою ровные столбцы какого-то типового хозяйственного документа, в дышащих лунках моих зрачков произошла некоторая неурядица белого и черного цветов. Я потрогал виски, словно регулируя четкость и контрастность зрительного восприятия, и, вцепившись грифелем в единственный чистый от цифр белый обрамленный квадратик бумаги, наотмашь вонзил свою подпись напротив меркантильно ободряющей графы «Итого»:

— Всего доброго,— молвил ангел, игриво поправив мне розовые очки и фантомообразно теряя очертания, как доморощенный сказочный джин.

Я стою в шеренге. В шеренге, состоящей из тех, кому случилось стать десятым. Мы безвестные искупители удобства десятичной системы исчисления, оглашаемые костлявым карканьем чернильно-пепельного воронья. Нас должны расстрелять за мшистым оврагом возле леса. Мы стоим, согнанные из всех арестантских шеренг в одну, обреченную, в двойном оцеплении тех, кому посчастливилось стать первыми или девятыми. Именно им — ближайшей арифметической окрестности числа десять — в нашем бесконечном ряду превращений надлежит привести приговор в исполнение. Те же, кто по каким-либо моральным или иным соображениям вздумает отказаться, дополнят нашу осужденную последовательность. Я видел, с каким благосклонным жестом Ингмар получил оружие, когда прозвучала команда вооружить наш почетный караул. Он держал ружье не как огнеизвергающее жерло, но как скипетр, являющийся средокрестием целого ополчения упоительно-острых ощущений. Я посмотрел на свой жалкий вид и пришел к выводу, что мнимый смертник

должен выглядеть более респектабельно для придания красочности населяемому мной мифу. Синий мундир и белый жилет мало чем отличались друг от друга по цвету из-за воздушных притираний гари. Брюки от длительных пресмыканий перед изнанкой бытия сделались бурозелеными на коленях. Кивер я потерял, ранец с нехитрой поклажей отобрали при обыске. На мне не было даже нательного креста. Отряхнувшись, насколько это было возможно, и поправив экипировку, я застегнулся на все пуговицы, затянул ремни и...

...конечно же еще раз поправил розовые очки.

Я вымерил на глаз расстояние до скопления высших офицерских чинов, не спеша заведовавших нашими судьбами, и, увидев обилие пеших и конных групп, двигавшихся в беспорядке на участке, нас разделявшем, а также несколько повозок, запряженных сонными лошадьми в нимбах перевишней мошкары, я прозрел геометрическое благоприятство — звездный путь из точек приложения силы, слепившейся в сложнейшую композицию, баснословную спасительность. Я подвергаю моментальной ревизии все группы мускулов, отправляя по нервным магистралям тесты на гибкость и быстроту реакции, мои виски стучат, будто дикие стада таймеров, замеряющих время до старта.

Господи, я люблю жизнь, как порывистая буйная хищная тварь, и если я тебе хоть сколько-нибудь интересен для коллекции как твой умопомрачительный проект, сделай так, чтобы на тридцать секунд во мне взяли верх каленые инстинкты самца, загнанного в угол, а затем на тридцать первой секунде все инстинкты упали бы к ногам и во мне бы полновластно воцарился мудрец.

Последнее, что я сделал в моей старой домифической жизни, это примыслил в голове магнитофон и заставил его захлебнуться в неистовом биении рок-н-ролла, нещадно вытаптывающего ритм на всех болевых окончаниях и доводящего меня до состояния эйфорической гипердинами. Кроме того, я поправил у себя внутри портрет любимой женщины в

изящной строгой рамке, чтобы он висел идеально ровно безотносительно ко всему внутри и вне меня.

Я издал дикий вопль и с живописным ужасом воздел руки к первому приглянувшемуся клочку неба, сплотившемуся над левой шеренгой нашего эскорта так, словно там началось агрессивное тяжеловесное светопреставление, и, увидев всколыхнувшиеся влево скучно-испуганные лица, метнулся вправо, ударив ребрами ладоней раскрывшиеся в удивлении шеи двух охранников и выломившись через образовавшуюся между ними брешь, побежал за крытую повозку.

Не готовый к моментальным действиям эскорт дал мне возможность затесаться между пешими и конными группами, кажется, выставленными здесь специально мне на белую отраду, а из-за гигантской повозки они не видели, что произошло в шеренгах, и потому с изумлением смотрели на мой зигзагообразный бег. Офицер уже кричал хрипло и раскатисто «Держите его!», когда я вырвался на открытый участок, и передо мною в нескольких десятках метров уже виднелись будоражащие воображение шляпы со страусиными перьями, золотистые кляксы звезд, разноцветные банты и толстенные лампасы. На моем пути возник конный драгун, презрительно взирающий свысока на мое исступленное лицо. Он видел группу преследователей, отчетливо слышал их возгласы, и по тому, как он спокойно потянулся за саблей, я понял, что этот человек служит в свите генерал-аншефа телохранителем и незнаком с блеклыми сомнениями.

Я бросаю ком земли в глаза коню, и тот падает назад, отодвигая свистящий взмах сабли. В этот миг пролезаю у него под брюхом, сильно ударив кулаком в пах, и конь, дернувшись всем телом, пятится и, приседая, уносит с собой и второй сабельный посвист. Между мной и генерал-аншефом более нет ни души. Я бегу к его по-отцовски спокойному лицу, сбавляя темп, и валюсь на колени у самых ног, не успевая телом за собственным дыханием. Все просто, как в назидательной притче.

Мою голову растаскивают на лоскуты гуттаперчевые перчатки многочисленных адъютантов, вцепившихся в волосы, в глазах роятся розовые слезы, затмевающие своим радужным перламутровым блеском все мои мультипликационные мифические страдания. Но я терплю, прикидывая в уме, сколько теперь задолжал своей воле, и тшусь как можно скорее уgomонить свое дыхание, дабы говорить возможно внятнее и хладнокровно.

— Отпустите его!— звучит надо мною будничный голос генерал-аншефа, и ретивые пальцы уставных приспешников отпускают на волю мои волосы, а хрупкая кожа головы начинается соцветиями колоратурной терапии. Я проглатываю всю очистительную палитру ощущений недавней боли, уже спешащей в память, поднимаю голову и вижу беспредельный светодарственный полог неба, натертого тонкими облаками, как мелом, очевидно, чтобы вернее снести все, что под ним происходит. Из-за небес, прорывая на-мелованную облачную марлю, свешивается лицо генерала, взятое в тугие скобки дряблых щек.

— Что вам угодно, дерзкий милостивый государь? Извольте встать и ответить!

— Мне угодно спасти ваше имя от проклятий потомков,— говорил я, вставая с колен и разламывая слова одно от другого. Генерал-аншеф, выждав мгновение, брезгливо взмахнул рукой, и покорливые адъютанты убрались, оставив нас наедине.

— Повторите,— говорил он, шагнув мне навстречу.

— Я хочу уберечь ваше имя от проклятий потомков так, чтобы в учебниках истории оно никогда не подверглось чернению за расправу с народным кумиром. Ведь вы прикажете расстрелять Жоашена, не правда ли? Я хочу уберечь нравственные устои государства от неловкого жонглирования лозунгами. Наконец, я хочу спасти тысячи жизней от неверной постановки идеи свободы. Ну и я хочу спасти свою жизнь, потому что по вполне понятному стечению обстоятельств я

не был в числе взбунтовавшихся солдат, ибо чужд анархии в действиях, так как вполне довольствуюсь ею в мыслях. Скажите, неужели я похож на каждого десятого?

В губах генерал-аншефа закутался легкий шепот и исчез, вымертвив его грузную фигуру в молчаливой растерянности, которая, казалось, усугублялась тем, что он совершенно не удивился моему появлению и моим мифологическим речам, так вкрадчиво дополнившим его вневременные думы.

Мы простояли друг напротив друга, как две соперничающие в долговечности мумии, так что я совершенно забыл укромный привкус времени.

— Положим, я воспользуюсь вашим советом. О чем вы будете просить меня? О помиловании и скорейшем увольнении из армии?

— Наоборот, именно поэтому взамен я хочу просить вас дать мне честное слово исполнить все в точности и дать мне патент офицера. Поверьте, я молод, энергичен, благороден и хочу послужить нации, а ведь нация, состоящая из солдат, не вырождается, не правда ли?

— А кто может поручиться, что все произойдет именно так, как вы советуете?

— Время и вечно свежие цветы на вашем величавом памятнике в недалеком будущем. В противном случае вам придется не раз перевернуться в гробу от презренных речей юнцов.

В его глазах изъясился моложавый блеск, и он посмотрел на меня с удивленным интересом.

— Как вас зовут?

— Святой Габриэль — покровитель здоровой государственности.

— Я обещаю вам жизнь и патент офицера. Итак, как же мне спасти свое имя?

— Сделайте из Жоашена Иуду, щедро наградите его, пожалуйте ему титул, обласкайте жену и сына, подарите ему в селении У богатый магазин и дайте право заниматься торгов-

лей. Зарвавшемуся герою легче всего умирать, народный купитель подобен мотыльку — это, в сущности, однодневное творение, именно потому этот тип человека наиболее живуч в мифах о свободе. Жоашен сейчас готов ко всему, а именно к страданию, пыткам и смерти, но он совершенно не готов к жизни.. Тогда обрушьте ему жизнь на голову, и она сломит его, как и сломит его материальное богатство, против которого он так восстает. Его женщина, увидев свободу, деньги и почести, не будет думать ни о чем ином, кроме как о красоте своего счастья, потому что сейчас она всецело упивается красотой своего страдания. И если она настоящая женщина, а все спутницы сильных личностей — настоящие женщины, она сделает свое черное дело и задушит остатки идолоподобного героизма на супружеском ложе в своих роскошных объятиях. Для нее муж не идол, а просто мужчина, а богатство — пряный лоск любви. Женщина понимает только то, что касается непосредственно ее, и, пожалуй, нигде женщина не значит так много, как при строительстве мифа вокруг деятельного человека. И все будет так единственно по той причине, что человек, способный легко переносить огромное горе, легко свыкается с огромным счастьем как с чем-то само собой разумеющимся и сообразным его масштабу. Прimitивная, убогая, забитая домашняя хозяйка усомнилась бы на ее месте, прокляла бы мужа, отвергнув богатство, не умея к нему привыкнуть, но Клеопатры неспособны к мизерным сомнениям и легковесным жестам. Каждый человек в истории должен быть использован сообразно его масштабу. А наш незатейливый народ воспитан так ангельски просто, что не станет разбираться в тонкостях интриги и мифотворчества, и, если он увидит деньги и богатства, обращенные к человеку, бывшему средоточием восстания и гнева властей, он не сумеет примыслить подвох и успокоит себя изменой кумира, потому что Иуда так же необходим для полноценного функционирования мифа, как и Иисус. Если ему платят, значит, он заработал эти деньги. А на чем может заработать предво-

дитель восстания, кроме как на измене? На большее просто ни у кого не хватит фантазии, и никто не будет искать эту измену, ведь восстание подавлено. Ваше сиятельство, ваше имя увенчано лаврами прежних побед, и с вас как с военного будет снята всякая ответственность, потому что вы исполнили свой долг, не занимаясь политикой и местью. Как видите, одно как нельзя лучше стремится к другому, точно сам мир просит быть обманутым. Вся фундаментальность будет заключаться в правдоподобности и естественности картины в результате общей людской испорченности, а все необходимые пронизательные изыскания будут со временем задавлены массовостью, стереотипностью и инертностью людского мышления, и в историю будет вписана еще одна похожая неприметная страница. Мы не посраим стыдливую галерею людских образов новообретенными свойствами.

Генерал стоял в некоторой безропотной задумчивости, изредка стряхивая исподволь набегавшие чувства, и эта грациозная внутренняя брезгливость изобличала в этом тучном пожилом огрубевшем человеке прежнего тонкоманерного великосветского франта, гораздо до шелковистых женских ласк и мазурки, сбрызнутого духами и цинизмом. А сейчас от моего нерадивого вторжения он скользнул в свое безглазое прошлое, которым так рьяно пренебрегал, оправдывая себя догмами закона, и от этого не санкционированного уставом посещения ему сделалось зябко и неприятно. Мнилось, что он вовсе забыл обо мне, озираясь на меня как на одно из лютых сплетений своей памяти. Я почти видел окостеневшие обручи, распиравшие его зрачки. Увы, я был совершенно неприметен в своем шутовском мифическом облачении на общем фоне маскарадного подвижного оцепенения, так как диковинные хитрые приборы для замера всех видов человеческого судьбоносного времени вдруг разом упали навзничь, явив сорванные пружины и протертые до дыр шкалы. Генерал-аншеф изловчился было зацепить губами воздух, но послебитвенный аромат ворвался в ноздри, точно

обжигая их, а изнеженные болезни души и тела, закупоренные на груди гигантской орденой звездой, перетряхнули все содержимое, смазывая остатки воли для дальнейшего поспешания за вектором судьбы. Очевидно, окруженный механическим хламом отслуживших приспособлений, предназначенных для конформистского отчета о собственной жизни, генерал-аншеф отчетливо понял, что время — это всего лишь будущее, бывшее настоящим.

Наконец, он как истинный военный отвлекся от творившегося внутри, даже не прибрав напоследок обещаниями самому себе, и, потроша в жирных пальцах вышитый платок, наконец спросил меня:

— Зачем вы носите эти розовые очки?

— Для того чтобы лучше видеть, ваше сиятельство. — У вас редкая болезнь глаз?

— Нет, самая частая, просто мои глаза голубого цвета, и я боюсь их запачкать.

— Вы напрасно утруждаете себя афоризмами, вы и так достаточно неестественны, хотя ваша неестественность неудивительна, а скорее даже, напротив, предожидается, — молвил генерал-аншеф, изрядно высморкавшись так, будто одним громopodobным порывом студенистого тела избавился от болезнетворных воспоминаний о непрожитой части своей жизни.

— Ваше сиятельство, я неестественен ровно настолько, чтобы мне поверили.

— Оставьте ваши трюизмы, приберегите их лучше для офицерских собраний и смазливых маркитанток! — Он, наконец, обернулся ко мне, неистово комкая платок с кружевами, в его огнецветном взоре помимо заинтересованного возбуждения я вычитал блуждающий оттенок отвращения. — Идите, вы уже сделали свое черное дело, я распоряжусь о присвоении вам звания подпоручика.

— Есть, благодарю вас, ваше сиятельство, но дело мое не черное, а розовое.

— Это как вам будет угодно, подпоручик.

Я проделал несколько компактных шагов куда-то по диагонали в сторону, не столько чтобы идти, сколько чтобы исполнить приказание идти. Недоуменные взгляды адъютантского цеха спровоцировали экзему на моем солдатском мундире, предвкусившем офицерские погоны, и я едва не свернул в сторону от своего неопределенного маршрута, как вдруг между праздными вороньими возгласами угнезвился густой залп, унесший за мшистым оврагом жизни тех, кого угораздило случитьсядесятыми.

Это был совершенно розовый расстрел. Я вспомнил на ощупь лицо беспечно-надмирного Габриэля, что остался навеки лежать в комьях липкой грязи за свою непростительную математическую оплошность. Теперь я не был десятым, отныне меня нужно было исчислять по другой шкале.

В лакомой пришедшей тишине я добрался до моложавого полковника с растрепанными бакенбардами и доложил ему нечто совершенно неприемлемое для здравого смысла и тотчас схватил себя за руку, ведь я впервые подумал о себе...

...в третьем лице.

Ничто не проходит даром, и даже работа на собственный миф, который возвышает и отплачивает обезличением.

Теперь вместо меня был я.

Габриэль заворуженно всматривался в колыхающиеся ряды приторно-бледных лиц; в причудливые замедлительные действия стражи, уводящей Жоашена, его жену и сына; в конвульсии измотанной обозной прислуги, силящейся раззадорить одеревеневших лошадей; в искусительные теплотворные ласки нещедрого предсонного светила; в перистые ожерелья облаков, подернутых вечерним бирюзово-багряным румянцем. Блеск его глаз вторил очертаниям всех лежащих на боку губ раненых. Его сверхъестественный взор дырявил тающий лампадный дым, натужно взбирающийся к небесам от застигнутого врасплох селения Y. Розовая перспектива двух голубых тайников ликовала над сытым клекотом победителей, стервятников, беглецов, мародеров и над неровно

сшитыми пологам горизонта, полновластно открытого настужь новому роскошному дню.

Ну а дальше было неразборчиво, как в первых записках гимназиста, забытых под дождем.

§ 21

Я окончил офицерские курсы экстерном с отличием и ввиду того, что полное умиротворение населения в приграничных районах затянулось на добрых полтора года, успел ненароком поучаствовать еще во многих стычках правительственных войск с анархистами, подстрекаемыми к нерадивому волеизъявлению пособниками Жоашена. Мне не единожды доводилось слышать, что бунтовщики пользовались поддержкой и средствами некоторых заграничных международных центров, процветающих на нестабильности правительственного курса, а в наиболее тенденциозно настроенных газетах мне в глаза бросилось слово «революция», обросшее несусветными небылицами. Но я не разделял эти смелые мнения, неприметно и настырно верша свой миф с беспристрастной усидчивостью тончайшей водяной струи, льющей мяготь разрушительных капель на голову каменного монстра. Мои отношения с офицерами поначалу носили обоюдно натянутый характер и ограничивались постылым влачением служебных обязанностей, так как меня, «темного афериста» и выходца из солдатской среды, упорно не желали почитать за своего. Меня невнятно дичились, смотрели свысока, с нескрываемым пренебрежением. Но манеры мои, впрочем, иногда даже более естественные и изящные, чем у «настоящих офицеров», сотворили свое благодетельное дело. На шумных офицерских собраниях мне довелось не раз блеснуть интеллектом, оригинальностью мышления, энергичной образностью языка, и, кроме того, я, как любимых охотничьих псов, выпустил на свободную охоту свои предубеждения, что по вычурности и прихотливости полностью соответствовали нравам общества. Столичный златозвонный лоск, взлелеян-

ный на иноземной манерности, посодействовал мне наподобие хитрого приворотного зелья. Я превзошел почти всех по бескомпромиссной силе здоровых патриотических суждений, вовсе не допуская никакого заигрывания с декадентскими поветриями, замешанными на безрассудном пацифизме. Наконец, я использовал расположение ко мне высшего офицерского начальства, свою искуственную пунктуальность, подтянутый, лощеный вид и неукоснительное повиновение. Общительность и темперамент довершили то, что на меня создалось нечто вроде моды, как на дерзостную пеструю птицу, а легкое ранение в ногу и некоторая командная жестокость, с каковой я повелевал покоренными, вразумляя их мечом и словом, позволили, по удачному стечению обстоятельств, пробиться мне в лучшие офицеры полка, быть награжденным какой-то весьма не заносчивой медалью средней руки и очередным званием поручика, так как с управлением разношерстной солдатской массой, составившейся в процессе подавления бунта, я справился весьма удачно, будучи единственным уцелевшим офицером. Способность не кручиниться даже в самой запущенной ситуации, триумфально верша все вместе взятое, закрепила за мной прозвище «консерватор», что в армии всегда вызывает молчаливое одобрение командования. Ворвавшись на пасмурной чернильной волне в одну из наиболее зловещих канцелярий, я осел почти во всех присущих ей документах под формулировкой «политически благонадежного», что вконец и удовлетворило мое потаенное циничное тщеславие. Мне уже прочили изрядную благоусердную светскую жену, громоздкое многочадие и вполне уютную проветренную камеру в социальной структуре общества. Во мне обласкали одномерного экстраверта, и я с едва сдерживаемым кощунственно сатанинским хохотом следил за его никчемной карьерой, ибо меня, как раз и навсегда ожемчуженного гадкого моллюска, не прельщали никакие наружные перипетии, клопочущие за пределами моей космической вневременной, внепространственной раковины

мифа. Я знал, что жемчужина, умильно хоронящаяся за ее сжатыми в сухом поцелуе створками, не обработана еще во всем опустошительном эстетическом чудотворстве, и тогда, укутанный чадрой диковинной хандры или стекленея в бес- сильной энергетически перегруженной злобе, я вспоминал светодарственный портрет в строгом обрамлении, несущий фантастически драгоценные черты той, что была уготована мне в качестве пленительной награды за мое несравненное метафизическое донкихотство. И тогда я хватался за содро- гающийся лоскут кожи на груди, что должен был бы быть оседлан амулетом с ее изображением, но только в том случае, если бы я был образцовым влюбленным. А я не был таковым и потому размазывал на груди в надушенных кружевах ру- башки свою порфирированную досаду и свое скипетроподоб- ное превосходство.

Она еще ни разу не видела меня, а я уже полтора года осторожно пеленал ее судьбу, испытывая трепет при таком глобальном вмешательстве, подобно терпеливому археологу, что подползает на брюхе к ископаемой посланнице веков.

Поправляю свои розовые очки.

И вот я снова в столице, с нею все тоже самое. Извозчик с уважением взирает на мой безупречный парадный офицер- ский мундир, источающий амбиции верноподданничества. Мой золотой вызывает нижайший поклон, я знаю из прессы, что авторитет военных возрос, что разномастные демократи- ческие мнения подвергаются гонениям и публичному осмея- нию, что все слои общества полонила волна патриотизма, что главарей столичных анархистских группировок растерзала пьяная толпа.

Бодрый дядин взгляд не в силах был разом навестать прошедшее время, приобвыкнуть к блеску эполет и строгому сплетению линий мундира своего причудливо вольнодумно- го выученика, и потому медленное брюзжание слезы зароди- лось между ресниц, дичась своего мужского происхождения, а несравненная тетушка Джулия как всегда была сущим во-

площением женственного воодушевления с непередержанной искренностью.

Тулов был так же величав и сумасброден, но только теперь пряные вычурности его поведения были несколько осмотрительнее в моем присутствии, что не укрылось от внимания последнего.

Я расхаживал по дому в мундире, ни разу не вздумав расстегнуть верхний крючок воротника. Ни с домом, ни с его убранством, ни с челядью не произошло решительно никаких изменений. За парадным обедом, устроенным дядею по случаю моего, как он изволил выразиться, «выздоровления», Тулов был все так же шикарно многословен. Только пригубив аперитив, я заметил, что роение седины на его висках сделалось гуще и ветвистее, а тетушка Джулия смеялась дивными смехами, расставляя чаще, чем положено, замысловатые синкопы, из чего я сделал беспощадный вывод, что время выцарапывало свое, невзирая на явно лазутческие методы. Помимо дяди, тетушки и меня за столом присутствовали еще шесть-восемь человек, близких друзей дома, которые нещадно забавлялись на протяжении всей трапезы, впрочем, не нарушая предписаний самого взыскательного этикета. Их окрыленная жизнерадостность давала себя знать с каждой переменной блюд, а при подаче десерта должна была вот-вот поправить всю строгость мебели и высоченных лепных потолков, снабженных лежбищами продолговатых теней.

Я слушал остроумный столичный гомон, умело аранжированный колоритными возгласами, бездумно палил прохмелевший взор на спелых бутонах свечей и неприметно ни для кого из присутствующих уносился к ее голографическому фантому, что транжирил свою космическую красоту на скатерти, салфетках, тяжелом столовом серебре, обоях, картинах, статуях, что гнезвился в перлах мужских умствований и прикрывался роскошными прическами дам. Вот уже полтора года она присутствовала в моем воображении в качестве верховного цензора всех моих волевых метафизических актов,

неизменно давая на них благосклонное разрешение, и я действовал, зная, что мой миф отстроен еще не до конца и что должен буду сокрушить еще не одну преграду, прежде чем смогу чародейственно забыться в безбрежии вечной анонимности.

Я учусь быть в третьем лице... чтобы Габриэль смог победить окончательно и вытоптать то место, которое сейчас рядом с ней занимает Жоашен.

Генерал-аншеф, как и всякий порядочный, но недостаточно смысленный человек, не уразумел до конца смысл моих слов и что же на самом деле вытекает из их претворения в явь. Несчастный, он испытывал ко мне что-то вроде отвращения, ибо ему пригрезилась моя моральная нечистоплотность после того, как я предложил в сознании людей подменить Спартака Иудой. Мне жаль генерал-аншефа, ведь он не заметил, что, подменив, с одной стороны, имена, я спасаю тысячи жизней — с другой. Вот она — магия слов и понятий, оказывающая мистическое воздействие на души людей, которые грезят спасением абстрактных книжных представлений, пренебрегая спасением живых человеческих душ.

И я объявляю себя метафизиком. Да, моя позиция во сто крат более физична, чем все это людское настырное моралетворство.

Мой бодрый надмирный смех, пронзив все собственные проекции отображений, которыми я оперировал, вернулся к сотрапезникам, перекатываясь от персоны к персоне.

Габриэль уже полтора года насылал на нее силу и неповторимость, приваживая к ней все мыслимые достоинства так, чтобы между ней и Жоашеном возникла трещина; так, чтобы по прошествии времени, которое сейчас шло не в пользу бывшего главаря, она досталась Габриэлю, будучи наделенной всеми мыслимыми добродетелями. Полтора года он напрягал все силы воли, души и воображения, чтобы повысить ее стоимость.

Он постепенно сознавал ее большим, чтобы она стала этим большим.

Мой милый, непосредственный, выцветший Жоашен, вот уже полтора года ты бьешься в стальных путах демифологизированного бытия, которое я измыслил тебе в виде утонченного проклятия. Полтора года я как искусный трансцендентальный вампир высасываю твою волю и энергию и обращаю их в свою собственность. Я насылаю на тебя летучую порчу, ворожбу, всевозможные хвори, заклęcia и все покровительствующие мне inferнальные силы, которые, подобно массивным брандерам, уплывут в твою жизнь утонув в ней, и сделают ее непригодной к употреблению.

Ты еще ни разу не видел меня, а я уже полтора, года осторожно мумифицирую твою судьбу, чтобы схоронить ее от людей и сделать незаметной. Ежедневно ложась вместе с моей скупой, но энергичной и преданной молитвой, возносимой господу, я увечу экстрапространство словеснообразными формулами диковинных препаратов, что вызовут в тебе, Жоашен, великое заражение воли и белокровие человеческой сущности. С каждым днем, каждым часом, каждым твоим купеческим грошом ты будешь хиреть, гнить, тлеть медленно, но непреодолимо, превращаясь из грузного обворожительного идола в ленивого пасквильного человека, похотливого, чревоугодливого самца, тронутого печатью вырождения. Отныне ты будешь биться в самом каменноостром узилище агонии, пьющей твои соки. Да пожрет тебя летучий огонь, да онемеют все твои помыслы, да оскотинится твой духовный мир, да будешь ты удоботерзаемой тварью, подверженной всем слабостям и изъясам. Я обкурю твою свободолюбивую фантазию тоталитарными гимнами, я обращаю твой мозг в убогую подъяремную деспотию, заселенную вредоносными спорами вечных догм. Знай, ничтожнейший из двуногих, я внутри тебя, я кругом тебя, я всюду, и я невидим, не мыслим тобою, я неуязвим. Я выжру твоё нутро, отброшу труп и займу твоё место. Знай, меня зовут Габриэль!

Огнетворные русла свечей обмелели, все доступные ша-рады и ребусы выжали сметливость из праздных здоровых

умов, мимические мышцы смялись в непроходящих улыбках, все обсужденные репутации рухнули, забившись в дальние глухомани преисподней, все мертвецы, что сорвались на язык к нашим гостям, отбили бока, переворачиваясь в могилах, а в стерильных от перемываний костях не было недостатка.

Галантные остроумцы покинули дом, Габриэль уперся лбом в одно из своих воспоминаний, словно баран, но оно, наглухо затворенное, не покорилося ему, и тогда он зажмурился до боли в области прошедшего времени. Забористый хмель заговорил боль и толкнул лицо снова в смех, но тот был уже много старше своего хозяина, и они разминулись.

Тулов проводил гостей и вернулся ко мне, бросив уже издалека:

— У тебя вид идеального аскета, мой дорогой Габриэль, уж не сотворил ли ты какую-нибудь гнусность в этих эпопеях?

— Аскет и гнусность?

— Конечно, только идеальный аскет может оправдать величайшую гнусность, как оправдывают друг друга противоположные крайности, оправдывают уже самым своим существованием.

— Ну тогда я скажу, что убил миф.

— Вот это да... И к какому же наказанию тебя приговорили за это кощунственное злодеяние?

— К пожизненной ссылке в анонимность.

— А-а-х-х-а-ха. Ну что же, убил так убил, чего только на войне не бывает. Послушай, Габриэль, у меня к тебе совершенно мирской разговор. Дело, видишь ли, в том, что, пока ты стяжал лавры, мне привалило неслыханное счастье. А именно: по последнему желанию одной моей недавно усопшей родственницы я унаследовал довольно внушительное наследство и теперь, естественно же, столкнулся со своеобразными хлопотами по вступлению в новые владения. Дело сие, как ты сам понимаешь, хоть и приятное, но требует огромных усилий и систематического вторжения в дела. Мне

такое количество недвижимости не сдюжить, но ты же знаешь мой жизненный уклад, цезарианские собственнические взгляды мне не присущи, и потому я хочу позвать тебя в качестве управляющего частью имений. Подожди, не говори сразу, я знаю твои саркастические ужимки. Подумай лучше: ты теперь офицер, взрослый, уважаемый и вполне опытный человек, и твоя отставка была бы воспринята в обществе без нежелательных толков. Повоевал и хватит, пора и приобщиться к жизни порядочных людей. Я не тороплю с ответом, я понимаю: ты весь еще во власти острых военных переживаний и привычек...

— Да, именно во власти, — перебил я дядюшку.

— ... тем более, отдохни, разомнись, да и, наверное, пора тебе уже подумать о женитьбе, а это обязывает.

С доброжелательным безразличием я смотрел на продолговатое дядино лицо, и все его вертикальное измерение в соответствии с определенным масштабом преосуществилось во мне в пышную уверенность, что нужно в который раз послушать его совета и пойти лечь спать. Я поднял глаза на Тулова, выдержал взгляд так, чтобы можно было почувствовать его на ощупь, и, как мнимо сознавшийся толстокожий еретик в паутинном подземелье инквизиции, вдохнувший запах собственного паленого мяса, сказал медленно и ясно, чтобы все писари успели угнаться за мною пером:

— Да.

Уходя спать, Габриэль уносил свой односложный положительный ответ приблизительно так же, как скромный пустынножитель носит свой транспарант «Хочу пить». В чародейственном жемчужно-перламутровом предчувствии сна на него нагрянули стада цифр, они облепили органы чувств, повисая на них идеальными гирляндами. Целые числа отличались разумным степенством, бесконечные дроби терзали горло, сказочными драконами змеились меж дрожащих ресниц мнимые переменные, а затем началась неистовая вещная кавалькада разделов высшей математики, они будо-

ражили мозг, раздвигая границы мыслимого, они норовили столкнуть Габриэля в диковинную пустошь цифрочудного безумия. Вакханалия идеальных математических моделей засасывала молодого офицера, подобно иллюзорной трясине, но потом вдруг сжалась в ком, расплющилась в сверхтонкую плоскость и, взорвавшись белым шумом, упала к ногам предвестия сна неимоверно расхристанной единицей. Габриэль повертел ее в руках, как диковинный меч, и, не зная, что с нею делать, принялся вычитать из нее все что ни попадя и вдруг в этой уничижительной операции нащупал следующее умодопущение:

что генерируемая нами мораль есть, в сущности, качественное выражение количественных сил, недостающих нам для того, чтобы стать самими собой.

Перевернувшись на левый бок, он уже спал. Габриэлю привиделся красочный разговор с собственной совестью, который начался с ее ласкового обращения:

— Ну что, бессовестный...

На будущий день в одном маленьком кафе в центре столицы я собрал своих друзей: Иохим, Макс, Ингмар, Мартин, Гийом были здесь, мы расположились за низким столиком из мутновато-белого стекла возле гигантского окна, наблюдая праздно разодетую публику, гуляющую между длинноволосыми уличными музыкантами, сутулыми художниками и пегими голубями. Поведав свою гражданскую жизнь в неспешных мазках, друзья поинтересовались моими офицерскими приключениями, ибо они были уволены из армии сразу по подавлении восстания в сопредельных землях, то есть раньше меня и, кроме того, в звании рядовых. Я рассказал все без утайки, вырывая колоритные впечатления из скоросшивателя памяти. Добравшись до своего расстрела, я заказал терпкое красное вино, и мы почтили память погибших товарищей, я снял розовые очки и провозгласил тост за мужскую солидарность. Со стороны, кажется, был смешон, и две очаровательные хохотушки в пеноподобных криолинах воззрились

на меня с нескрываемым удивлением. Где-то в глубине кафе бесполой голос надумал читать декадентские стихи о любви, и я, закинув ногу на ногу, подумал, что настало время просить друзей о помощи.

Уже через полчаса мы расставались, находясь в новом качественном состоянии. Друзья объявили мне, что готовы помочь, и, пожимая руки, мы условились еще об одной встрече, дабы уточнить организационные подробности нашего предприятия, сделать все необходимые преустройства. Кроме того, моим друзьям предстояло взять отпуск на несколько дней. Во вращающихся стеклянных дверях я задержал Ингмара и в кромешной бессловесности, источающей петли табачного дыма, духи, шелест юбок, спросил его:

— Скажи, ты выстрелил бы тогда, если бы мне случилось встать против тебя в ряду обреченных?

— Если бы тебе случилось, то я непременно бы вкатил тебе порцию свинца прямо в очки, — и он рассмеялся белозубым смехом.

— Спасибо за искренность, ловец ощущений.

— Пожалуйста, трансцендентальный авантюрист, и до скорого.

Из клетчатых складок макинтоша, занявших все пространство возле дверей, Ингмар выудил непрошеную цыганку, которая, прислушиваясь к тайнописи своих побуждений, выискала мою руку и, стандартно заломив карий взор, вдруг спросила:

— Чему улыбаешься?

— СЕБЕ, — отвечал я, отпуская ладонь, будто совершеннолетнего воздушного змея.

— Хочешь, разгадаю судьбу?

— Ты опоздала: я уже сделал это. Я вытянул свою руку из ее униженных безвкусными перстнями пальцев, а цыганка, впервые узрев ладонь, не размалеванную ни пресловутой линией жизни, ни надувными пунцовыми буграми Венеры, ни

мстительными фиордами жен и детей, утесненно отпрянула, бормоча:

— Но ведь у тебя чистые руки, и на них нет ни одной хиромантической линии?

— Тем легче разбирать судьбу, ведь я не ограничен ее врожденными предписаниями.

Я уходил прочь, внимательно вглядываясь в свою чистую белую руку, ибо волновался, как бы цыганка своими прикосновениями не занесла в эту мою концентрированную стерильную судьбичность нечто наподобие знака-зацепки, из которого можно было бы развернуть и подсмотреть мою мирскую участь, но никакой косметической хвори не было, и я продолжал улыбаться.

Спустя ровно неделю душистым светловехим утром мы покинули столицу, направляясь к селению Y в трех черных закрытых каретах. Мы наняли полдюжины угрюмых возниц так, чтобы можно было ехать круглые сутки, в багажных отделениях было вдоволь всякой снеди, мы захватили пистолеты, ружья, веревки, сменную упряжь, не забыли аптечку с нехитрым лекарским инструментарием.

Нас было шесть верных спутников, готовых на изящные авантюры.

Селение Y старательно зализывало раны, причиненные войной в те полтора года, что я не был здесь. Но даже по окрестностям было видно, что это недостаточный срок, если Богу было угодно столкнуть под этими стенами две спесивые настырные силы. Здесь было малоллюдно и невесело, и люди невольно ежились, завидев наши черные глухие кареты,- порывисто вытрясывающие пыль из необхожденной дороги. Возницы, обряженные в черную единообразную форму, нагнали всамделишный страх на зевак, и я понял, что правительство еще долго наводило здесь порядок. Именно от этого пришельцам в том краю не были рады. Мы расположились в гостинице как раз неподалеку от здания библиотеки, и это казалось мне предвестием успеха. Я отодвигал простень-

кую занавеску и с третьего этажа гостиницы сквозь ветви номенклатурной домашней зелени заворуженно-сакрально всматривался в массивную медную вывеску и в тех редких немощных людей, что притащились сюда коротать свой физически неполноценный досуг. Мы с лихвой восполнили силы после мучительной поездки изрядным сном и сытой трапезой. Иохим, Макс, Ингмар, Мартин, Гийом принялись играть в карты, отпуская озорные вопли и кутаясь в табачный дым. Я никогда не испытываю судьбу в таких пустяках, как хрупкий карточный успех, и не переносу табачный дым и потому отправился бродить по селению Y и ворошить язвящее чадный уголья воспоминаний той безумной воинственной ночи, что втокнула меня в самую лузу моего уникального мифа и сделала анонимно-бессмертным. Ну что же, я привык к моему новоиспеченному нимбу, что совершенно не вмещается в классическое иконописное клише святости. Я самый прозаический мирской святой.

Мои сапожки вспоминают грубые камни брусчатки, я щурюсь и присматриваюсь к крепостным стенам, и создается впечатление, что селение Y изрядно переболело летучей чугунной оспой, так велико было еще количество изъязнов после той убийственной артиллерийской чехарды, оставившей следы как на внешней, так и на внутренней сторонах стен. Разноцветные пятна черепицы на домах горожан создают иллюзию загара на спине старика, а рекламы купцов средней руки не заывают развязно, но вкрадчиво шепчут, обещая мелкие товары и неназойливые услуги. Нигде не видно следов беснования пронырливой жизни, только отметины смиренного существования. Изрядно устав от промозглой упорядоченной провинциальной серости, я свернул на одну из боковых улочек, где дощечка с названием была старательно увита плющом, и, не доходя до приземистого здания дежурной пожарной части, порвав тонкую паутину дворово-кухонных склок, наткнулся на тухлявую рекламную тумбу. Я пригладил углы приглашения на скачки, поправил загнув-

шуюся рекламу мужских и дамских сорочек, скользнул периферийным зрением по платным курсам испанского языка и обнаружил нечто нижеследующее, окруженное студенистыми выцветшими виньетками.

Ритуальные услуги.

Свадьбы, похороны, семейные торжества, знаменательные даты и пр. пр. Все это вы сможете заказать по самой умеренной цене на любое удобное для вас время и на любое количество персон в конторе господина Жоашена.

Мне под воротник забралось миниатюрное неудобство, и я плотнее прижался к плащу так, что цилиндр съехал на очки, а где-то вне себя я нащупал учащенный пульс, хотя, возможно, это был уже не мой пульс, ведь я задним числом нешутейно забрался в чужие судьбы. Я всматривался в желтоватый грубый лист рекламы, и от моего концентрированного розового взгляда проступили апокрифические тексты, вписанные симпатическими чернилами в канву продажных ритуальных услуг. Я любовался чужой участью, как своим филигранным творением. Сквозь гирлянды свадебных цветов и бравурные изломы смеха, через траурные венки и выцветшие от слез вуалетки, обмены обручальными кольцами, поцелуями, соболезнованиями и поздравлениями, разбирая звон бокалов и глухие удары земли о крышку гроба, я медленно, но неодолимо добирался до пленительного образа той, что полонила меня. Я считал с нее мирскую бутафорскую мишуру, чтобы присвоить себе. Я нагнулся что было мочи и в грязном месиве черных и белых лент, отслуживших свечей, ветхих аксессуаров бездумных жертвоприношений где-то между тугими ударами тупого заступа наткнулся на лицо Жоашена, скорее погребальную маску, спешно с него вылепленную.

Я записал нехитрый адрес конторы в блокнот с таким любодейным тщанием, будто заносил туда координаты беглого логова моего полоумного счастья.

Я быстро запахнул плащ, аккуратно схоронив блокнот, и, едва не поблагодарив рекламную тумбу за исчерпывающую информацию, скоропостижно покинул безлюдную улочку, обходя циркулеобразными шагами прохожих, случающихся на пути моем. Я едва поспевал за своим взглядом, точно начинающий слепец за опытным поводырем, и уже на перекрестке, уворачиваясь от повозок, едва не задавил бедного инвалида на деревянной тележке. Этот еще не совсем старый человек уставился на меня снизу вверх, дезинфицируя взглядом и чуть заметно подрагивая разными по длине культями, завернутыми в промасленную рогожу. Левую руку он держал в кармане синего оборванного военного мундира старого образца, в правой же держал оплетенную бутылку, каковой пользовался при движении, отталкиваясь ею от мостовой нервными, но властными движениями. От ископаемого лица инвалида исходил дурнотный запах беспризорного похмелья; щетина, ставшая уже когтистой, прятала и без того заплывшие фиолетово-зеленые гноящиеся глазки, а на шее был намотан невообразимо рыжий платок, всклокоченные же русые волосы венчал мятый колпак. Я было вздумал нерадиво извиниться и шествовать прочь, но во всей этой ампутированной фигуре было нечто тотальное, и, кроме того, на мундире я узрел наградной крест богатого достоинства, а это в корне изменило мое отношение к бывшему солдату, честно променявшему половину тела на право жить по приказу. Я наклонился и подался назад. Два мизерных дракона тотчас проснулись разнузданным блеском в полупьяных глазах, и инвалид проговорил мне напевно с изумительной дикцией:

— Черным вороном над нашим уютным пепелищем летает молодой господин, видимо, издавна приневолила его судьба забраться к нам?

— Скажите, любезный, вам известен некий господин по имени Жоашен, что занимается здесь ритуальными услугами?— спросил я плохо выделанной скороговоркой и повернул лицо к свету так, чтобы в розовых очках не было видно моих глаз.

— Если молодому господину взбрела на ум занятная идея заказать поминки по собственной душе, то лучшей кандидатуры для провожатого в геенну ему не сыскать, — молвил безногий, после слова «кандидатура» вдруг сорвавшись на полукрик, точно бравлируя своей инвалидной автономией на людном, но тихом перекрестке одной из центральных улиц.

— Кто же не знает этого сквернавца Жоашена, — продолжал рычать инвалид, исполненный показного чванства, и я заметил, как несколько прохожих съежилось, нырнув лицами в воротники, и поспешили миновать нас.

— Иуда, Иуда, больше я ничего не скажу вам, — резким движением безногий приложился к бутылки, звонкими глотками уничтожая ее содержимое, и он покатился под ближайšie лавки торговцев дешевой снедью. Я ясно видел, как, уже теряясь в подолах и корзинах домашних хозяек, он ударил бутылкой одного зеваку под колено, прокладывая себе дорогу, и исчез в неторопливом черно-белом мельтешенье причин и следствий.

§ 22

Необузданная гордыня — не цель, она всего лишь средство, ибо наедине с собой ею не пользуются. Пробираясь назад к гостинице с этой никчемной, но задорной мыслью за пазухой, я остановился возле прилавка торговца сувенирами и, нехотя вороша бесхитростные изделия местных кустарей, отчетливо и ясно увидел, как все ЭТО будет. Страхнув с пальца зацепившийся брелок с изображением какой-то местной то ли языческой богини, то ли святой мученицы, я поспешил к друзьям, более уже не озираясь по сторонам. Еще поднимаясь по лестнице к гостиничному номеру, я слышал, что Ингмар проигрался в пух, и потому, завидев страстных игроков в растерзанных чувствах и галстуках, в клубах отяжелевшего табачного дыма, в сложнейших денежно-эмоциональных расчетах, я не мог не рассмеяться от души. За вечерним чаем, затянувшимся после ужина на добрую пару часов, мы обсу-

дили всевозможные вариации нашего небезопасного предприятия, но скупое фантазирование в криминальных мелочах на сытый желудок само собой вылилось в полифоничные воспоминания.

Утром будущего дня, облачившись опять во все черное и подержав в зеркале перед выходом на улицу мину опечаленного денди так, чтобы она удержалась и не спорхнула с лица во время ходьбы на свежем воздухе, я отправился в контору Жоашена, трижды на пути сверившись со своими блокнотными записями.

Габриэль толкнул дверь с участливо бряцающей вывеской и оказался в плохо освещенной прихожей дома, обезображенного дождевыми подтеками на оштукатуренном фасаде. Его встретил занятный человек, лицо которого Габриэль не разглядел из-за массивных сатиновых нарукавников и блестящих бриолиновых оползней на жидкой шевелюре.

— Что вам угодно? — спросил человек всей гаммой цветов своего голоса, в трех словах пробежавшего с интонацией невыразимого страдания до заискивающего восторга и обратно.

— Могу ли я видеть господина Жоашена по одному очень важному и довольно деликатному делу?

— Да, безусловно, присядьте вот здесь, я доложу.

Из кресла мне открылся роскошный вид на полотнища ткани, в зависимости от цвета долженствующие одеть те или иные человеческие страсти.

Он появился из невыразительных шагов. Я медленно встал, раскручивая тело по диагонали от подлокотников кресла. Дай я посмотрю на тебя, мое творение! Что я сделал с тобою за полтора года, что сделали с тобой глупорожденные слухи, неувядающие пересуды, истачивающие ласки жены? Дай я потрогаю твой треснувший нимб идола!

Передо мной стоял невыспавшийся нувориш среднего роста, теряющий волосы и мускульную массу, невзрачный костюм венчал невзрачное тело со слюдянистыми глазами. На рушив мифотворческую паузу, он спросил наконец:

- Чем могу служить?
- Господин Жоашен, не так ли?
- Он самый.

Я не мог оторвать от него своих голубых глаз в розовых стеклах: он был восхитителен. Это было именно то, что мне нужно. Это был человек, отказавшийся от борьбы, облепленный строительными лесами куцега приспособленческого мировоззрения. Это был экстраверт, приносящий дары на алтарь выпавшего из рук и разбившегося героя. Это был вполне здоровый, крепкий человек, но для квинтэссенции бунтарства он уже не годился. Он полтора года был на излете, и этим все было сказано. Я пригляделся что было мочи: в чаще жестких, все еще непокорных волос я явственно различил рваный шрам, в пунцовом любопытстве свешивающийся на лоб, и тотчас вспомнил его обладателя образца полуторалетней давности. Тогда в окровавленной повязке, обнаженный по пояс, он был и впрямь великолепен.

— Видите ли, некоторые компетентные люди порекомендовали мне обратиться к вам, — начал я.

— Очень хорошо, — едва заметно просиял он, не представляя еще, о чем пойдет речь.

Я ступил вперед, как будто меня пододвинула гигантская ладонь и, нелепо скомкав губы, осторожно взял Жоашена под локоть, предлагая отойти к окну, и доверительным шепотом поведал:

— Видите ли, полтора года назад при ужасных обстоятельствах под стенами соления У пал один из моих близких товарищей. Я и мои спутники хотели бы почтить память безвременно покинувшего нас друга, но обстоятельства дела таковы, что мы не можем афишировать наши действия, кроме того, место захоронения друга нам неизвестно. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Да, да, конечно, — ответил Жоашен, было видно, как он уцепился возгоревшимися зрачками за мои слова.

— Мы приехали издалека и хотели бы в интимной обстановке в присутствии священника почтить память нашего

друга, которого звали Габриэль. Финансовые вопросы меня и моих друзей нисколько не беспокоят, нас интересует лишь полная секретность мероприятия.

— Я все устрою вам в лучшем виде и, учитывая ваши обстоятельства и чувства скорбящего друга, могу предложить свое скромное жилище. Я живу близко в небольшом, но уютном строгом доме.

Я не понимал, что он подразумевает под строгостью своего дома, но меня, уже изрядно пообвыкшего к гладкости обстоятельств своей жизни, удивило, как легко этот незнакомый человек отважился предложить свой дом для того, чтобы ворошить муляж чужой памяти. Очевидно, мир устроен так, что все люди, вещи и даже абстрактные понятия притягиваются к своему предназначению по кратчайшему пути наименьшего сопротивления, и мне ничего уже не остается, как столкнуть феномен Жоашена в фигурную ямочку, предназначенную для него в памяти других людей. Спи, мой незатейливый бунтарь, ты смело исполнил свое бесшабашное дело, теперь настала и моя очередь. Прости, не моя вина в том, что история — обыкновенная капризная женщина, которая любит все же стайеров. Если хотите убрать с дороги человека и быть в ладах со своей и вселенской совестью — дайте ему все, больше чем все. Господи, я люблю тебя, я люблю эту женщину, я люблю себя; я не хочу, чтобы люди гибли в братоубийственной резне; я не хочу, чтобы вконец разложилось наше государство! Но почему, господи, ты иногда, точно забавы ради, подводишь меня к себе подивиться со стороны, как на умопомрачительное исчадье ада так, словно в преисподней тоже случилась революция и плешистый слабеющий Сатана вынужден теперь ходить у меня в подмастерьях? Если бы у меня был выбор, господи, я непременно сошел бы с ума или сломался бы, как заклинившаяся марионетка. Но я человек, и у меня нет выбора, ибо я зашел уже так далеко в себе, что у меня просто нет сил ослабеть.

— Право же, мне неловко стеснять вас, дело наше настолько личное и неприглядное. Кроме того, мы можем нарушить безопасность вас и вашей семьи, — продолжал я, демонстративно комкая перчатки и перекладывая их из руки в руку. Только бы не вскрикнуть от напряжения и не выдать себя, ведь сейчас я спрошу последнее, что мне осталось выяснить!

— Ведь у вас есть здесь семья, не правда ли?

— Да, безусловно, очаровательная жена и чудесный сын, — молвил Жоашен, умильно округляя красные слипающиеся веки.

В углу, где копался безликий набриолиненный человек в нарукавниках, что-то пронзительно щелкнуло, так что я вздрогнул, будто лизнул шаровую молнию. Жоашен буквально поймал меня за руку и успокоил с участливым превосходством, которого я не ожидал уже слышать:

— Не пугайтесь, это Артур экспериментирует с мышеловками, мышцы, знаете ли...

— Да-да...

— А вам нужно всерьез заняться нервами, я понимаю: утрата друга не проходит бесследно, но ведь минуло уже полтора года, а время — прекрасный лекарь. В моей жизни полтора года назад тоже были огорчения и даже тревоги, но все утряслось, и сейчас все слава Богу, так что надейтесь на лучшее, — говорил он, ласково пожимая мне руку. Шрам на его лбу побледнел и спрятался за волосы.

Мы условились о цене и времени, цена была изрядной, а ждать приходилось недолго. Кроме того, мне стало неудобно, что мы оба поминали одного и того же Бога.

Дом бывшего кумира и впрямь находился недалеко от его настоящей конторы. Едва стемнело, как я и мои спутники, также облаченные во все черное, проникли с черного хода в строение, некогда отличавшееся добротной провинциальной помпезностью. Даже во тьме от меня не укрылись нелепые оттенки и смехотворные архитектурные новшества, диссонировавшие с устоявшимися нравами предыдущего хозяина

дома. Безвкусица дома стража свободы удручила меня настолько, что я едва не надумал свернуть все мероприятие, недоумевая, куда же смотрела его жена. Однако, поправив очки и вспомнив о существовании трех карет, оставленных на соседней улице, а также памятуя о нравах наших угрюмых, но среброохотливых возниц, я обрел прежнюю уверенность. Сам хозяин проводил нас в комнату, обитую досками из мореного дуба, а за длинным столом, казалось, вывезенным из школярского рыцарского романа, ожидал священник, обыденно не ответивший на наши поклоны.

Габриэлю не терпелось

быстрее начать святотатство, и, первым сбросив плащ и цилиндр, он прошел к священнику и начал что-то объяснять ему, делая многозначительные жесты никак не опечаленного утратой человека. От переизбытка свечей, не дававших, впрочем, никакой освещенности, и черных спин в комнате сделалась какая-то скученная базарная суeta, а Габриэль и священник, неожиданно погрязшие в агрегатном состоянии сумбурного теологического спора, были похожи на двух сцепившихся в ярмарочный день астрологов, не поделивших клочок смыслодержающего неба. Недовольный чем-то Жоашен сновал из угла в угол шаркающей походкой.

— Это грязный обман, я снимаю с себя все обязательства, нужно было предупреждать, ибо никому не позволено именем господа покрывать чудовищные отступления от морали! — крикнул священник, направляясь к выходу. В складках его сутаны, казалось, не было ничего кроме ходуль, растущих прямо из головы.

— Святой отец, да вы просто скудоумный релятивист, я не советую вам заниматься отделкой более сложных состояний человеческого духа, чем венчание, — духоиспытательно говорил Габриэль, любовно оглаживая одну из свечей, пламя которой было наиболее неуживчивым. Нехватка места из-за материализирующейся неясности уподобила комнату в пере-

сильный пункт беженцев из аннулируемых воспоминаний, Жоашен, будто отшучиваясь от налетающих предчувствий неладности, недоумевал, что случилось, уже тогда, когда Иохим и Гийом начали крутить ему руки. В вихре выморочной потасовки гасли свечи, неуклюже сползла со стола коричневая скатерть, упали стулья, в буйных столах и выкриках Мартин напирал на всех вместе плечом, теребя веревку, которая обвивала всех борющихся подобно щупальцам настырной гидры. Габриэль, Ингмар и Макс бросились по лестнице на второй этаж в жилые комнаты, в спесивых падробно пиная ногами все двери.

Сатанинский энергетический эликсир намял мне изнутри глаза до кровавых мозолей, я не чувствовал под собой ног в неиссякающем порыве страстного окаянства. Я чувствовал в себе лишь бесконечные потоки нереализованной силы, тысячекратно усиленной тотальной психоделичностью ситуации, ибо я знал, что сейчас буквально от каждого моего поворота тела будет зависеть дальнейшая трактовка бессмертного мифа. Я ощущал себя венценосным метафизическим мародером, выпивающим всю святость и всю энергию, разлитую подле меня во всех измерениях пространства. Я, не задумываясь ни на секунду, готов был променять всю жизнь на горсть таких мгновений, когда тело, дух и воля срастаются в единый монолит, молниеносно расширяющийся до границ абсолютного совершенства, попирающего все убогие законы мирского бытия.

В грубой номенклатуре полутонов, не пуганных всамделишным светом, я различал неловкие композиции домашнего скарба, назначений которого я сейчас не в силах был осознать, и так было от комнаты к комнате.

Я искал ее.

Во мне бушевал первоосновный рафинированный инстинкт жизни, взлелеянный и разогретый феноменальной уникальностью уже сложившегося. Новая дверь отозвалась на мои удары как свинцовый мыльный пузырь, надутый не-

сколькими женскими испуганными столами. Я выбил дверь с вопящих петель и за отлетающим в сторону куском изуродованной древесины увидел метнувшийся кружевной подол юбки. Все сменялось с мультипликационной ошеломительной быстротой и скрупулезной прорисованностью.

Беспечные стада граненых айсбергов прервали помрачительный бег разнузданной лавы, и клубы разноцветного пара обласкали мой пульсирующий в скупой агонии лоб.

Она стояла, прислонившись спиной к платяному шкафу, прижав одну руку к груди. Ее испуг был беззлобным и не низменным, хотя и неподдельным. Она взирала на меня как на нечто, в равной степени опасное и любопытное. Она совершенно не изменилась за те полтора года, что я не видел ее, ибо я не позволил ей меняться, властно вторгаясь в ее жизнь своим сверхтелесным нерукотворством. Я подходил к ней медленно и умиротворенно, как отдыхающий воин. В розовых стеклах моих очков поселилось нечто вроде огнецветной испарины, и мне пришлось снять их, сообщая лицу своему что было мочи удобопонятную человеколепность. Опустившись на колени, точно для совершения редкой молитвы, я неспешно поцеловал подол ее платья и видел, как она едва заметно подняла подбородок. Я рад, все идет именно так, как я хотел. Воздаю должное ее возвышенному предчувствию, ибо она .внимает дыханию приближающегося к ней мифа, и, значит, я не ошибся в ней. В пограничных ситуациях человек полностью изобличается несколькими жестами. Бог устроил так для простоты чтения и учета душ.

— Пожалуйста, не волнуйтесь и не бойтесь меня, я не сумасшедший и не желаю вам зла, — говорил я, не вставая с колен, держа голос в узде и не отрываясь взором от ее фиолетовых глаз, ибо они и впрямь были фиолетовыми и без помощи моих розовых очков. — Постарайтесь поверить мне, потому что все, что я сейчас скажу, в высшей степени нелепо. Я не могу вдаваться в частности, я расскажу вам все позже. Итак, я люблю вас уже полтора года, люблю, увидев лишь

один раз. И с тех пор как я увидел вас впервые, я вторгся в вашу судьбу, изменив ее коренным образом. Незатейливая Фемида уготовила вам участь вдовы бунтаря, а я хочу сделать из вас жену победителя. Я хочу жениться на вас и усыновить вашего сына, ибо Жоашен недостоин вас. И недостоин потому, что жив, а жив он благодаря мне. Это я предложил генерал-аншефу, распорядившемуся вашей судьбой, сделать из вашего мужа торговца, а не распятого Спартака. Потому что необычайное предложение было платой и за мою жизнь, которую я едва не потерял под стенами селения Y по воле все той же всемогущей нелепости. А желание перебороть судьбу, охочую до ненужного трагизма, и не идти покорно у нее на поводу как убойная тварь у меня возникло лишь тогда, когда я увидел вас.

Было видно, как она напряглась всем телом, больше прежнего унимая дрожь в груди, и, наконец, отошла в сторону, оставив меня как я есть, с признанием и на коленях. Таким образом, мы оба отдали должное жанру.

— И для этого вам понадобилось вытворять столько шума?
— сказала она не оборачиваясь.

— Скажите, кому бы было лучше, если бы я бестелесным духом посетил тихую обитель безутешной вдовы? Я люблю вас и хочу жениться на вас, именно для этого придумал весь этот маскарад. Со мной пятеро моих бывших однополчан, вместе с которыми я воевал против вашего мужа. Я не требую вашего согласия, я умоляю вас лишь об одном: быть настолько снисходительной к моей человеческой слабости, чтобы избавить от необходимости применять силу, ибо ваш муж сейчас лежит связанным на первом этаже. Ни у меня, ни у вас не осталось выхода. Если мы предназначены друг для друга, в чем вы и я имели возможность убедиться, то у меня достанет силы довести начатое дело до конца. Меня зовут Габриэль. Позвольте узнать, как зовут вас?

Она повернулась ко мне, в глазах ее больше не было испуга, было нечто иное, что мне, очевидно, было не дано по-

нять, как и любому мужчине при всей моей метафизической проницательности.

— Октавия.

— И это будет история Габриэля и Октавии. Только на сей раз это будет не печальная история.

Габриэль, Октавия и ее маленький сын, именем которого похититель не удосужился поинтересоваться, занимали одну карету. Две другие занимали пятеро друзей, и весь этот кортеж, хищно источая раскаты удары кнутов, выписывающих в ночном воздухе серебряно-змеиные дуги, устремился через главные крепостные ворота по направлению к столице. Нещадно бьющиеся о камни мостовой колеса последней кареты едва не отдавили ноги задремавшего на посту часового, и близкое увечие произвольно вписалось в канву незатейливого солдатского сна. Фиолетовые глаза Октавии источали сверхчувственное сияние, которое на фоне бордового бархата сбивки, погруженного в розовую тьму, производило феноменальный эффект. А Габриэль, словно голодный детеныш лютого хищника, трепетал, впитывая всем существом коллаж из сильнодействующих ощущений.

В этом сущем нагромождении сверкающих небылиц я даже не упомянул толком, пришлось ли мне применять к Октавии силу или нет. Помню только, что она вошла в карету со спящим на руках сыном так, как если бы это был обреченный ковчег и на его крапленный черной отметиной борт ступала смиренно-прекрасная королева, собирающаяся в изгнание со своим единственным наследником. Мне мгновенно разонравилось это сценическое женское поветрие, и я бросился к Жоашену, который, забытый всеми, кувырчался на полу, тщетно силясь ослабить узлы. Коричневая скатерть, сползшая со стола во время короткой схватки, теперь навилась на тело бывшего борца за свободу, и он сделался похожим на уязвленное мракобесное отродье.

— Что вам нужно от меня, где моя жена, что вы сделали с ней? — кричал он, в жестких гримасах комкая багровеющий шрам.

Я поднял его с пола и прислонил к столу, так как он, измотанный состязанием с путами, умело наложенными Мартином, едва держался на ногах.

— Уймись и не кричи так, все равно никто тебе не поможет. Выслушай внимательно все, что я тебе сейчас расскажу, и постарайся понять. Ты остался в живых после подавления восстания и, мало того, сделался преуспевающим торговцем благодаря мне. Это я предложил сделать из тебя не распятого идола, а пресмыкающегося Иуду. Я знаю, ты сильный человек, но ты силен только той настоящей жизнью, пока не столкнулся со мной. В этой, мнимой, ты уже начал заживо разлагаться.

Я ясно видел, как дернулись его губы, точно затрясшиеся от разгульного спазма, не пропустившего в горло всю горсть проклятий.

— Слушай, я всегда был и буду врагом таких, как ты, потому что в угоду обветшалым идеалам вы можете бездумно уничтожить тысячи невинных людей, поддавшихся на агитацию. Ты хочешь свободы и равенства, но никак не можешь понять, что, ввергнув целый народ в братоубийственную вражду, ты тем самым поможешь ему выродиться, потому что братоубийственная вражда вытаптывает корни и нравственные устои предков, а без них невозможно быть свободным. Я обещаю тебе, что твоя жена и сын перейдут в более удачливые и надежные руки. Оставшись в живых, ты потерял для Октавии всякое значение. Кроме того, ты ведь никогда не сможешь объяснить сыну, как ты сумел остаться живым в такой ситуации, ведь руководителей восстания принято умерщвлять. Я женюсь на Октавии по всем правилам христианского мира и воспитаю твоего сына так, как сочту нужным, потому что мальчику не нужен образ отца-предателя, хотя бы и мнимого. Он просто проклянет тебя, ведь в его жилах течет твоя спесивая кровь. Ну а лучшая женщина рода должна принадлежать лучшему мужчине, в этой аксиоме кроется великая созидаящая сила природы, а ты полтора года не являешься лучшим.

— Свинья! — закричал Жоашен, метнувшись ко мне всем телом, я не заметил, как за это время он все же высвободил из веревок одну руку и надеялся сейчас одним броском сбить меня с ног, но...

...Я почему-то оказался проворнее и, не разворачиваясь, снизу вверх нанес короткий удар в челюсть. Полусвязанные ноги не позволили ему сохранить равновесие, и, падая, он перевернулся, ударившись лбом о край стола. Я ясно видел, что контуры шрама ровно вписались в угол стола. Гальваническая судорога пронзила тело Жоашена, хрипевшего от неуправляемой пространственной боли. Я нагнулся к нему, изучая лицо, дробящееся на части от злокачественного времени, хлынувшего со всех сторон в огромный пролом. То была не проснувшаяся к жизни рана, то был гигантский свищ в судьбе. Жоашен был жив, если же он погибнет от моей руки, пусть даже и случайно, легенда потеряет subtilный налет благородства, а я не хочу этого. Я высвободил ему вторую руку, перевернул на спину, расстегнул воротник и, не оглядываясь, по сторонам, покинул жилище.

Через несколько дней мы были в столице. Я представил Октавию и ее сына своему дядюшке и тете Джулии. Мы обосновались во вновь приобретенных владениях Тулова, унаследованных им от одной из усопших родственниц. А я, как и было обещано, возложил на себя обязанности управляющего. Октавия с сыном, естественно, жили отдельно в специально приготовленных для них трех комнатах. Я приставил к ним двух горничных, стараясь быть максимально внимательным, предупредительным и, однако же, не назойливым. Она держалась с присущей ей естественной изысканностью, тем не менее улыбалась своей чародействующей одухотворенной улыбкой только при появлении сына. Если бы я был хрестоматийным влюбленным, увязшим в трясине беспризорных чувств, то непременно раздосадовался бы, гневно бряцая эмоциями, но я мультипликационный человек, не говоря уже

о том, что воспринимаю себя не больше и не меньше как мифического персонажа. Я иду на поводу у своего высшего предназначения, изредка подбадривая его сытыми возгласами, чтобы оно не останавливалось ни на минуту.

— Я успеваю за тобой! — кричу я ему вверх. Вся абсурдность зарождающихся отношений с женщиной заключается в том, что нужно в удобопонятной и компактной форме открыть ей красоты своего мира, масштабы мышления и возвыситься в ее глазах, нанизав свое брненное тело на шпиль фантомообразной цели жизни. Это мужеподобное жеманство, это рисовка.

Я знаю, каков я есть, и мне в высшей степени неинтересно представлять, округляя свои положительные качества, перед кем-то, в том числе и перед любимой женщиной, ибо я мультипликационный человек и создан не для созерцания, тем более избирательного. Я черный ящик. От меня имеют определенные действия и участие в чистоплотной огранке культурного человека; и каким путем я прихожу к ним, никого не касается, в том числе и любимой женщины. Я люблю ее по-своему, и как я это делаю, есть моя технологическая тайна, так как моя постоянная нравственная устремленность в этом вопросе целиком и полностью определяется теми условиями, в которых я себя эксплуатирую. Я бытовал в парадоксальном затишье. Я знал, что нужно поторапливаться, но что необходимо для сотворения умиротворенной развязки, я не представлял. Подобно высокооплачиваемому каскадеру, я отыграл все положенное мне механистическое либретто, выдвывая над телом и духом самые немыслимые ухищрения. И теперь, когда все истинные опасности остались позади, я нелепо застыл в тишине, не представляя, откуда прислышится мне отзывчивость бурных оваций или сверлящий свист неодобрения.

Прогуливаясь в парке между цветовыми нагромождениями осени и каменной плотью сладострастных амуров, Габриэль вдруг отчетливо увидел структурную схему отношений.

Водяные конвульсии огромного фонтана в виде гигантского тритона, заглатывающего собственный хвост, подсказали ему, что Октавию нужно сделать своей мультипликационной женщиной. Ей ничего не нужно объяснять, она сама все поймет со временем. В объяснениях нет надобности, ибо подоплека их союза не имеет прецедентов в мировой истории, и нужно всего лишь смиренно нести терновый венец пионеров.

С присущей ему патетикой и программируемой страстью он объяснился с нею, надеясь, как и полагал, произвести достоподобное впечатление коленопреклоненной позой. А она, в свою очередь, кажется, впервые позволила изнутри приблизиться настоящей улыбке к своему бело-розовому треугольному лицу.

Полуветреным, полусолнечным днем, словно сама собою и совсем не натужно, произошла пышная, упоительно чудная свадьба, снабженная всеми непритворными атрибутами сего мирского торжества. Умелые губы произносили задравные речи, смекалистые руки, улучив трогательный момент, отпустили к небесам дюжину белых безразличных ко всему голубей, мягкие детские руки без усталости крошили лепестки роз, будто подкармливая ими обувь брачующихся, а благоусердный священник у алтаря вкрадчиво вытягивал два желанно-таинственных «да». Тамадой на свадьбе был Мартин, и, разбирая канву помпезных тостов, Габриэль вспомнил его талантливое ремесло вязальщика устыженных идолов. В забавах, вине и танцах не было недостатка. Добравшись до брачного ложа, Габриэль, признаться, несколько опешил, настолько противоестественной представлялась ему брачная ночь с Октавией. Ибо, увлекшись мифической и духовной составляющей своей жизни, он вовсе запамятовал о физиологической ее части, но в этот момент весьма кстати обнаружился маленький и едва не задохнувшийся в тесноте карманный циник, и все вышло искустительно просто и правильно. Правда, перед тем как лечь в постель, молодой супруг едва не забыл снять розовые очки, что вызвало некоторую нотку

неодобрения молодой супруги, в этот момент уже лежавшей в постели.

Я мобилизовал всю свою начертательную эротическую выучку и пространственную пластическую фантазию и, приподняв край одеяла, нащупал диковинный аромат ее духов, и с первой же феерией этого галлюциногенного запаха, осадившего все мои органы чувств, я испытал нечто вроде концентрированной экзальтации, потому что вспомнил,

что сделал Октавии
предложение, не касаясь ее,
и это как нельзя лучше
шло к нашему мифу.

Время опомнилось лишь с первыми лучами солнца и, набежав неслышной рваной волной, вылило на ночь убранное тактильными кружевами дубильное вещество, и все это вместе взятое отложилось в памяти рядом с поразительными бытовыми деталями.

§ 23

Началась жизнь, исполненная достатка и благочиния. Я усердно латал хозяйственные изъяны в обширных владениях бывшей дядиной родственницы, повышая рентабельность недвижимости, а Октавия коротала нехитрый дамский досуг. В целом мы вели полусветский образ жизни, не особенно утруждая себя соблюдением чопорных ритуалов и посещением балов и оперы.

Подсчитывая очередной доход, я вспомнил, что мне пора определить и положение сына Октавии, и тогда, как нечто само собою разумеющееся, родилось соображение, что его нужно заново окрестить, придав ему достозвучное и универсальное защитное имя Габриэль.

Да, конечно, иначе и быть не может. Новое крещение хотя бы отчасти смоем печать проклятия и тиранической нелов-

кости, лежащей на мальчике. Несомненно, он должен будет достичь большего, нежели его отец или отчим. Если это не так, то я ничего не смыслю в небесной механике. Это компактное музыкальное и такое невинное имя, волоча всю свою диковинную оснастку иммунитета, само собою забралось в ровные столбцы бухгалтерского счета, и у меня уже не было желания гнать его оттуда.

Я позаботился о соблюдении всех тонкостей церемонии, удивившей, но ничуть не испугавшей Октавию.

— Пойми, — говорил я жене, — это необходимо и нам и ему, я хочу, чтобы он унаследовал все лучшие черты отца и отчима-воспитателя, чтобы они слились воедино, дополняя друг друга, а не соперничали бы, вытесняя силы души и рассудка в никчемных детских протестах. Не правы те мудрецы, что уверяют нас в конечности человека. Я не хочу и не буду осознавать свою конечность, ибо увижу свое продолжение в детях, которые унаследуют мою кровь, мою волю, мой дух. Из мальчика получится живучий активный гибрид бунтаря и модернизированного святого, но я никогда не буду настолько по земному пошл, чтобы хоть раз сказать ему, что я его родной отец, ибо я хочу, чтобы он вырос неистовым.

— Делай как знаешь, — был мне ответ Октавии.

Мы пили чай в беседке вместе с Ингмаром, мы говорили обо всем и ни о чем, в иносказательной форме подшучивая над моей жизнью и над жизнью вообще, как вдруг он спросил:

— Скажи честно, что тебе привиделось, когда ты ясно почувствовал, что тебя через несколько минут расстреляют из-за фантастического стечения обстоятельств?

Я молчал, вдыхая запах чая с мятой и чувствуя тяжесть паузы всем телом, бросил в чашку еще один кусочек сахара, хотя он и без того был довольно сладким.

— Только не лги, что ты видел целомудренный образ Октавии.

Допив слишком сладкий чай, я посмотрел на обручальное кольцо и сказал:

— Я не буду лгать, я видел обнаженную похотливую девицу из модного порнографического журнала, она звала меня так, как это умеют делать только высшие мастерицы любви, и я хотел ее так, что забыл о маячившей смерти, и не было во мне ничего святого и возвышенного, я просто безумно хотел ее.

— Может быть, именно этому эротическому видению ты обязан жизнью и всем тем, что имеешь, ведь духовный мир устроен точно так же, как материальный, так как выживает и тянет за собой к жизни не самый чистый, а самый выносливый образ.

— Да, пожалуй, и меня это даже не огорчает. Какая разница, как выживать. Когда тонешь — цепляешься за все, что плывет, и лучше всего быть честным в этом вопросе.

— Твое учение не от Христа.

— Верно, мое учение от Габриэля.

На днях я заметил, что

у Октавии появилась новая служанка достаточно смазливой внешности. Я выждал несколько дней и, мысленно изменив два или три раза (не помню точно) с этой самой служанкой, рассчитал ее без объявления причины. Затем я подарил Октавии роскошный букет роз, изрядно расцеловав, после чего у меня создалось впечатление, что жена догадалась о том, чего не было. Пусть она думает, что все было именно так, как это бывает. Пусть она думает, что я точно так же подвержен человеческим слабостям, так же примитивно двуличен и похотлив, как и иные отцы семейств в наш мерзкий век. Пусть. Наши толкования о грехах и добродетелях всегда устроены куда примитивней нас самих и наших моральных следствий, которые иногда бывают и нашими причинами.

Я заботился о своем удачливом и уютном мифе. Я, наконец, испытал обыкновенную и совершенно бесхитростную зависть людей, видящих лишь одну внешнюю сторону количественных достижений и не ведающих, какой ценой они достаются. Не говоря уже о том, что мне некому было рассказать, как же все это было на самом деле и что было на самом

деле. Я нажил от Октавии трех детей; двух сыновей, Себастьяна, Иннокентия, и дочь Собину. Но, по вполне понятным для меня причинам, больше всего любил своего приемного сына Габриэля, с коим и связывал свои самые радужные, почти сахарные надежды.

Я воспитывал Габриэля так, как считал нужным, ни единой надежды не сомневаясь в правильности выработанной мною методики. Я воспитал его, не будучи сам в должной мере воспитан, ибо господу было угодно доказать на моей персоне, что отсутствие всякого воспитания в пасмурные декадентские эпохи социальных и нравственных бесчинств может стать лучшей формой воспитания. Я слушал только два голоса, пропуская мимо ушей все людские увещания: голос моего Бога и настырный голос генных наставлений, временами переходящий в оголтелую диктатуру, так как подлинный мужчина наполовину состоит из потустороннего голоса отца, даже если действует ему вопреки.

Я развивал в мальчике подвижный самостийный норов и чувство самоединственности. Я учил его не бояться ничего и даже себя. Я учил его верить в Бога, но не обращаться к нему в трудные минуты с жалобами и просьбами, а только сдержанно радостно благодарить его в бурные минуты триумфов, потому что у нашего Бога и так слишком- много нытиков и любителей неудач. Так пусть же теперь их будет у него еще на одного меньше.

Я учил Габриэля не верить детям и старикам, потому что бесполое люди лгут, чтобы оправдать единственно свою бесполость.

Я учил его не слушать меня, когда я стану стареньким больным импотентом, и не терять понапрасну времени на моей могиле, ибо я буду слишком далеко от этого места и мне не будут нужны его суетные самоказнения. Мне будут нужны только его энергичные автономные действия.

Недавно Габриэль сильно разбился, катаясь на лошади, а я, будучи сильно занят финансовыми делами, лишь вскользь

выяснил у врача, что опасности полноценному здоровью мальчика нет, и, оплатив лечебные услуги, вновь углубился очами да и самоими мыслями в хитросплетения денежных операций.

Я зашел к Габриэлю лишь под вечер, мальчик улыбнулся мне, преодолевая боль. А я улыбнулся ему, преодолевая цифры и сев у изголовья и ласково потрепав по щеке, спросил, как он себя чувствует.

Мальчик причудливо повернул голову, прильнув щекой к подушке и сильно вдавив ее в мягкие пуховые очертания, сказал мне, что в следующий раз будет, несомненно, жестче обращаться с жеребцом и не станет потворствовать его капризам. Порасспросив меня что-то о звездах и о войне, он попросил пить. Возвратившись со стаканом воды, я нашел его спящим. Пышноцветный пурпурно-розовый закат согнал с детского лица всю бледность недавнего страдания, в страхе метнувшегося от крепкого здорового сна в гадкое низкополклонное вчера.

Спи, мой маленький звереныш, моя заготовка сверхчеловека, и гони прочь все сны. Они нужны только слабым и подлым. Сильный и свободный человек видит все сны наяву, ибо он не хочет быть рабом снов, но подлинным их властелином.

Я вновь присел у его изголовья, стараясь не будить мальчика, отставив стакан на столик и глубоко вздохнув, поднес руки к его голове. Я раздвинул пальцы и напрягся всем телом, целиком отдавшись моей титанической волюнтаристской медитации. Я властно перетряхнул все времена и пространства, зычным воплем скликая все сверхъестественные силы. Я звал сюда сейчас всех, я желал видеть и белые силы, и черные силы, и разноцветные. Я подверг их отчаянной дисциплине, приводя к присяге на верность. Миниатюрная детская опочивальня, казалось, вот-вот должна была разлететься на куски от несметного сборища бесноватых сил — повелительниц судеб, набившихся под низкие своды. Я ощущал раска-

ляющее дыхание полновластных посланцев нематериальных субстанций и, казалось, слышал их озабоченный клетот. Мне уже было трудно говорить, ибо этот клочок пространства оказался неслыханно энергетически перегруженным, и, задыхаясь от разноцветной дрожи, переходящей в разгульный колотун, я настырно кричал им всем, сатанея от своих диких конвульсий и готовый ежемгновенно ослепнуть от нагромождений нещадного света.

— Смотрите, это ваш господин! Отныне вы должны копиться в каждой его мысли, вы должны бросаться во все части мира и времени по первому его повелению. Отныне вы будете чинить метафизический прессинг, расталкивая и кроя судьбы в угоду своему господину. А теперь летите прочь и передайте всем, что я сказал! Я очнулся уже в кромешной тьме, найдя себя совершенно обессиленным и, едва встав с кровати Габриэля, с невероятным трудом добрался до своей постели, дважды чуть не упав от растворившего меня вконец изнеможения.

Я знал, что мои скупые бормотания выбьются геральдическим знаком на его восходящей судьбе, потому наседали, отдавая последние крохи своих сил так, чтобы мальчик не начинал с пустого места, как я, и не тратил время на беспутные сомнения и мерзостные служения обстоятельствам.

Протарань все и вся и никогда не обращай внимание на историков — это всего лишь завистливые неудачники, ибо разбором и описанием чужих походов занимаются люди, всецело неспособные на свои собственные.

Сколь бы ни был ты утончен и интеллигентен, никто в мире не будет восторгаться красотой твоих помыслов и страданий, всем будут нужны только твои волевые действия. Ты одинок в этом мире и только в одиночестве должен почерпать лучшие свои силы. Возвышенная красота страдания — мишура. Оставь ее женщинам.

Ты должен жить такой богатой и красочной жизнью, чтобы тебе было просто неинтересно страдать.

Знай, мой Габриэль, что твой примитивный отец и твой незатейливый отчим катались в объятиях смертельной борьбы единственно затем, чтобы выдавить для тебя одну простую и ясную истину, с которой ты должен начать жить.

Паразитирующие на жизни жрецы морали замалчивали ее, когда не было еще слов, и заговаривали ее немочной болтовней, когда слова эти были изобретены.

Знай, если где-нибудь на Земле, на звездах или за звездами, в глубинах выпрненного воображения, в неприглядном колодце прошлого, в ненаглядных высотах будущего или в сияющих соблазнах настоящего существуют Единственные, Неповторимые, Экзотические: вещь, мысль, образ, женщина или нечто, то ты должен стать настолько могущественным, совершенным, безграничным и неистовым, чтобы присвоить их себе и сделаться их владельцем, ценителем, поэтом и охранителем. Ты призван быть Единственным и, огосподствовав, усвоить это нечто Единственное. Только в этом смысл жизни, все остальное — скучное недоразумение и пошлость.

Это царство воли, и так как волей управляет тот, для которого личность является лишь временным обиталищем, то вселенная представляется как бы заключенной в одну личность. Все сущие царства склоняются перед Тобой, но все они не только Твои, они — сам Ты.

Иди вперед смелей и празднуй пир существования. Ты призван, остальные же только терпимы около Тебя.

Ну а я достаточно обнажил свою душу, чтобы остаться незамеченным. Кроме того, ведь все это не выпрненная исповедь, а страстное признание в любви.

Один Габриэль передал эстафету другому. Старший мыслил себя в первом лице, мифологизируясь и отдаляясь от себя, он наставил себя посредством лица второго и перебрался таким образом в третье лицо, теперь, наконец, уже сливаясь с другим, младшим Габриэлем. Они уже срослись в единое целое, ибо старший вживился в младшего, и теперь уже оба

разбирали морфологию и структуру «феномена Габриэля», дополняя его и модернизируя.

Габриэль — это противоборство двух сильных начал бытия: реального и ирреального, физического и метафизического, действительного Я и мнимого Я,

Я+(Я).

Но Я не единично, каждое из этих Я есть область, включающая в себя бесконечное множество величин. В процессе бытия эти две многосложные пространственно безграничные области пересекаются, то перекрывая друг друга, то взаимопроникая. Причем с течением времени зона пересечения этих областей может меняться, становясь пространственно то больше, то меньше. Кроме того, пересечение это будет одинаковым в двух ситуациях, но в одной из них может быть велико на границе, то есть пересечение охватит большую глубину на более обширном фронте. В другом случае на малом участке фронта пересечения может произойти глубинное взаимопроникающее пересечение областей Я и (Я).

Зона пересечения этих областей есть зона противоречия между реальным и ирреальным. Существуют различные типы людей, характеризующиеся глубиной и характером пересечения этих двух областей. Чем больше глубина пересечения, тем в большей опасности находится индивид, подвергаясь вероятности невротизма, который, в сущности, означает то; что зона пересечения индивидом неуправляема, имеет неравные очертания, претерпевает фронтальные разрывы.

Фантазией надобно управлять, ибо неуправляемая фантазия — это патология, а управляемая фантазия — это талант. В Габриэле сильно развито как физическое начало, так и метафизическое. Кроме того, зона пересечения реального и ирреального чрезвычайно велика, и это подвергает самый «тип Габриэля» особой опасности. Вся его жизнь и скитание между двумя этими областями есть тернии интенсивной борьбы, когда он подвержен конфликтности ситуаций как изнутри, так и снаружи. В результате его силы выносливости

и сообразительности, с одной стороны, и метафизической натренированности, развитости и даже религиозности — с другой, возникает так называемый «феномен Габриэля», когда зона пересечения становится сложной, неоднородной, чрезвычайно подвижной, но... все же управляемой, ибо сам индивид — чрезвычайно волевой человек, но богатый своею собственной волей, простирающейся не на область реального, как у экстравертов, и не на область ирреального, как у интровертов. Но воля Габриэля простирается на зону пересечения областей, чтобы сделать ее как можно более обширной, управляемой, эластичной, мобильной, то мгновенно разрастающейся, то мгновенно сжимающейся, то растекающейся по поверхности, то проникающей в глубины.

«Тип Габриэля» — это тип человека будущего, ибо вся история развития человеческого общества идет по пути углубления управляемого взаимодействия между реальным и ирреальным, физическим и метафизическим, сознательным и бессознательным, действительным и мнимым, подлинным и неподлинным, телесным и духовным, объективным и субъективным, обезличивающим и персонифицирующим.

Чем больше управляемая зона, тем значительнее человек, имеет больше потенциалов к самым противоположным началам. Именно из нового, более глубокого, управляемого волевого синтетического взаимопроникновения областей появляется нечто принципиально новое: изобретение, открытие, образ, мысль, мелодия, формула. Именно это и называется эвристическим началом человека, что является самым ценным в нем, не позволяющим роду людскому вырождаться.

Таким образом, для Габриэля служение мистике, проникновение в тайны метафизического — не самоцель.

Он подчиняет свою реальную жизнь ирреальной, чтобы постичь структуру и функции метафизического, чтобы активно использовать это в своих позитивных целях, направленных на общее благо. Он изучает ирреальное, так как, по его мнению, ненужного в мире нет. Своим анонимным бытием

он создает миф о Габриэле — мультипликационном человеке будущего, чтобы уничтожить отживший миф о стихийном бунтаре прошлого.

Он создает миф, потому что все вещественно новое рождается посредством мифа.

Чтобы приучить человека к мысли о чем-то новом, необходимо приучить его к мифу об этом.

Для того чтобы новая адогматическая реальная мысль о новой реальности быстро прижилась в мозгу человека, необходима предварительная метафизическая инъекция вневременного мифа.

§ 24

Однажды на рабочем столе в деловых бумагах Габриэля обнаружилось нечто нижеследующее. Написанная, очевидно, безо всякого умысла, наспех, запись сия не была никим образом озаглавлена или помечена. Потому, будучи прочитанной, она была выброшена за ненадобностью, а самая мысль о прочитанном была предана забвению.

«С некоторых приснопамятных пор отрубание головы стало разновидностью гражданской казни, и вот...

я спускался с эшафота под зазорное улюлюканье толпы и на глазах у изумленного палача поскользнулся в луже собственной крови, щедро сочившейся с плахи так, что едва не упал. Но заплечных дел мастер, огромный небритый детина с лицом академического палача, вовремя поддержал меня за локоть.

— Ох, благодарю вас, вы очень внимательны, если бы не вы — я перемазался бы в собственной крови, — молвил я, напрягая все свои чревоушительные способности.

Я подобрал свою голову, изрядно закатившуюся под по-мост так, словно она надеялась затеряться во множестве иных, срубленных ранее, но уж свою-то голову я не перепутаю ни с чьей, сколько бы раз ее ни отрубали, и, отряхнув с нее грязные окровавленные опилки и пригладив непокорные волосы, добродушно потрепал ее по щеке.

— Ну вот то-то же. Так, пожалуй, будет лучше, и не стоило так нервничать и бояться. Все, что ни делается, все к лучшему. Я вам больше не нужен? — крикнул я фамиллярно палачу. — Ну что ж, тогда я вас покидаю, благодарю за труды, мне было не больно, честное слово. Вы мастер своего дела, а ведь так приятно быть связанным со специалистами, что невольно позабываешь о всех прочих неудобствах. Желаю вам всяческих благ, и Бога ради, аккуратнее обращайтесь с топором, ведь он такой острый.

Я взял голову под мышку, едва не выронив ее, ибо она была скользка, как кусок мыла, растравленного дождем, взял снова уже с большим тщанием и не спеша отправился во-свояси с чувством глубокого удовлетворения, как и всякий человек, знающий наверняка, что он прожил свою жизнь не напрасно».

§ 25

...ну а началось все с того, что я с женой и всеми своими детьми прибыл в селение Z.

17.05.85—30.01.88.

Часть 4.
Библиотека Владимира Авдеева



БИБЛИОТЕКА ВЛАДИМИРА АВДЕЕВА

Одним из последних прижизненных «проектов» Вл. Авдеева был запуск серии книг, коя так просто и называлась: «Библиотека Владимира Авдеева». Видимо, Вл.А. не мог не ощущать, что его имя превратилось в своеобразный «бренд» (или может лучше: «знак качества»), присутствие коего на книжной продукции, так сказать, автоматически повышает ее «рейтинг». Собственно, при жизни Владимира успели под этим «брендом» увидеть свет два издания: Керри Болтон. Левые психопаты. От якобинцев до Движения «Оккупай». Пер. с англ. Предисловие В. Б. Авдеева: Политическая дегенерология Керри Болтона / Библиотека Владимира Авдеева – М.: Изд-во «Порт Приписки», 2017. – 300с.; и - Карлтон Путнэм. Раса и здравый смысл. Пер. с английского. Предисловие В. Б. Авдеева: Здравый смысл как главное достояние расы/Библиотека Владимира Авдеева – М.: Изд-во «Порт Приписки», 2021. – 222с.

Книга «Раса и здравый смысл» стала последней книгой, подготовленной к печати и отредактированной Владимиром при жизни... В сопроводительной статье к ней, в частности, В.Б.А. отмечал: «Здравый смысл расы — это биологический паспорт, в котором записаны все способности и недостатки её представителей, возникшие в процессе борьбы за существование. Это квинтэссенция её жизненного опыта, из которого можно понять к чему определённая раса способна, а к чему заведомо нет, как в положительном, так и в отрицательном плане. Здравый смысл расы, обусловленный всем процессом эволюции, заключён в пределах репертуара стратегии поведения её представителей. Именно поэтому, исходя из данного принципа, великий русский психиатр С.С. Корсаков утверждал: «То, что составляет норму для одной расы, для другой является крайней формой патологии». Книга американского учёного и коммерсанта Карлтона Путнэма, Carleton Putnam «Раса и здравый смысл» задела основной нерв расо-

вой философии, что и обеспечивает ей популярность в англосаксонском научном мире вот уже много лет. Почти в каждой серьёзной работе, посвящённой дискуссионным вопросам расологии, можно встретить сноску на эту работу. Жизненный путь её автора, сколь уникален, столь и показателен в масштабах всего мира расово-мыслящих людей». Не сказать, что звучит прям «как завещание...», но всё же, всё же...

Однако, так вышло, что данному «бренду» была суждена более «долгая жизнь» (коя далеко ещё не окончена и небезуспешно продолжается по сей день). Один из переводчиков, активно взаимодействовавший с Вл.А. в последний период его творческой и издательской активности, Дмитрий Ткаченко подготовил к печати ряд книг, визированных и «одобренных» самим Вл.А., и желавшего и планировавшего, что некогда они смогут увидеть свет. Благодаря кооперации с издательством «Самотёка» данные труды, действительно, вышли из печати. Тем самым, вдохнув «вторую жизнь» в серию «Библиотека Владимира Авдеева». В данном разделе «Чтений» мы публикуем три развёрнутые рецензии на книги Р.Линна и Н.Вейла, а также несколько кратких аннотаций на книги указанной серии:

Фэйрчайлд Г.П. Ошибка плавильного котла / Пер. с англ. Д.Г. Ткаченко. М.: Самотёка; МИД «Осознание» (Б. тип.), 2024. В пер. 204 с. 100 экз. (Б-ка В. Авдеева).

«Каждая развитая национальность есть безценный продукт общественной эволюции. Каждая из них может внести свой особый вклад в будущий прогресс... Высшая услуга Америки человечеству состоит в том, чтобы продемонстрировать возможности, ведущие вперед к цели человеческого счастья. Любая сила, которая имеет тенденцию ослаблять нашу способность к лидерству, представляет собой угрозу человечеству и вопиющее нарушение духа либерализма. Такой силой была неограниченная иммиграция. Она медленно, коварно и неудержимо разъедала самое сердце Соединённых Штатов. То, что плавилось в великом плавильном котле, те-

ряя всю форму и симметрию, всю красоту и характер, всё благородство и полезность, было самой американской национальностью. Пусть обоснование ограничения этой силы на все времена будет высказано словами Гюстава Лебона: «Преобладающее влияние иностранцев является верным решающим фактором существования государств. Оно отнимает самое дорогое, что у него есть – душу»» (С. 199–200). Генри Пратт Фэйрчайлд (1880–1956) – американский профессор социологии, 26 лет проработал в Нью-Йоркском университете. Основные темы исследований – национализм, расы, иммиграция, этнические конфликты. Основатель Американской федерации планирования семьи. Из содерж.: Фактор расы; Нация в процессе становления; Значение ассимиляции; Американизация; Принудительный патриотизм и др.

Даттон Э. Почему мы глупеем? / Пер. с англ. Д.Г. Ткаченко. М.: СамоТёка; МИД «Осознание» (Б. тип.), 2024. В пер. 286 с. 100 экз. (Б-ка В. Авдеева).

«Почему раньше мы могли долететь из США в Лондон менее чем за 4 часа, а теперь нет? Почему раньше мы могли отправлять людей на Луну, а теперь, кажется, не можем? Ответ на удивление прост. Мы уже недостаточно разумны, чтобы делать такие вещи. Мы стали слишком глупы, чтобы удерживать «Конкорд» в полете; не говоря уже о возвращении на Луну» (С. 6). По мнению Эдварда Даттона (1980 г.р.) – английского антрополога, редактора скандального журнала «Mankind Quarterly», – западная цивилизация сейчас вступает в стадию старения и стоит заранее принять меры, чтобы, если не отсрочить процесс, то хотя бы сохранить её наработки. Из содерж.: Что такое интеллект?; Как и почему был выбран интеллект?; Есть ли доказательства того, что интеллект рос до промышленной революции?; Стал ли гений исторически более распространенным?; Как отбор по интеллекту пошел вспять?; Демонстрировали ли другие цивилизации взлеты и падения общего интеллекта?; Умирание света и др.

Даттон Э. Расовые различия в этноцентризме / Пер. с англ. Д.Г. Ткаченко. М.: Самотёка; МИД «Осознание» (Б. тип.), 2025. В пер. 252 с. 100 экз. (Библиотека В. Авдеева).

«Одной из разновидностей конструктивизма является модель британского социолога Энтони Гидденса (1971), которая предполагает, что индустриализация ведёт к утрате у масс чувства времени и пространства. Массы могут восстановить способность ориентироваться с помощью национализма, и как таковой национализм пропагандируется элитой, чтобы контролировать их... Многие из конструктивистских моделей представляют собой вариации классической марксистской теории, [согласно которой] национализм и связанные с ним традиции были изобретены правящим классом для контроля и мобилизации пролетариата» (С. 57). Этноцентризм, как утверждал американский экономист Уильям Самнер (1840–1910), – это «взгляд на вещи, при котором в центре всего находится собственная группа, а все остальные [и всё остальное] оцениваются в соответствии с ней». Этноцентризм бывает двух форм. «Позитивный этноцентризм» предполагает гордость за свою этническую группу или нацию и готовность приносить жертвы ради её блага. «Отрицательный этноцентризм» означает предвзятое отношение и враждебность по отношению к членам других этнических групп. В этой книге автор отвечает на вопрос: «Почему одни расы более этноцентричны, чем другие?» и, в частности, «Почему выходцы из Северо-Восточной Азии, арабы, африканцы и евреи склонны быть более этноцентричными, чем европейцы?» (С. 5, 7, 17).

Уитни Г. Раса, генетика и общество / Пер. с англ. Д.Г. Ткаченко. М.: Самотёка; МИД «Осознание» (Б. тип.), 2025. В пер. 224 с. Б. тир. (Библиотека В. Авдеева).

Не слишком точно переведённая, но интересная критика леволиберальных концепций наследственности и расовых различий. «Роджер Пирсон хорошо резюмировал тезис [изобретателя транзистора] Шокли. «Интеллект – это качество, которое имеет первостепенное значение для человечества

в борьбе за выживание, но оно неравномерно распределено между людьми и расами. Имеющиеся научные данные свидетельствуют, что менее умные представители американского населения размножаются быстрее, чем те, кто генетически лучше одарён в этой жизненно важной области». Попытки Шокли довести эти факты до сведения общественности и его кампания по проведению (финансируемого правительством) научного исследования о человеческом качестве были прокляты либералами и политически левыми. Либералы чувствовали, что его идеи бросают вызов доктрине равенства» (С. 22). Из содерж.: Идеология и цензура в поведенческой генетике; Разнообразие в человеческом геноме; Раймонд Б. Кэттэлл и четвёртая инквизиция; Какова роль семьи?; Куда идёт человеческий геном?; Рас не существует – поэтому надо изучать их!; Псевдонаучный крестовый поход против реальной генетической и расовой науки и др.

Вольпофф М.Х., Каспари Р. Раса и человеческая эволюция / Пер. с англ. Д.Г. Ткаченко. М.: СамоТёка; МИД «Осознание» (Б. тип.), 2024. В пер. 492 с.: ил. 100 экз. (Б-ка В. Авдеева).

«Эссе Хутона о евреях было озаглавлено «Носы, знания и ностальгия – признаки избранного народа». В ней он смешивает культуру и биологию, утверждая, что «еврейское интеллектуальное превосходство, оранжерейный цветок еврейского гения, добродетели еврейской религии, особые достоинства по существу еврейской культуры могут быть сохранены только посредством традиционной политики инбридинга и социальной исключительности». Но если эти достоинства сохраняются за счет инбридинга, то сохраняются и отрицательные черты... Ответом на еврейские проблемы стала бы биологическая ассимиляция. Это пошло бы на пользу всему виду: генофонд неевреев стал бы умнее, а евреи стали бы добрее, даже когда они исчезли с лица земли» (С. 172–173). Исследование политических проблем, связанных с различными представлениями об эволюции человека, а также с несовпадающими

взглядами биологов и антропологов на человеческую расу. Авторы – профессора антропологии Мичиганского университета. М.Х. Вольпофф известен своей активной поддержкой многорегиональной модели эволюции человека. Исследования Р. Каспари сосредоточены на неандертальцах и происхождении современных людей. Из содерж.: Мультирегиональная теория и Ева. Наука и политика; Полигенизм, расизм и подъем антропологии; Рабство и его отличия; Полигенизм после Дарвина; Соломенный человек; Функциональная морфология, ортогенез и синдром Дюбуа; После Евы и др.

Книги серии «Библиотека Владимира Авдеева» в Москве можно приобрести в магазине редкой книги «Русская Деревня» (<https://www.hamlet.ru/>), и на книжной ярмарке ВДНХ (место №43).

В качестве своего рода «спойлера» приведём фрагмент работы «кошерного» расолога Моше Левина «Раса имеет значение» (готовящейся к изданию в «Библиотеке ВА»), а также небольшой список ближайших публикаций, ожидающих «своего часа»:

Развенчание аргументов против расы.

А. «Должен быть ген цвета кожи, который также включает интеллект»: Раса представляет собой совокупность фенотипических и генотипических признаков, проявляющихся в определённых популяциях *Homo sapiens*. Это не аллегорическое или номинальное обозначение, а конкретная эмпирическая реальность аккреции специфических черт в различных географических ареалах каждой этнической группы. Как в случае с неандертальцами и кроманьонцами, различные эволюционные клады одного вида привнесли свои уникальные генетические адаптации к разным условиям. Аргументация, опровергающая существование расы, зачастую базируется на семантических манипуляциях и риторических уловках, которые сбивают с толку и конструируют ложные предпосылки. Этот подход, именуемый апелляцией к ложному утверждению, пытается дискредитировать при-

верженцев расовых теорий посредством создания «соломенного чучела» — упрощённой и искажённой версии их аргументов. Примером такого подхода является работа Стивена Джея Гулда «Неправильное измерение человека», где он постулирует: «Поскольку отсутствуют чёткие маркеры расы или ясные генетические корреляции между признаками, то и расы не существует». Это заблуждение, так как традиционные расологи утверждают, что само сочетание фенотипических признаков детерминирует расу, не нуждаясь в генетическом подтверждении. Наличие определённых признаков в конкретных популяциях уже достаточно для формирования расовых дистинкций, что делает необходимость в генетических маркерах избыточной.

В. «Все учёные признают, что расы не существуют»: Хотя некоторые радикальные сторонники данной точки зрения утверждают, что расы не существуют, это утверждение далеко от объективной истины. Судебные антропологи и патологоанатомы способны идентифицировать человеческие останки, основываясь на расовых характеристиках, что свидетельствует о существовании определённых биологических различий. Кроме того, кросс-культурные исследования показывают, что расы демонстрируют статистически значимые различия в когнитивных тестах, таких как тесты IQ, вне зависимости от социально-экономических условий. Существуют многочисленные учёные, которые признают, что раса не только существует, но и является значимым биологическим и социальным фактором. Однако их взгляды часто маргинализируются издательской, медийной и государственной сферами, что создает иллюзию консенсуса относительно несуществования расы. Таким образом, аргумент о признании учёными несуществования расы является как минимум однобоким и игнорирует значительную часть научного сообщества, которая признаёт важность расовых различий. Некоторые критики расовых обобщений открыто или молчаливо признают, что раса является законной основой суждения, поскольку она предска-

вает. Абсурдно (но риторически удобно) путать банковского служащего, который использует расовую принадлежность заявителя как один из многих факторов при принятии решения о выдаче кредита, с человеком, который отказывается от всех кредитов чернокожим, несмотря ни на что. Заметить, что раса имеет значение из-за ее коррелятов, значит объяснить, почему люди это замечают, а не отрицать это. Одинокый бегун замечает расовую принадлежность из страха перед неприятностями, а не из-за безумной озабоченности чистотой, но он все равно замечает расовую принадлежность. Никого бы не волновала расовая принадлежность, если бы чёрные и белые были похожи во всем, кроме цвета кожи. Но это не так, и именно поэтому раса замечена. Чернокожие являются самой генетически близкой группой к шимпанзе. Генетическое расстояние между нигерийцами и шимпанзе по методу Ней составляет 1,334, 72% от расстояния между белыми (немцами), равного 1,865; по методу Кавалли-Сфорца расстояние между чёрными составляет 0,539, или 79% от расстояния между белыми, равного 0,680.

Источник — Why race matters : race differences and what they mean, Michael Levin, pp 643.

Ближайшие планы:

Сборник - Диалоги с Авдеевым;

Сборник по Евгенике;

Де Фриз –Психогенетика;

Аммос -Моррис Рейх - Расовая фотография;

Альберт Соммит - Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach;

Исаак ла Перейр – преадамиты;

Джон Релетфорд - Виды людей;

Воспоминания Дэвиса по гражданской войне в САСШ;

Также: В настоящее время завершается работа над книгой про формирование рас авторства Калтона Стивенса Куна, вместе с книгой Расовая адаптация того же Автора.

Также завершается редактирование огромной монографии Происхождение рас - Карлтон Стивенс Кун.

Также на подходе к сдаче:

Филипп Виктор Тобиас - Мозг в эволюции гоминид

Мари Лефковиц - Не из Африки.

Энн Фабиан - Собиратели черепов

Герман Лундборг - Шведская нация

Натаниэль Вейл. Карл Маркс – расист
(«Библиотека Владимира Авдеева»). – М.: «Самотёка»,
МИД «Осознание», 2024 – 320 с.

«Когда в 1883 году умер Карл Маркс, безпристрастный и информированный наблюдатель мог бы заключить, что это был гений, который ничего не добился. Философская панорама человеческого общества Маркса казалась сплетением логических ошибок и необоснованных предположений, которые мало кто из значимых людей в викторианской Европе принимал всерьёз. (Например, проф. Борис Чичерин, русский философ права, безапелляционно заявлял в то время: «Влияние Маркса в современном мире представляет, можно сказать, самый колоссальный пример человеческой глупости, какой встречается в истории мысли. Объясняется это тем, что когда говорят страсти, разум молчит. И чем более нелепость облекается в туманные представления и прикрывается мнимо-научной фразеологией, в которой никто не в состоянии раскрыть настоящего смысла, тем легче выдавать их за глубокие истины и тем с большею жадностью они воспринимаются умами, не привыкшими связывать понятия» («История политических учений», 5 тт., 1869-1902)). Его исторические сочинения казались горстке его последователей скорее увещеваниями, чем безпристрастным и фактическим анализом хода событий. Большинство пророчеств Маркса были опровергнуты реальностью. Хотя и прожил в Англии более тридцати лет, Маркс почти не знал никого из интеллектуальных лидеров и творческих умов этой страны. Всякий раз, когда он руководил небольшими революционными организациями, он раскалывал и уничтожал их, когда его догмы и лидерство подвергались сомнению. Наш воображаемый безпристрастный наблюдатель мог бы заключить, что Маркс был гением, затратившим свою энергию на титанический умственный труд и в конце концов бороздившим

моря. И все же этот гипотетический наблюдатель был бы неправ, безнадежно неправ. Спустя девять десятилетий после его смерти, учения, теории и взгляды Карла Маркса оказывают на общество большее влияние, чем учения любой другой фигуры, живой или мёртвой, за исключением Иисуса Христа и апостола Павла. Марксизм и христианство стали двумя главными выжившими серьёзными претендентами на верность той части человечества, которая испытывает потребность в единой философии жизни, предлагающей недвусмысленную жизненную цель», - так постулировал в начале своего труда «Карл Маркс как расист» (1979) своеобразный «марксист-разстрига» д-р Натаниэль Вейл, чей опус недавно увидел свет в русском переводе Дм. Ткаченко...

Карл Маркс, в отличие от тех же Ленина и Сталина – был действительно незаурядным мыслителем (хотя «как практик», конечно, уступал марксо-ленинцам и марксо-сталинцам). Его мысль достаточно многослойна. В ней имеется мощный «подрывной заряд», прежде всего связанный с лукавой подменой в критике «Капитала». Острые марксовой «критики» направлено против производительного («национального») капитала, при почти полном умолчании про финансовый («интернациональный») капитал и его негативную роль в новейшей истории. Сию «подмену» заметили идеологи Национал-Слоциализма и Фашизма и в основном, отталкиваясь от неё, разворачивали свою критику Марксизма...

Автор, одним из первых введший в употребление термин «Национал-Социализм», Рудольф Юнг, отмечал: «Марксистские партии требуют преобразования всей частной экономики в общественную, то есть в коммунизм. В “Программе” Социал-демократической рабочей партии Австрии (принятой в Вене в 1901 году) говорится: “Всё больше и больше подавление индивидуального производства делает индивидуальную собственность излишней и вредной, и в то же время создаются необходимые интеллектуальные и материальные предпосылки для новых форм кооперативного производства,

основанного на общественной собственности на средства производства. В то же время пролетариат осознает, что он должен содействовать и ускорять это развитие и что переход средств труда в общую собственность всего народа должен быть целью, завоевание политической власти - средством его борьбы за освобождение рабочего класса". Из приведённого выше отрывка Венской социал-демократической программы ясно, что социал-демократия стремится к социализации всей собственности, даже самой мелкой, и что её цель - коммунизм. Кстати, один из важнейших лидеров немецко-австрийской социал-демократии, доктор Фридрих Адлер, также наставляет нас на этот счёт. В своей речи, которую он произнёс на первом общем собрании "Красной гвардии" 21 ноября 1918 года в спортзале венского Штифтскасерне, он сказал дословно следующее: "У всех нас здесь, вероятно, одна цель: все средства производства должны стать собственностью всего общества, должны перестать быть частной собственностью". Такова была суть коммунистического манифеста, опубликованного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в 1847 году, такова суть социал-демократической программы в Германии и Австрии. Вопрос только в названии - называть ли себя "коммунистом", как это делали Маркс и Энгельс в сороковые годы, или "социал-демократом", как это делают Бебель и Либкнехт с семидесятых годов. Различия, которые существуют сегодня, заключаются не в конечной цели, а во взглядах на то, насколько эта конечная цель может быть достигнута непосредственно. В свою очередь, мы, Национал-Социалисты, не коммунисты, потому что мы не хотим полного уничтожения частного предпринимательства и считаем все попытки сделать это опасным ребячеством, которое будет горько отомщено. Но мы также не верим, что можно вылечить больной капиталистический экономический строй добрыми советами, кристальными увещеваниями и социальными выплатами, как это думают буржуазные партии» («Национальный Социализм его Основы, Становление и Цели», 1922).

Во многом усвоившие его «оружие критики», последующие идеологи НС развивали намеченные Юнгом «красные линии» между немарксистским и марксистским Социализмом: «Я начал вновь усердно учиться и теперь еще больше понял действительный смысл того, чего добивался в течение всей своей жизни еврей Карл Маркс. Только теперь я по-настоящему понял смысл его “капитала”. Только теперь я постиг до конца значение той борьбы, какую ведёт социал-демократия против нашего национального хозяйства. Теперь мне до конца стало ясно, что борьба эта ставит себе единственной целью подготовить почву для полной диктатуры интернационального финансового и биржевого капитала» (МК). «Карл Маркс лишь наполовину правильно отобразил причины капиталистической динамики. Индустриализация европейских стран приводит к тому, что пролетаризуется большая прослойка общества, а средства производства всё больше сосредотачиваются в руках немногих. Согласно Марксу, труженики постепенно теряют контроль над средствами производства. Формируются два класса: класс обманутых рабочих и класс обманывающих работодателей. Эти два класса должны развязать кровавую войну друг с другом. А, следовательно, девизом марксизма становится “классовая война против капитала”... Сам Маркс, будучи евреем, знал только одну форму капитала. Однако существует огромная разница между его формами. Есть два вида капитала, и эти два вида различаются так сильно, что следует анализировать их фундаментально различными способами...» (д-р Йозеф Геббельс, 1926 год). «Карл Маркс, как настоящий еврей, не создал ничего нового, а искусно приспособил для своих целей учение Гегеля. Он сам говорил, что “поставил это учение с головы на ноги”... Что-что, а переворачивать евреи умеют: вспомните, как еврейские адвокаты превращают правду в ложь и наоборот. Евреи в этой области творят чудеса. Арийцам до них далеко» (д-р Курт Бренгер, “Мир в зеркале расовой души”, 1941).

Прискорбно, что Примо де Риверу недооценивают в качестве интеллектуала и теоретика. Критика Маркса из всех европейских фашистов (хотя он подчёркивал, что «фалангизм не фашизм») основательней всего проработана у него. «В социализме первоначально было и нечто мистическое, и нечто сентиментальное, предполагавшее, своего рода, духовное отречение. Его основатели думали, что эти голодающие рабочие - их братья. Но если первые социалисты были аристократами, - а некоторые из них едва ли не поэты, - социализм стал устрашающе чёрным с появлением еврея по имени Карл Маркс. Он объявил ложными любовь, веру, патриотизм и провозгласил примат экономических факторов. Таким образом он столкнул Капитал и Труд в братоубийственной войне. Сам же Маркс наблюдал со стороны за разворачивающейся чудовищной драмой и выводил свои фатальные законы... Этот Маркс, которого многие по невежеству принимают за апостола, в интимном кругу (в переписке с Энгельсом, например) называл рабочих “сбродом”, который нужно употребить для торжества социалистического учения» (“Falange Española”, №6\\8. II. 1934).

В «учении» Маркса был и эзотерический «слой», о коем значащие «проговорки» им сделаны преимущественно в стихах, подобных следующему:

Адские испарения

Поднимаются и наполняют мой мозг

До тех пор, пока не сойду с ума

И сердце в корне не переменится.

Видишь этот меч?

Князь Тьмы продал его мне.

Нет, это не перевод песни скандинавского metal band. Это Карл Маркс, из стихотворения «Скрипач» («Der Spielmann», 1837).

Н. Вейль совершенно верно называет главный «нерв» марксовой мысли – Ненависть. «Евангелистом Ненависти» задолго до Вейля (и столь же точно) назвал Маркса идеолог

Русского НС барон А.Меллер-Закомельский в одноименной работе (1933). Учитывая отмеченную выше «многослойность» марксовой мысли, марксова Ненависть подчас обращалась на такие «предметы», что парадоксально сближали ее с Правой позицией. Например, на Еврейство. Статья Маркса «К Еврейскому вопросу» запросто могла бы появиться на страницах «Фёлькишер Беобахтер» рядом с такими вот, например, строчками А.Розенберга: ««Ваш отец — диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). «Еврей отделался постепенно от всех видов плюрализма, поставил Яхве (то есть дьявола - не путать с Богом в Христианстве - прим. А.Р.) в центр Вселенной, себя самого объявил его полномочным рабом и создал для себя, благодаря этому, центр управления, который культивировал и сохранял его мышление, его расу, его (чисто паразитический) тип до сегодняшнего дня, несмотря на все примешивающиеся пограничные явления. И даже там, где «мятежные евреи» устроили Яхве (то есть религию как таковую), они посадили на его место то же существо, только под другим именем. Теперь это - «человечество», «свобода», «либерализм», «класс». Всюду из этих идей выглядывал старый, закоснелый Яхве и продолжал воспитывать под другим именем своих солдат. Так как Яхве был задуман действующим совершенно материально, то в случае иудаизма жёсткая вера в «единого бога» переплетается с практическим поклонением материи и пустейшим философским суеверием, по поводу чего так называемый «Ветхий Завет», Талмуд и Карл Маркс высказывают одинаковые взгляды. Это статическое самоутверждение является метафизической основой для выносливости и силы еврея, но также и для его абсолютной культурной бесплодности и его паразитического образа жизни»... «В горах Сиона столетиями культивировалась мечта о золоте. Эта мечта разогнала евреев по всему миру. Безпокойные люди с сильной

мечтой, создавая разрушающую действительность, и сегодня ещё живут и действуют среди нас, как носители злых мечтательных видений. Эта мечта, пережитая впервые три тысячи лет тому назад, после многочисленных неудач чуть не стала действительностью, - властью над золотом и миром. Отказавшись от любви, красоты и чести, мечтая только о господстве, - еврей оказался сильнее нас, поскольку мы прекратили воплощать свою мечту, и даже пытались беспомощно воспринять мечту евреев. И это принесло с собой германское крушение» (Альфред Розенберг, «Мораль Талмуда»).

Маркс ненавидел славян и русских в особенности. Да так, что его работа по Русской истории оказалась под запретом в стране «победившего марксизма-ленинизма» и была опубликована в России только после 1991 года. Речь идёт о статье «Тайная дипломатия XVIII в.», написанной в конце 50-х гг. XIX в., но в полном виде опубликованной лишь после его смерти, в 1899 г., однако, ни разу не включенной ни в одно из собраний сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, изданных в советское время (хоть они и назывались ПСС!). Это, доложим, «марксизм-норманизм» какой-то. Маркс утверждает: «Завоевательные походы первых Рюриковичей и их завоевательская организация ни в чём не отличались от норманнов в других частях Европы. Можно было бы возразить, что победители и побеждённые слились воедино в России быстрее, нежели в других областях, завоёванных скандинавскими варварами, что предводители очень скоро смешались со славянами, каковое видно из их браков и их имён. Но надо помнить, что сподвижники этих предводителей, которые составляли как их охрану, так и их совет, продолжали состоять исключительно из варягов, что и Владимир, олицетворявший собой пик развития Готской России, и Ярослав, олицетворявший начало её конца, сидели на её троне силой варяжского оружия... В период правления Ярослава господство варягов было подорвано, одновременно с чем исчезают завоевательские устремления первого периода и начинается закат Готской России. История

этого заката показывает ещё более отчётливо, что завоевание и образование государства в империи Рюриковичей носило исключительно готский характер» («Gotisch», используемое Марксом, может быть переведено и как «Готский» и как «Готический»).

Также обстоят дела и с «расизмом» Маркса. Мы рекомендовали бы воспринимать работу Н.Вейла не в регистре «разоблачения Маркса» («он, оказывается, ещё и расист!»), но скорее – в регистре возможности «Правого прочтения Маркса». О таковой «возможности» (и даже «желательности») ярко написал Правый поэт и культур-философ Алексей Ильинов в заметке «К вопросу о «Готическом Марксизме». Его разсуждением и заключим нашу рецензию: «Граждане готы и готессы, если детально разобраться, то “готический марксизм” - это не такая уж и “глупость”, ибо Карл Маркс во многом соприкасался с европейским романтизмом в ненависти к буржуа, капитализму и фальшивому насквозь клерикализму! Это, кстати, подчёркивает и выдающийся философ и исследователь Утопии Карл Маннгейм, который проводил “символические” параллели между Марксом и... крайним реакционером Жозефом де Местром. Коммунизм также был “версией” “Нового Средневековья” и революционная романтика (один только Виктор Гюго чего стоит!) вдохновляла бойцов на баррикадах во Франции или в Германии (особенно в эпохальном 1848 году). Артюр Рембо, напомним, принимал участие в революционной Парижской Коммуне. Шарль Бодлер был непримиримым антикапиталистом и ненавидел буржуазию. «Убойная» цитата из него: Теория истинной цивилизации. Она не в газе, не в паре, не в столоверчении. Она в стирании следов первородного греха. Кочевые народы, пастухи, охотники, земледельцы и даже людоеды – все они могут превзойти своей энергией, своим личным достоинством наши западные расы. Которые, возможно, будут уничтожены. Теократия и коммунизм» (Ш. Бодлер, «Моё обнажённое сердце»). Современная goth-субкультура выросла из

панка и постпанка, где всегда были актуальными социально-протестные настроения. Даже “Голодные Игры”, как пишут западные литературоведы и культурологи, не обошло влияние так называемой “южной готики” (southern gothic)». «Оружие, отобранное у Врага, не перестаёт стрелять» (С.Яшин). Так что, право (Право!) слово, нам стоит «взять на вооружение» и Марксизм-Норманизм и Марксизм-Готицизм и Марксизм-Расиализм...

Роман Раскольников

**Ричард Линн. Евгеника / Пер. с англ. Д.Г. Ткаченко.
М.: Самолёта; МИД «Осознание», 2024. 427 с.: ил.
(Б-ка В. Авдеева).**

«В течение двадцатого века произошли глубокие изменения в научном и общественном отношении к евгенике. В первой половине века практически все биологические учёные и большинство социологов поддерживали евгенику, а также многие из информированной общественности. Во второй половине века поддержка евгеники снизилась, и в последние три десятилетия века евгеника стала почти повсеместно отвергнута. В истории науки нет ничего особенно необычного в отказе от научной теории. Это часто случалось, поскольку теории стали восприниматься как неправильные и были отброшены. **Необычным является отказ от теории, которая по существу правильна...**». Речь в объёмистой монографии проф. Р.Линна идёт об Евгенике, кою «диктатура политкорректности» шельмует как «псевдонауку», «человеконенавистничество» и, разумеется, «фашизм» (куда ж нонеча без ноты «фа»). Ричард Линн (1930–2023) – доктор философии по психологии, был деканом факультета психологии в университете Ольстера (Северная Ирландия). В апреле 2018 г. уже после выхода учёного на пенсию, Ольстерский университет лишил Линна звания почётного профессора психологии, придя к заключению, что тот предлагает читателям «идеи расистского и сексистского характера». Несмотря на все (не сказать, что спонтанные, а очень даже «кем-то» направляемые) «глубокие изменения в научном и общественном отношении к евгенике», Евгеника – се **полноценная наука**, а профессор-евгеник Р.Линн – **настоящий учёный**. Даже краткое перечисление глав книги Линна достаточно, дабы удостовериться: Подъём и падение евгеники; Цели евгеники: Генетические заболевания и расстройства; Умственная отсталость; Психопатическая личность; Генетические основы евгеники;

Негативная евгеника: стимулы, принуждение; Лицензии на родительство; Этические принципы классической евгеники; Достижения в области биотехнологии человека; Будущее евгеники в демократических государствах; Будущее евгеники в авторитарных государствах и др.

Сэр Френсис Гальтон, отец-основатель Евгеники, так определял целеназначение своей научной дисциплины: «наука, занимающаяся всеми факторами, улучшающими врождённые качества расы». Гальтон намеревался сделать евгенику «частью национального сознания, наподобие новой религии». Сказать по чести, нам затруднительно представить, что «можно возразить» *по существу* против поиска путей и способов улучшения наследственных свойств человеческой расы и борьбы с явлениями вырождения в человеческом генофонде. А «по существу» и не возражают. «Возражают» пропагандистскими и полупропагандистскими заклинаниями, типа: «Евгеника была широко популярна в первые десятилетия XX века, но впоследствии стала ассоциироваться с нацистской Германией, отчего её репутация значительно пострадала. В послевоенный период евгеника стала рассматриваться в академических кругах как теоретическая основа преступлений нацизма, таких как практика расовой гигиены, эксперименты нацистов над людьми и уничтожение «нежелательных» социальных групп».

Ну, «преступления нацизма», говоря мягко, «сильно преувеличены». А вот «теоретическая база» германских последователей «британской расологии» (некоторые исследователи не без оснований считают, что по крайней мере «одним из» источников идейного базиса НС был «английский расизм», как напр. М.Саркисянц в работе «Английские корни немецкого нацизма») неплохо сохранена в первоисточниках. Базовое утверждение Вождя НС таково: «Природа предоставляет полную свободу рождаемости, а потом подвергает строжайшему контролю число тех, которые должны остаться жить; из бесчисленного множества индивидуумов она отбирает луч-

ших и достойных жизни; им же она предоставляет возможность стать носителями дальнейшего продолжения жизни. Между тем **человек поступает наоборот**. Он ограничивает число рождений и потом болезненно заботится о том, чтобы любое родившееся существо обязательно осталось жить. Такая **поправка к Божественным Предначертаниям** кажется человеку очень мудрой и во всяком случае гуманной, и человек радуется, что он, так сказать, перехитрил природу и даже доказал ей нецелесообразность её действий. Что при этом в действительности сократилось и количество и в то же время качество отдельных индивидуумов, об этом наш добрый человек, собезьянивший Бога-Отца, не хочет ни слышать, ни подумать», отсюда: «Мы ведём борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа. Мы ведём борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего Отечества. Мы ведём борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог **выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него Творцом Вселенной**». Опять же, говоря по чести, не знаем, что и на сие «возразить» по существу. **Борьба за сохранение «образа Божия» в человеке и за преумножение в человеческой расе «подобия Божия» есть благо, а «борьба» за совлечение «образа и подобия» и облечение в «образ обезьяний» есть зло**. Противники и гонители Евгеники так прямодушно не изъясняются, они предпочитают враньё, мухлёж и подмену понятий, что биография мужественного и честного учёного д-ра Линна лишний раз подтверждает. Он ещё «легко отделался». И стоит возблагодарить Творца, что книги, подобные «Евгенике» Р.Линна ещё имеют возможность быть изданными. Книга вышла в серии «Библиотека Владимира Авдеева», сие и «логично» (ибо Вл.Авдеев, ныне покойный выдающийся отечественный Расолог, готовил в последние годы жизни к печати данный труд), и несёт некое «знамение» (В.Авдеев также подвергался гонениям «Правды ради», но усилия «гасителей» и «гони-

телей» истин Расы и Отбора оказались тщетны: «нерукотворный памятник» из «Библиотеки Авдеева» уже не подлежит «разрушению» и «отмене»).

В заключение преполезным будет привести антропометрический анализ расового типа Основателя Евгеники, произведённый «Черепомерней им. Владимира Авдеева»:

Сэр Френсис Гальтон – английский антрополог, географ, статистик и евгенист. Изучал вопрос наследственности у людей и ввёл ряд новых методов исследований в этой области. В последние годы своей жизни ввёл термин «евгеника» и описал основные принципы этой науки, целью которой он видел улучшение свойств человека биологическими методами.

Этническое происхождение: Английское

Цефальный индекс: Брахицефалия ($\approx 81,2$)

Высотный индекс: Гипсикrania ($\approx 76,1$)

Лицевой индекс: Мезопросопия ($\approx 86,5$)

Носовой индекс: Лепториния ($\approx 68,8$)

Форма спинки носа: Прямая

Высота лба: Высокий ($\approx 36,8\%$ от общей высоты лица)

Форма лба: Наклонённая

Наклон глазной щели: Горизонтальный

Скулы: Широкие

Челюсть: Широкая

Подбородок: Волевой

Форма затылка: Уплощённая

Цвет глаз: Светлый оттенок, №9 по шкале Буака

Посадка глаз: Средняя

Толщина губ: Тонкие

Строение тела: Мезо-Брахиморфное

Расовый тип: Борребю с влиянием динарида.

Роман Раскольников

**Ричард Линн. Дисгеника / Пер. с англ. Д.Г. Ткаченко.
М.: Самотёка; МИД «Осознание», 2024. В пер. 322 с.: ил.
(Библиотека Владимира Авдеева)**

После появления в «культовой» серии «Библиотека Владимира Авдеева» монографии проф. Ричарда Линна «Евгеника», закономерно было ожидать издания и «Дисгеники». А уж степень злободневности последней преочевидна. Ричард Линн (1930–2023) – до поры успешно профессорствовал в Университете Ольстера, а уже после выхода на пенсию был лишён звания почётного профессора психологии за «идеи расистского и сексистского характера». В своей книге доказывает, что отказ от евгеники приведёт к генетической деградации населения Западных стран. Из содержания: Историческое понимание проблемы; Естественный отбор в доиндустриальных обществах; Генетическое ухудшение здоровья; Интеллект и фертильность в Соединенных Штатах; Интеллект и фертильность в Европе; Разрешение парадокса светского подъёма интеллекта; Социоэкономический статус и фертильность; Социально-экономические различия в интеллекте; Генетическая основа социально-экономических различий в сознании; Дисгенная фертильность в экономически развивающихся странах; Контраргументы, возражения и выводы и др.

Животрепещущая архинасущность затронутых проф. Линном в «Дисгенике» вопросов может «оспариваться» лишь неблагонамеренными «критиками». Человеческие характеристики передаются по наследству. Некоторые из них более желательны, чем другие. Когда люди с желательными чертами рожают больше детей, чем люди с нежелательными чертами, мы развиваемся. В ином случае мы вырождаемся. В растениеводстве и животноводстве эти принципы принимаются как должное, и, лишь будучи применены к человеку, вызывают разногласия. Учение о способах улучшения человеческой генетики называется «евгеникой». Этот термин в 1883 году

ввёл в обиход британский учёный и эрудит Фрэнсис Гальтон (1822-1911). Евгеничный (или евгенический) — значит способствующий улучшению человеческой породы, то есть психических и физических черт человека, наших интеллекта, характера и тела. Дисгеника — это изучение причин возникновения генетического вырождения, или дисгенезиса. Этот термин в 1915 году впервые использовал британский врач Калед Салиби (1878-1940). Согласно другим источникам, слово «дисгеничный» впервые употребил всё в том же 1915 году американский евгеник Дэвид Джордан, применительно к убийственным для европейцев последствиям Первой мировой войны. Прилагательное дисгеничный (или дисгенический) — значит способствующий или ведущий к вырождению, к ухудшению наших психофизических характеристик.

Демо-либеральная политика, последнее время доминировавшая в странах Белой цивилизации, неопровержимо проявила и продолжает «с ускорением» проявлять выразительные дисгенические черты. К примеру, проведённое исследование выявило резкое снижение показателей IQ американцев в последние годы, что подтверждает то, что исследователи называют «обратным эффектом Флинна». Очевидно то, что это связано с относительно недавно вспыхнувшими, и всё в большей степени получающими своё распространение эгалитаристскими высказываниями, формирующие общую тенденцию усиления, а также поощрения миграции (из недавнего: Байден освободил по меньшей мере 2 020 522 мигрантов с юго-западной границы [Эндрю Р. Артур, Центр иммиграционных исследований, <https://cis.org/Arthur/Bidens-Released-Least-2020522-Southwest-Border-Migrants>]. Стоит заметить, что для полноценного проживания в США даже не нужен паспорт (так у порядка 58% жителей США в 2019 году не было паспорта), а пограничные патрули обычно действуют по принципу: «поймай, да отпусти»), направленную в сторону укрепления положения расового разнообразия в белочёрножёлтом плавильном котле Соединённых Штатов, почему

умственные способности наиболее интеллектуальных рас переживают процесс притупления в общем генофонде США, и всё более дегенеративный (неевгенический) подход к образованию населения. Исследователи также замечают, что: Различия в показателях способностей присутствовали независимо от возраста, образования или пола. Тем самым всё более откидывая средовую теорию происхождения различий.

Наиболее неблагоприятна с плане дисгеники негроидная раса. Тем не менее, ZOG требует от Белых американцев, чтобы они отрицали реальность расы и расовых различий, реальность Евгеники и Дисгеники. Ярко и доказательно об этом пишет Джаред Тейлор в статье «Как кто-то может думать, что расы ненастоящие?», опубликованной в издании американских Белых консерваторов *American Renaissance*:

«Наши правители хотят, чтобы мы исповедовали абсурд! Чтобы быть уважаемым американцем, нужно, по крайней мере, делать вид, что веришь в абсурдные вещи: «Разнообразие — наша сила; мужчины могут становиться женщинами и наоборот; все расы абсолютно равны; Соединённые Штаты — прекрасная сила добра во всём мире; Но самое абсурдное, во что приходится верить, касается биологии расы... Американская медицинская ассоциация хочет, чтобы вы «признали расу как социальный, а не биологический конструкт». Смитсоновский музей отмечает: «Раса, хотя и не является достоверным биологическим понятием, представляет собой реальный социальный конструкт, который дает или отказывает в льготах и привилегиях». «Белые люди изобрели расу, чтобы угнетать окружающих!» — эта чушь везде.

Американская психологическая ассоциация выпустила брошюру, в которой рассказывается о том, что нужно думать, с картинками социальных конструктов на обложке. Шесть докторов наук объясняют, что «раса - это социальный конструкт, а не биологическая реальность» и что «“расовое” мировоззрение было придумано для того, чтобы приписать одни группы к вечно низкому статусу, в то время как другие получили доступ к привилегиям, власти и богатству».

Если раса — это социальный конструкт, то арабы опередили нас почти на 1000 лет. Ученый Аль Джахиз, умерший в 868 г. н.э., писал, что восточноафриканцы «подобны воронам среди человечества... ибо они — худшие из людей и самые порочные существа по характеру и темпераменту». Столетие спустя Ибн Тахир-аль-Макдиси писал: «Это люди с чёрным цветом кожи, плоскими носами, всклокоченными волосами и малым пониманием и умом». Мне непонятно, как кто-то может утверждать, что различия между европейцами и, скажем, австралийскими аборигенами — это социально согласованная конвенция, а не биологический факт.

Доказательств биологической основы расы так много, что я ограничусь поверхностным обзором:

Даже самые интеллектуально дремучие люди замечают, что восточноафриканцы побеждают в беге на длинные дистанции.

Люди западноафриканского происхождения доминируют в спринте и не конкурентоспособны в плавании.

Младенцы могут различать расы. Эта инстинктивная способность называется «кросс-расовым эффектом», и, как объясняется в этой статье, «по крайней мере, к 3,5 месяцам младенцы достигают достаточного опыта обработки лиц, чтобы обрабатывать лица знакомой расы иначе, чем лица незнакомой расы». Они ещё не умеют ходить и говорить, но уже освоили социальную конструкцию.

И даже журнал *Smithsonian* признает, что «Ваша этническая принадлежность определяет вид бактерий, живущих в вашем рту». Только вот на самом деле это означает вашу расу. Просто взглянув на паттерны бактерий в полости рта, можно в 100% случаев отличить чернокожих от всех остальных. Микроорганизмы тоже обманывают себя социальными конструкциями.

Современные фанатики настолько отчаянно хотят покончить с расой, что стремятся подавить факты. В октябре 2021 года в газете *New York Times* была опубликована статья «Мо-

гут ли скелеты иметь расовую принадлежность?», в которой говорилось о том, что судебные антропологи регулярно определяют расовую принадлежность скелета. Но представители этой профессии в ужасе от того, что это может заставить людей думать, что раса является биологической. Как сказал один из них, «когда я говорю полицейским: «Хорошо, я сделал эти измерения, посмотрел на эти вещи на черепе, и этот человек - афроамериканец», они, конечно, подумают, что это биологический фактор».

Ересь! Нельзя, чтобы полиция так думала. И вот, как пишут два придурка с докторской степенью в статье «Деколонизация оценки предков в США», «мы утверждаем, что практика оценки предков способствует господству белой расы», и «мы призываем всех судебных антропологов отказаться от практики оценки предков». Лучше просто не знать. Незнание — это блаженство, или, по крайней мере, бодрствование!

Но сейчас уже слишком поздно. «Искусственный интеллект предсказывает расовую принадлежность пациентов по их медицинским снимкам». А люди, программирующие компьютеры для просмотра рентгеновских снимков, понятия не имеют, как это делает ИИ. Антропологи определяют расовую принадлежность в основном по черепам, потому что по другим частям тела они не могут определить расу, а ИИ достаточно сделать рентгеновский снимок руки или грудной клетки. Он может определить расу даже тогда, когда изображения настолько размыты, что человек с трудом может сказать, что это человеческое тело! В этой же статье отмечается, что компьютерные «модели могут также определять расовую принадлежность пациента по его самоотчету из клинических записей, даже если эти записи лишены явных признаков расы». Как и в этой работе — речь идет о рентгеновских снимках — человеческие эксперты не в состоянии точно предсказать расовую принадлежность пациента по тем же отредактированным клиническим записям». Вместо того чтобы радоваться тому, что искусственный интеллект может

делать то, что мы не можем, учёные приходят в ужас от того, что компьютеры могут обнаружить то, чего не должно существовать. Это означает, что компьютеры — расисты и могут быть жестокими по отношению к чернокожим.

...Раса — это биологическая реальность, которая может иметь значение для жизни и смерти. Можно подумать, что люди, кричащие «Black Lives Matter!», должны серьёзно относиться к расе, но они являются самыми фанатичными отрицателями расы. Только в этом октябре журнал Science сообщил, что «предиктор лечения рака может не работать у пациентов с африканскими и азиатскими корнями». Теперь можно установить последовательность ДНК раковых опухолей, чтобы определить их тип, а FDA одобрило препарат пембролизумаб для борьбы с опухолями определенного типа. За исключением того, что он работает на белых, не работает на чёрных и, похоже, ухудшает состояние азиатов. Подзаголовок статьи гласил: «Полученные результаты подчеркивают необходимость создания более разнообразных популяций для исследований, говорят эксперты». Действительно? Зачем испытывать лекарства на разных популяциях, если раса — это иллюзия? Человеческие расы — это как породы собак, только не такие экстремальные. Собаки были намеренно выведены — и инбредны — для определённых целей, в то время как человеческие вариации развивались естественным путём и в течение гораздо более длительного периода времени. Никто не говорит о том, что различия между пуделями и биглями — это социальный конструкт. В этом месяце (октябре) в городе Миллингтон, штат Теннесси, двое детей, были до смерти загрызены двумя домашними животными. Собаки также едва не убили мать, оставив у нее глубокие укусы по всему телу. Это была нормальная, любящая семья с домашними животными, а не заводчики злобных собак. Можете ли вы догадаться, какой породы были собаки? Именно! Питбули. Они составляют ничтожный процент от общего числа собак, но от них погибли 34 из 47 жертв смертельных нападений собак

в США в 2019 году. Питбули — это агрессивный подвид собак, так же как человеческие расы являются подвидами *homo sapiens*. Проведём умозрительную параллель: У человека существует ген MAOA, который иногда называют «геном воина», поскольку мужчины, являющиеся его носителями, склонны к насилию. В статье «Ген воина: генетика и криминология» приводится сильная корреляция между насилием и носительством этого варианта. Это исследование показало, что чернокожие, имеющие этот вариант, «значительно чаще подвергались арестам и тюремному заключению», чем чернокожие, не имеющие этого варианта. Обзор литературы показал, что вероятность наличия наиболее опасного варианта у чернокожих примерно в 10 раз выше, чем у белых, причем в некоторых исследованиях он встречается у 6% чернокожих. Может ли высокий уровень насилия среди чернокожих быть генетически обусловленным признаком, как, например, поведение питбулей? Возможно, но на это не будет выделено денег!

Всё это заставляет задуматься: Почему наши правители так стараются заставить нас поверить в то, что явно не соответствует действительности? В основном это связано с американской одержимостью «расизмом» — что бы это ни было. Убийца или грабитель банков имеет более высокий моральный статус, чем «расист». Можно ли покончить с «расизмом», убедив всех в том, что расы не существуют? Без шансов. Люди разных рас выглядят и ведут себя по-разному, и пытки над языком и сокрытие правды этого не изменят.

Более тонкая причина может заключаться в том, чтобы смягчить белых людей перед «великой заменой». “Не волнуйтесь! Европейцев не заменят с помощью чёрной или азиатской силы. Они САМИ сделают так, чтобы их заменили!” Другая цель может заключаться в том, чтобы свести на нет любые дискуссии о расе. «Что значит, чёрные совершают убийства в 12 раз чаще, чем белые? Нет такого понятия, как раса». И, наконец, унижение. Каждый раз, когда вы заставля-

ете человека проповедовать что-то нелепое, вы саботируете его психологически.

Кастрированное стадо никогда не будет угрожать режиму и его доктринам. А кастрированное стадо — это именно то, что нужно нашим правителям.

(Перевод был выполнен Telegram-каналом «Расовая Биосоциология». Оригинальный источник — <https://www.amren.com/videos/2022/10/how-can-anyone-think-race-isnt-real/>).

...Но вот на горизонте замордованной антибелым расизмом Америки появился, наконец, «Пастырь Добрый», заявивший своё намерение «graze the herd» не кастрированное, а разумное, добродетельное и расово-полноценное... **Се – Дональд Трамп.** Американские СМИ пестрят сообщениями типа: “Если Дональд Трамп будет избран на второй срок в ноябре, его союзники планируют положить конец давнему притеснению в этой стране основной маргинализированной группы в Америке: белых людей” (The New Republic). MSNBC предупредил: “Трампизм всё чаще организуется вокруг реакционного принципа, согласно которому белые американцы не просто игнорируются, но и становятся жертвами из-за своей расы. Это путь к разрушению мультикультурной демократии”. Большая часть комментариев отражает противоречивый аргумент о том, что антибелого расизма на самом деле нет, но в то же время он абсолютно необходим для расового прогресса. Филип Бамп из The Washington Post заметил, как гласит его заголовок: “Трамп стремится быть безстрашным воином за преимущество белых”. Чуть подробнее процитируем сей опус: «...Политика позитивных действий, направленная на устранение расовых дисбалансов, по сути, является расистской по отношению к белым людям. В последние годы эта точка зрения, давно укоренившаяся у правых, стала достоянием общественности. В 2013 году, задолго до появления Трампа в качестве национальной политической фигуры, только пятая часть республиканцев указала, что они поддерживают законы, направленные на защиту предста-

вителей расовых меньшинств от дискриминации. В том же опросе множество республиканцев заявили, что белые американцы теряют больше на рабочем месте из-за усилий по борьбе с расовым неравенством, чем меньшинства теряют из-за дискриминации в первую очередь. Фактически... белые находятся в более неблагоприятном положении. Таково было положение дел, когда Трамп объявил о своей кандидатуре в 2015 году. Опрос Washington Post и ABC News, проведённый в марте следующего года, показал, что мнение о том, что белые проигрывают, было лучшим показателем поддержки Трампа, чем экономическая нестабильность... За последние восемь лет, конечно, это мнение стало мейнстримом. Республиканская партия когда-то старательно подкрепляла свою риторику о расах подмигивающими фразами, но Трамп стер этот нюанс. Противодействие “критической расовой теории”, а затем инициативам “разнообразие, равенство и инклюзивность” (DEI), которые последовали за его поражением в 2020 году (и протестами против расовой справедливости в том году), вылились в явное пренебрежение к небелым - и, особенно, чернокожим — людям, занимающим руководящие посты и влияющим. Или даже воображаемые властные позиции, на которых настаивают правые, были получены только благодаря политике позитивных действий. Мэр Балтимора, которого причудливо критиковали как продукт усилий DEI после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки на прошлой неделе — как будто иначе чернокожий человек не смог бы победить на выборах в этом городе, — опроверг один аспект критики. “Мы знаем, что они хотят сказать, - сказал он на прошлой неделе, “ но у них не хватает смелости произнести слово на букву «н»”. ...Одна из причин, по которой Трамп сосредоточил на этом внимание в данный момент, заключается в том, что появление движения Black Lives Matter в 2014 году привлекло новое внимание к способам, с помощью которых системы власти дискриминируют белых американцев... Американцы стали гораздо чаще приписывать нера-

венство в рабочих местах и жилье между чернокожими и белыми американцами дискриминационной политике после первоначального продвижения BLM... и, следовательно, рассматривают эту политику как ставящую белых в невыгодное положение. Трамп, чьё первое появление в New York Times было связано с утверждениями о том, что его бизнес в сфере недвижимости дискриминировал чернокожих, стремится поднять уровень этих жалоб и рассмотреть их. Он надеется получить для этого полномочия, победив в ноябре...» (<https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/01/white-advantage-elections-trump/>).

Что ж, Трампу-президенту предлежит не только «осушить» вашингтонское бюрократическое «болото», но и придушить «мультикультурную демократию» с её агрессивным антибелым расизмом... Wish Donald the good way, he deserves: Бог и Расология ему «в помощь»... А «О ненаучности расологии говорят те, кто сам является дегенератом, и поэтому не любят никакой систематики» (Владимир Авдеев).

Роман Раскольников

В серии «Библиотека Владимира Авдеева» готовится также к печати поистине уникальное издание, озаглавленное его составителем и «второй стороной Диалога» Д.Г.Ткаченко «Диалоги с Вл. Авдеевым». Приводим Предисловие, предпосланное Составителем сей книге.

Предисловие к сборнику «Диалоги с В.Б.Авдеевым»

Вопросит и ответит
умный всегда,
коль слыть хочет сведущим;
должен один
знать, а не двое, —
у трёх все проведуют.

Речи Высокого, Старшая Эдда

Речь человека - это зеркало его интеллектуальных интересов и установившихся профессиональных компетенций. Диалог - это речь двух или более лиц относительно конкретных объектов обсуждения. Диалоги - путь познания интеллекта во время процесса обсуждения в письменной и (или) устной форме.

Владимир Борисович Авдеев соотносил свои помыслы и деяния с образами нравственной жизни, рассуждал о перспективах развития и упадка цивилизации у разных видов людей. Как историк науки, он поддерживал ряд связей с академическими учёными, не боялся постоянно учиться в понимании и интерпретации новых научных данных в антропологии и генетике. Лично переписывались по электронной почте с Владимиром Борисовичем Авдеевым известные академические учёные - психолог Ричард Линн, антрополог Ричард Фёрле и др.

К числу научных интересов Владимира Авдеева относились: физическая антропология, культурная антропология, эволюционная биология, эволюционная психология, генетика, влияние внешних факторов на генетику живых существ, история религий, философия и вопросы мировоззрения.

Наука - это место деятельности человека, где постоянно требуется обновление данных, их актуальная интерпретация и обсуждение в рамках правового поля.

Если время связывает движение материи в пространстве, то информация, мысль человека подобна солнечному лучу направленному от мыслящего человека и простирается бесконечно во Вселенной.

В ходе общения в сети Интернет по электронной почте происходил обмен актуальной информацией и актуальными вариантами интерпретации данных, обсуждались научные гипотезы, опубликованные в академических изданиях научные статьи по интересующим нас вопросам.

Владимир Борисович Авдеев критически оценивал научные данные, которые предлагались ему мной к обсуждению. В ряде случаев он потом говорил: «Это - очень интересно, Дмитрий! Пришлите, пожалуйста более подробную информацию по данному интересующему меня вопросу!». В ходе общения со мной и рядом других лиц он просил собеседника прислать ему качественные фотографии и изображения учёных, про которых писались книги, их биографии. В ряде случаев Владимир Борисович просил скачать и прислать научные академические книги для него, ссылки на них, если был к ним онлайн-доступ в сети Интернет.

В. Б. Авдеев любил чёткую и ясную русскую речь, от всех требовал своевременного и точного употребления терминологии. Возможно, именно поэтому он собирал и читал энциклопедии как централизованные сокровищницы информации.

Владимир Борисович Авдеев как человек с очень высоким интеллектом всегда активно интересовался историей цивилизаций в разных частях света, вопросами междисциплинарных наук психогенетикой, нейропсихологией, вопросами соотношения морали и биологии, обоснованностью норм поведения человека в обществе, философскими вопросами, которые связаны с интерпретацией научных данных.

Авдеев всегда осуждал узкий шовинизм, порождающий необоснованную дискриминацию в социуме. В частности он, как человек, придерживающийся **мировоззрения биологического детерминизма**, крайне негативно оценивал и осуждал антирусские вы-

сказывания украинских радикалов. Также Авдеев резко негативно высказывался против антироссийских санкций, против использования системы грантов в западной науке как административного инструмента, направленного на ограничение общения западных учёных с иностранцами из России и стран Восточной Европы.

Лучше платить за знания, чем расплачиваться за незнание, так считал Владимир Борисович Авдеев. Повышение эффективности науки может происходить при должном системном увеличении финансовых средств, направленных на научные исследования. К сожалению, в настоящее время функционирование научных институтов и осуществление исследований часто встречаются недостаточную заинтересованность в получении научного результата. Оперирование в практической деятельности некачественно переведёнными научными трудами приводит к потере уважения в общении с коллегами из других стран. Совершенствование научного аппарата возможно лишь при грамотном введении в информационное поле академических учёных новых научных данных, затем - их толковании и осмыслении в рамках научной парадигмы.

Научная гипотеза в современном мире не является обязательной формой религии, тоталитарная пропаганда устаревшей гипотезы «выхода из Африки» всех народов Евразии, Австралии, Южной и Северной Америки от одной группы предков-гоминид противоречит как генетике, так и адаптивным свойствам морфологии человека к окружающей среде.

Сборник содержит в себе материалы приложений к письмам, пересланным ему в электронной форме. В ряде приложений к письмам содержится уникальная научная информация, которой являются статьи академических научных деятелей, кто работает и преподаёт в передовых научных институтах. Данный сборник содержит часть научных публикаций, которые обсуждались вообще.

Выбирая между публикацией приложенных к письмам научных статей по дате и публикацией научных статей по тематике, пришлось сделать осознанный выбор в пользу тематики как объединяющего фактора.

Авдеевские Чтения

Выпуск 3

Том 2

Гарнитура Times New Roman

Объём 17 печ. л.

Печать офсетная.

Пробный тираж 100 экз.

Заказ №19